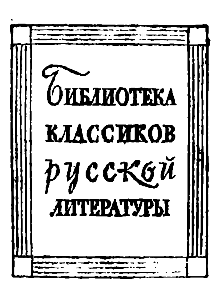
И. Гончаров

И. А. ГОНЧАРОВ

2


Библиотека
классиков
русской
литературы

# И. А. ГОНЧАРОВ

## СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

## В ШЕСТИ ТОМАХ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
Москва

# И. А. ГОНЧАРОВ

## СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

## ТОМ 2

### ФРЕГАТ «ПАЛЛАДА»

*Очерки путешествия в двух томах*

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
1959

## ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА К 3-му, ОТДЕЛЬНОМУ, ИЗДАНИЮ «ФРЕГАТА «ПАЛЛАДА»

Автор этой вновь являющейся после долгого промежутка книги не располагал более возобновлять ее издание, думая, что она отжила свою пору.

Но ему с разных сторон заявляют, что обыкновенный спрос на нее в публике не прекращается и что сверх того ее требуют воспитатели юношества и училищные библиотеки. Значит, эти путевые очерки приобрели себе друзей и в юных поколениях.

После этого автор не счел уже себя вправе уклоняться от повторения своей книги в печати.

Он относит постоянное внимание публики к его очеркам, прежде всего, к самому предмету их. Описания дальних стран, их жителей, роскоши тамошней природы, особенностей и случайностей путешествия и всего, что замечается и передается путешественниками — каким бы то ни было пером,— все это не теряет никогда своей занимательности для читателей всех возрастов.

Кроме того, история плавания самого корабля, этого маленького русского мира, с четырьмястами обитателей, носившегося два года по океанам, своеобразная жизнь плавателей, черты морского быта — все это также само по себе способно привлекать и удерживать за собою симпатии читателей.

Таким образом, автор и с этой стороны считает себя обязанным не перу своему, а этим симпатиям публики к морю и морякам продолжительным успехом своих путевых очерков. Сам он был поставлен своим положением, можно сказать, в необходимость касаться моря и моряков. Связанный строгими условиями плавания военного судна, он покидал корабль ненадолго — и ему приходилось часто сосредоточиваться на том, что происходило вокруг, в его плавучем жилище, и мешать приобретаемые, под влиянием мимолетных впечатлений, наблюдения над чужой природой и людьми с явлениями вседневной жизни у себя «дома», то есть на корабле.

Из этого, конечно, не могло выйти ни какого-нибудь специального, ученого (на что у автора и претензии быть не могло), ни даже сколько-нибудь систематического описания путешествия с строго определенным содержанием. Вышло то, что мог дать автор: летучие наблюдения и заметки, сцены, пейзажи — словом, очерки.

Пересматривая ныне вновь этот дневник своих воспоминаний, автор чувствует сам и охотно винится в том, что он часто говорит о себе, являясь везде, так сказать, неотлучным спутником читателя.

Утверждают, что присутствие живой личности вносит много жизни в описания путешествий: может быть, это правда, но автор, в настоящем случае, не может присвоить себе ни этой цели, ни этой заслуги. Он, без намерения и также по необходимости, вводит себя в описания, и избежать этого для него было трудно. Эпистолярная форма была принята им не как наиболее удобная для путевых очерков: письма действительно писались и посылались с разных пунктов к тем или другим друзьям, как это было условлено между ними и им. А друзья интересовались не только путешествием, но и судьбою самого путешественника и его положением в новом быту. Вот причина его неотлучного присутствия в описаниях.

По возвращении его в Россию письма, по совету же друзей, были собраны, приведены в порядок — и из них составились эти два тома, являющиеся в третий раз перед публикою под именем «Фрегат «Паллада».

Если этот фрегат, вновь пересмотренный, по возможности исправленный и дополненный заключительною главою, напечатанною в литературном сборнике «Складчина» в 1874 году, прослужит (как это бывает с настоящими морскими судами, после так называемого «тембирования», то есть капитальных исправлений) еще новый срок, между прочим и в среде юношества, автор сочтет себя награжденным сверх всяких ожиданий.

В надежде на это он охотно уступил свое право на издание «Фрегата «Паллада» И. И. Глазунову, представителю старейшего в России книгопродавческого дома, посвящающего, без малого столетие, свою деятельность преимущественно изданию и распространению книг для юношества.

Издатель пожелал приложить к книге портрет автора: не имея причин противиться этому желанию, автор предоставил и это право его усмотрению, тем охотнее, что исполнение этой работы принял на себя известный русский художник, резец которого представил публике прекрасные образцы искусства, между прочим недавно портрет покойного поэта Некрасова[1].

*Январь. 1879*

---

[1] Имеется в виду выгравированный И. П. Пожалостиным (1837—1909) портрет Н. А. Некрасова (работы И. Н. Крамского).

# ФРЕГАТ «ПАЛЛАДА»

ТОМ ПЕРВЫЙ

# I

## ОТ КРОНШТАДТА ДО МЫСА ЛИЗАРДА

*Сборы, прощание и отъезд в Кронштадт.— Фрегат «Паллада».— Море и моряки.— Кают-компания.— Финский залив.— Свежий ветер.— Морская болезнь.— Готланд.— Холера на фрегате.— Падение человека в море.— Зунд.— Каттегат и Скагеррак.— Немецкое море.— Доггерская банка и Галлоперский маяк.— Покинутое судно. — Рыбаки.— Британский канал и Спитгедский рейд.— Лондон.— Похороны Веллингтона.— Заметки об англичанах и англичанках.— Возвращение в Портсмут.— Житье на «Кемпердоуне».— Прогулка по Портсмуту, Саутси, Портси и Госпорту.— Ожидание попутного ветра на Спитгедском рейде.— Вечер накануне рождества.— Силуэт англичанина и русского. — Отплытие.*

Меня удивляет, как могли вы не получить моего первого письма из Англии, от 2/14 ноября 1852 года, и второго из Гон-Конга, именно из мест, где об участи письма заботятся, как о судьбе новорожденного младенца. В Англии и ее колониях письмо есть заветный предмет, который проходит чрез тысячи рук, по железным и другим дорогам, по океанам, из полушария в полушарие, и находит неминуемо того, к кому послано, если только он жив, и так же неминуемо возвращается, откуда послано, если он умер или сам воротился туда же. Не затерялись ли письма на материке, в датских или прусских владениях? Но теперь поздно производить следствие о таких пустяках: лучше вновь написать, если только это нужно...

Вы спрашиваете подробностей моего знакомства с морем, с моряками, с берегами Дании и Швеции, с Англией? Вам хочется знать, как я вдруг, из своей покойной комнаты, которую оставлял только в случае крайней надобности и всегда с сожалением, перешел на зыбкое лоно морей, как, избалованнейший из всех вас городскою жизнию, обычною суетой дня и мирным спокойствием ночи, я вдруг, в один день, в один час, должен был

ниспровергнуть этот порядок и ринуться в беспорядок жизни моряка? Бывало, не заснешь, если в комнату ворвется большая муха и с буйным жужжаньем носится, толкаясь в потолок и в окна, или заскребет мышонок в углу; бежишь от окна, если от него дует, бранишь дорогу, когда в ней есть ухабы, откажешься ехать на вечер в конец города, под предлогом «далеко ехать», боишься пропустить урочный час лечь спать; жалуешься, если от супа пахнет дымом, или жаркое перегорело, или вода не блестит, как хрусталь... И вдруг — на море! «Да как вы там будете ходить — качает?» — спрашивали люди, которые находят, что если заказать карету не у такого-то каретника, так уж в ней качает. «Как ляжете спать, что будете есть? Как уживетесь с новыми людьми?»— сыпались вопросы, и на меня смотрели с болезненным любопытством, как на жертву, обреченную пытке. Из этого видно, что у всех, кто не бывал на море, были еще в памяти старые романы Купера или рассказы Марриета о море и моряках, о капитанах, которые чуть не сажали на цепь пассажиров, могли жечь и вешать подчиненных, о кораблекрушениях, землетрясениях. «Там вас капитан на самый верх посадит,— говорили мне друзья и знакомые (отчасти и вы, помните?),— есть не велит давать, на пустой берег высадит».— «За что?» — спрашивал я. «Чуть не так сядете, не так пойдете, закурите сигару, где не велено».— «Я все буду делать, как делают там»,— кротко отвечал я. «Вот вы привыкли по ночам сидеть, а там, как солнце село, так затушат все огни,— говорили другие,— а шум, стукотня какая, запах, крик!»— «Сопьетесь вы там с кругу! — пугали некоторые,— пресная вода там в редкость, всё больше ром пьют».— «Ковшами, я сам видел, я был на корабле»,— прибавил кто-то. Одна старушка все грустно качала головой, глядя на меня, и упрашивала ехать «лучше сухим путем кругом света». Еще барыня, умная, милая, заплакала, когда я приехал с ней прощаться. Я изумился: я видался с нею всего раза три в год и мог бы не видаться три года, ровно столько, сколько нужно для кругосветного плавания, она бы не заметила. «О чем вы плачете?» — спросил я. «Мне жаль вас»,— сказала она, отирая слезы. «Жаль потому, что лишний человек все-таки развлечение?» — заметил я. «А вы много сделали для моего развлечения?» — сказала она. Я стал в тупик: о чем же она плачет? «Мне просто жаль, что вы едете бог знает куда». Меня зло взяло. Вот как смотрят у нас на завидную участь путешественника! «Я понял бы ваши слезы, если б это были слезы зависти,— сказал я,— если б вам было жаль, что на мою, а не на вашу долю выпадает быть там, где из нас почти никто не бывает, видеть чудеса, о которых здесь и мечтать трудно, что мне открывается вся великая книга, из которой едва кое-кому удается прочесть первую страницу...» Я говорил ей хорошим слогом. «Полноте,— сказала она печально,— я знаю все; но какою ценою достанется вам читать эту книгу? Подумайте, что ожидает

вас, чего вы натерпитесь, сколько шансов не воротиться!.. Мне жаль вас, вашей участи, оттого я и плачу. Впрочем, вы не верите слезам,— прибавила она,— но я плачу не для вас: мне просто плачется».

Мысль ехать как хмель туманила голову, и я беспечно и шутливо отвечал на все предсказания и предостережения, пока еще событие было далеко. Я все мечтал — и давно мечтал — об этом вояже, может быть с той минуты, когда учитель сказал мне, что если ехать от какой-нибудь точки безостановочно, то воротишься к ней с другой стороны: мне захотелось поехать с правого берега Волги, на котором я родился, и воротиться с левого; хотелось самому туда, где учитель указывает пальцем быть экватору, полюсам, тропикам. Но когда потом, от карты и от учительской указки, я перешел к подвигам и приключениям Куков, Ванкуверов, я опечалился: что́ перед их подвигами Гомеровы герои, Аяксы, Ахиллесы и сам Геркулес? Дети! Робкий ум мальчика, родившегося среди материка и не видавшего никогда моря, цепенел перед ужасами и бедами, которыми наполнен путь пловцов. Но с летами ужасы изглаживались из памяти, и в воображении жили и пережили молодость только картины тропических лесов, синего моря, золотого, радужного неба.

«Нет, не в Париж хочу,— помните, твердил я вам,— не в Лондон, даже не в Италию, как звучно вы о ней ни пели, поэт[1],— хочу в Бразилию, в Индию, хочу туда, где солнце из камня вызывает жизнь и тут же рядом превращает в камень все, чего коснется своим огнем; где человек, как праотец наш, рвет несеяный плод, где рыщет лев, пресмыкается змей, где царствует вечное лето,—туда, в светлые чертоги божьего мира, где природа, как баядерка, дышит сладострастием, где душно, страшно и обаятельно жить, где обессиленная фантазия немеет перед готовым созданием, где глаза не устанут смотреть, а сердце биться».

Все было загадочно и фантастически прекрасно в волшебной дали: счастливцы ходили и возвращались с заманчивою, но глухою повестью о чудесах, с детским толкованием тайн мира. Но вот явился человек, мудрец и поэт, и озарил таинственные углы. Он пошел туда с компасом, заступом, циркулем и кистью, с сердцем, полным веры к творцу и любви к его мирозданию. Он внес жизнь, разум и опыт в каменные пустыни, в глушь лесов и силою светлого разумения указал путь тысячам за собою. «Космос!» Еще мучительнее прежнего хотелось взглянуть живыми глазами на живой космос. «Подал бы я,— думалось мне,— доверчиво мудрецу руку, как дитя взрослому, стал бы внимательно слушать, и, если понял бы настолько, насколько ребенок понимает толкования дядьки, я был бы богат и этим скудным разумением». Но и эта мечта улеглась в воображении, вслед

---

[1] А. Н. Майков. (*Прим. И. А. Гончарова.*) Гончаров имеет в виду цикл стихов А. Н. Майкова «Очерки Рима» (СПб. 1847).

многим другим. Дни мелькали, жизнь грозила пустотой, сумерками, вечными буднями: дни, хотя порознь разнообразные, сливались в одну утомительно-однообразную массу годов. Зевота за делом, за книгой, зевота в спектакле, и та же зевота в шумном собрании и в приятельской беседе!

И вдруг неожиданно суждено было воскресить мечты, расшевелить воспоминания, вспомнить давно забытых мною кругосветных героев. Вдруг и я вслед за ними иду вокруг света! Я радостно содрогнулся при мысли: я буду в Китае, в Индии, переплыву океаны, ступлю ногою на те острова, где гуляет в первобытной простоте дикарь, посмотрю на эти чудеса — и жизнь моя не будет праздным отражением мелких, надоевших явлений. Я обновился; все мечты и надежды юности, сама юность воротилась ко мне. Скорей, скорей в путь!

Странное, однако, чувство одолело меня, когда решено было, что я еду: тогда только сознание о громадности предприятия заговорило полно и отчетливо. Радужные мечты побледнели надолго; подвиг подавлял воображение, силы ослабевали, нервы падали по мере того, как наступал час отъезда. Я начал завидовать участи остающихся, радовался, когда являлось препятствие, и сам раздувал затруднения, искал предлогов остаться. Но судьба, по большей части мешающая нашим намерениям, тут как будто задала себе задачу помогать. И люди тоже, даже незнакомые, в другое время недоступные, хуже судьбы, как будто сговорились уладить дело. Я был жертвой внутренней борьбы, волнений, почти изнемогал. «Куда это? Что я затеял?» И на лицах других мне страшно было читать эти вопросы. Участие пугало меня. Я с тоской смотрел, как пустела моя квартира, как из нее понесли мебель, письменный стол, покойное кресло, диван. Покинуть все это, променять на что?

Жизнь моя как-то раздвоилась, или как будто мне дали вдруг две жизни, отвели квартиру в двух мирах. В одном я — скромный чиновник, в форменном фраке, робеющий перед начальническим взглядом, боящийся простуды, заключенный в четырех стенах, с несколькими десятками похожих друг на друга лиц, вицмундиров. В другом я — новый аргонавт, в соломенной шляпе, в белой льняной куртке, может быть с табачной жвачкой во рту, стремящийся по безднам за золотым руном в недоступную Колхиду, меняющий ежемесячно климаты, небеса, моря, государства. Там я редактор докладов, отношений и предписаний; здесь — певец, хотя ex officio[1], похода. Как пережить эту другую жизнь, сделаться гражданином другого мира? Как заменить робость чиновника и апатию русского литератора энергиею мореходца, изнеженность горожанина — загрубелостью матроса? Мне не дано ни других костей, ни новых нерв. А тут вдруг, от прогулок в Петергоф и Парголово, шагнуть к экវато-

[1] по обязанности (*лат.*).

ру, оттуда к пределам Южного полюса, от Южного к Северному, переплыть четыре океана, окружить пять материков и мечтать воротиться... Действительность, как туча, приближалась все грозней и грозней; душу посещал и мелочной страх, когда я углублялся в подробный анализ предстоящего вояжа. Морская болезнь, перемены климата, тропический зной, злокачественные лихорадки, звери, дикари, бури — все приходило на ум, особенно бури. Хотя я и беспечно отвечал на все, частию трогательные, частию смешные, предостережения друзей, но страх нередко и днем и ночью рисовал мне призраки бед. То представлялась скала, у подножия которой лежит наше разбитое судно, и утопающие напрасно хватаются усталыми руками за гладкие камни; то снилось, что я на пустом острове, выброшенный с обломком корабля, умираю с голода... Я просыпался с трепетом, с каплями пота на лбу. Ведь корабль, как он ни прочен, как ни приспособлен к морю, что он такое? — щепка, корзинка, эпиграмма на человеческую силу. Я боялся, выдержит ли непривычный организм массу суровых обстоятельств, этот крутой поворот от мирной жизни к постоянному бою с новыми и резкими явлениями бродячего быта? Да, наконец, хватит ли души вместить вдруг, неожиданно развивающуюся картину мира? Ведь это дерзость почти титаническая! Где взять силы, чтоб воспринять массу великих впечатлений? И когда ворвутся в душу эти великолепные гости, не смутится ли сам хозяин среди своего пира?

Я справлялся, как мог, с сомнениями: одни удалось победить, другие оставались нерешенными до тех пор, пока дойдет до них очередь, и я мало-помалу ободрился. Я вспомнил, что путь этот уже не Магелланов путь,что с загадками и страхами справились люди. Не величавый образ Колумба и Васко де Гама гадательно смотрит с палубы вдаль, в неизвестное будущее: английский лоцман, в синей куртке, в кожаных панталонах, с красным лицом, да русский штурман, с знаком отличия беспорочной службы, указывают пальцем путь кораблю и безошибочно назначают день и час его прибытия. Между моряками, зевая апатически, лениво смотрит «в безбрежную даль» океана литератор, помышляя о том, хороши ли гостиницы в Бразилии, есть ли прачки на Сандвичевых островах, на чем ездят в Австралии? «Гостиницы отличные,— отвечают ему,— на Сандвичевых островах найдете все: немецкую колонию, французские отели, английский портер — все, кроме диких». В Австралии есть кареты и коляски, китайцы начали носить ирландское полотно; в Ост-Индии говорят все по-английски; американские дикари из леса порываются в Париж и в Лондон, просятся в университет; в Африке черные начинают стыдиться своего цвета лица и понемногу привыкают носить белые перчатки. Лишь с большим трудом и издержками можно попасть в кольца удава или в когти тигра и льва. Китай долго крепился, но и этот сундук с

старою рухлядью вскрылся — крышка слетела с петель, подорванная порохом. Европеец роется в ветоши, достает, что придется ему впору, обновляет, хозяйничает... Пройдет еще немного времени, и не станет ни одного чуда, ни одной тайны, ни одной опасности, никакого неудобства. И теперь воды морской нет, ее делают пресною, за пять тысяч верст от берега является блюдо свежей зелени и дичи; под экватором можно поесть русской капусты и щей. Части света быстро сближаются между собою: из Европы в Америку — рукой подать; поговаривают, что будут ездить туда в сорок восемь часов — пуф, шутка, конечно, но современный пуф, намекающий на будущие гигантские успехи мореплавания.

Скорей же, скорей в путь! Поэзия дальних странствий исчезает не по дням, а по часам. Мы, может быть, последние путешественники, в смысле аргонавтов: на нас еще, по возвращении, взглянут с участием и завистью.

Казалось, все страхи, как мечты, улеглись: вперед манил простор и ряд неиспытанных наслаждений. Грудь дышала свободно, навстречу веяло уже югом, манили голубые небеса и воды. Но вдруг за этою перспективой возникало опять грозное привидение и росло по мере того, как я вдавался в путь. Это привидение была мысль: какая обязанность лежит на грамотном путешественнике перед соотечественниками, перед обществом, которое следит за плавателями? Экспедиция в Японию — не иголка: ее не спрячешь, не потеряешь. Трудно теперь съездить и в Италию без ведома публики тому, кто раз брался за перо. А тут предстоит объехать весь мир и рассказать об этом так, чтоб слушали рассказ без скуки, без нетерпения. Но как и что рассказывать и описывать? Это одно и то же, что спросить, с какою физиономией явиться в общество?

Нет науки о путешествиях: авторитеты, начиная от Аристотеля до Ломоносова включительно, молчат; путешествия не попали под ферулу риторики, и писатель свободен пробираться в недра гор или опускаться в глубину океанов с ученою пытливостью или, пожалуй, на крыльях вдохновения скользить по ним быстро и ловить мимоходом, на бумагу, их образы; описывать страны и народы исторически, статистически или только посмотреть, каковы трактиры,— словом, никому не отведено столько простора и никому от этого так не тесно писать, как путешественнику. Говорить ли о теории ветров, о направлении и курсах корабля, о широтах и долготах, или докладывать, что такая-то страна была когда-то под водою, а вот это дно было наруже; этот остров произошел от огня, а тот от сырости; начало этой страны относится к такому времени, народ произошел оттуда, и при этом старательно выписать из ученых авторитетов, откуда, что и как. Но вы спрашиваете чего-нибудь позанимательнее. Все, что я говорю, очень важно; путешественнику стыдно заниматься будничным делом: он должен посвящать себя пре-

имущественно тому, чего уж нет давно, или тому, что, может быть, было, а может быть, и нет. «Отошлите это в ученое общество, в академию,— говорите вы,— а, беседуя с людьми всякого образования, пишите иначе. Давайте нам чудес, поэзии, огня, жизни и красок!»

Чудес, поэзии! Я сказал, что их нет, этих чудес: путешествия утратили чудесный характер. Я не сражался со львами и тиграми, не пробовал человеческого мяса. Все подходит под какой-то прозаический уровень. Колонисты не мучат невольников, покупщики и продавцы негров называются уже не купцами, а разбойниками; в пустынях учреждаются станции, отели; через бездонные пропасти вешают мосты. Я с комфортом и безопасно проехал сквозь ряд португальцев и англичан на Мадере и островах Зеленого мыса; голландцев, негров, готтентотов и опять англичан — на мысе Доброй Надежды; малайцев, индусов и... англичан — в Малайском архипелаге и Китае. Что за чудо увидеть теперь пальму и банан не на картине, а в натуре, на их родной почве, есть прямо с дерева гуавы, мангу и ананасы, не из теплиц, тощие и сухие, а сочные, с римский огурец величиною? Что удивительного теряться в кокосовых неизмеримых лесах, путаться ногами в ползучих лианах, между высоких, как башни, деревьев, встречаться с этими цветными странными нашими братьями? А море? И оно обыкновенно во всех своих видах, бурное или неподвижное, и небо тоже, полуденное, вечернее, ночное, с разбросанными, как песок, звездами. Все так обыкновенно, все это так должно быть. Напротив, я уехал от чудес: в тропиках их нет. Там все одинаково, все просто. Два времени года, и то это так говорится, а в самом деле ни одного: зимой жарко, а летом знойно; а у вас там, на «дальнем севере», четыре сезона, и то это положено по календарю, а в самом-то деле их семь или восемь. Сверх положенных там в апреле является нежданное лето, морит духотой, а в июне непрошеная зима порошит иногда снегом, потом вдруг наступит зной, какому позавидуют тропики, и все цветет и благоухает тогда на пять минут под этими страшными лучами. Раза три в год Финский залив и покрывающее его серое небо нарядятся в голубой цвет и млеют, любуясь друг другом, и северный человек, едучи из Петербурга в Петергоф, не насмотрится на редкое «чудо», ликует в непривычном зное, и все заликует: дерево, цветок и животное. В тропиках, напротив, страна вечного зефира, вечного зноя, покоя и синевы небес и моря. Все однообразно!

И поэзия изменила свою священную красоту. Ваши музы, любезные поэты[1], законные дочери парнасских Камен, не подали бы вам услужливой лиры, не указали бы на тот поэтический образ, который кидается в глаза новейшему путешественнику. И какой это образ! Не блистающий красотою, не с атрибутами

[1] В. Г. Бенедиктов и А. Н. Майков. (*Прим. И. А. Гончарова.*)

силы, не с искрой демонского огня в глазах, не с мечом, не в короне, а просто в черном фраке, в круглой шляпе, в белом жилете, с зонтиком в руках. Но образ этот властвует в мире над умами и страстями. Он всюду: я видел его в Англии — на улице, за прилавком магазина, в законодательной палате, на бирже. Все изящество образа этого, с синими глазами, блестит в тончайшей и белейшей рубашке, в гладко выбритом подбородке и красиво причесанных русых или рыжих бакенбардах. Я писал вам, как мы, гонимые бурным ветром, дрожа от северного холода, пробежали мимо берегов Европы, как в первый раз пал на нас у подошвы гор Мадеры ласковый луч солнца и, после угрюмого, серо-свинцового неба и такого же моря, заплескали голубые волны, засияли синие небеса, как мы жадно бросились к берегу погреться горячим дыханием земли, как упивались за версту повеявшим с берега благоуханием цветов. Радостно вскочили мы на цветущий берег, под олеандры. Я сделал шаг и остановился в недоумении, в огорчении: как, и под этим небом, среди ярко блещущих красок моря и зелени... стояли три знакомые образа, в черном платье, в круглых шляпах! Они, опираясь на зонтики, повелительно смотрели своими синими глазами на море, на корабли и на воздымавшуюся над их головами и поросшую виноградниками гору. Я шел по горе; под портиками, между фестонами виноградной зелени, мелькал тот же образ; холодным и строгим взглядом следил он, как толпы смуглых жителей юга добывали, обливаясь потом, драгоценный сок своей почвы, как катили бочки к берегу и усылали вдаль, получая за это от повелителей право есть хлеб своей земли. В океане, в мгновенных встречах, тот же образ виден был на палубе кораблей, насвистывающий сквозь зубы: «Rule, Britannia, upon the sea»[1]. Я видел его на песках Африки, следящего за работой негров, на плантациях Индии и Китая, среди тюков чаю, взглядом и словом, на своем родном языке, повелевающего народами, кораблями, пушками, двигающего необъятными естественными силами природы... Везде и всюду этот образ английского купца носится над стихиями, над трудом человека, торжествует над природой!

Но довольно делать pas de géants:[2] будем путешествовать умеренно, шаг за шагом. Я уже успел побывать с вами в пальмовых лесах, на раздолье океанов, не выехав из Кронштадта. Оно и нелегко: если, сбираясь куда-нибудь на богомолье, в Киев или из деревни в Москву, путешественник не оберется суматохи, по десяти раз кидается в объятия родных и друзей, закусывает, присаживается и т. п., то сделайте посылку, сколько понадобится времени, чтобы тронуться четыремстам человек—

[1] «Правь, Британия, морями» — первая строка английского государственного гимна.

[2] гигантские скачки (*франц.*).

в Японию. Три раза ездил я в Кронштадт, и все что-нибудь было еще не готово. Отъезд откладывался на сутки, и я возвращался еще провести день там, где провел лет семнадцать и где наскучило жить. «Увижу ли я опять эти главы и кресты?» — прощался я мысленно, отваливая в четвертый и последний раз от Английской набережной.

Наконец 7 октября фрегат «Паллада» снялся с якоря. С этим началась для меня жизнь, в которой каждое движение, каждый шаг, каждое впечатление были не похожи ни на какие прежние.

Вскоре все стройно засуетилось на фрегате, до тех пор неподвижном. Все четыреста человек экипажа столпились на палубе, раздались командные слова, многие матросы поползли вверх по вантам, как мухи облепили реи, и судно окрылилось парусами. Но ветер был не совсем попутный, и потому нас потащил по заливу сильный пароход и на рассвете воротился, а мы стали бороться с поднявшимся бурным, или, как моряки говорят, «свежим» ветром. Началась сильная качка. Но эта первая буря мало подействовала на меня: не бывши никогда на море, я думал, что это так должно быть, что иначе не бывает, то есть что корабль всегда раскачивается на обе стороны, палуба вырывается из-под ног и море как будто опрокидывается на голову.

Я сидел в кают-компании, прислушиваясь в недоумении к свисту ветра между снастей и к ударам волн в бока судна. Наверху было холодно; косой, мерзлый дождь хлестал в лицо. Офицеры беззаботно разговаривали между собой, как в комнате, на берегу; иные читали. Вдруг раздался пронзительный свист, но не ветра, а боцманских свистков, и вслед за тем разнесся по всем палубам крик десяти голосов: «Пошел все наверх!» Мгновенно все народонаселение фрегата бросилось снизу вверх; отсталых матросов побуждали боцмана. Офицеры бросили книги, карты (географические: других там нет), разговоры и стремительно побежали туда же. Непривычному человеку покажется, что случилось какое-нибудь бедствие, как будто что-нибудь сломалось, оборвалось и корабль сейчас пойдет на дно. «Зачем это зовут всех наверх?» — спросил я бежавшего мимо меня мичмана. «Свистят всех наверх, когда есть авральная работа»,— сказал он второпях и исчез. Цепляясь за трапы и веревки, я выбрался на палубу и стал в уголок. Все суетилось. «Что это такое авральная работа?» — спросил я другого офицера. «Это когда свистят всех наверх»,— отвечал он и занялся — авральною работою. Я старался составить себе идею о том, что это за работа, глядя, что делают, но ничего не уразумел: делали все то же, что вчера, что, вероятно, будут делать завтра: тянут снасти, поворачивают реи, подбирают паруса. Офицеры объяснили мне сущую истину, мне бы следовало так и понять просто, как оно было сказано,— и вся тайна была тут. Авральная работа значит — общая работа, когда одной вахты мало, нужны все

руки, оттого всех и «свистят наверх»! По-английски, если не ошибаюсь, и командуют «все руки вверх!» (all hands up!). Через пять минут, сделав, что нужно, все разошлись по своим местам. Барон Криднер в трех шагах от меня насвистывал под шум бури мотив из оперы. Напрасно я силился подойти к нему: ноги не повиновались, и он смеялся моим усилиям. «Морских ног нет у вас»,— сказал он. «А скоро будут?» — спросил я. «Месяца через два, вероятно». Я вздохнул: только это и оставалось мне сделать при мысли, что я еще два месяца буду ходить, как ребенок, держась за юбку няньки. Вскоре обнаружилась морская болезнь у молодых и подверженных ей или не бывших давно в походе моряков. Я ждал, когда начну и я отдавать эту скучную дань морю, а ждал непременно. Между тем наблюдал за другими: вот молодой человек, гардемарин, бледнеет, опускается на стул; глаза у него тускнеют, голова клонится на сторону. Вот сменили часового, и он, отдав ружье, бежит опрометью на бак. Офицер хотел что-то закричать матросам, но вдруг отвернулся лицом к морю и оперся на борт... «Что это, вас, кажется, *травит*?» — говорит ему другой. (*Травить*, *вытравливать* — значит выпускать понемногу канат). Едва успеваешь отскакивать то от того, то от другого... «Выпейте водки»,— говорят мне одни. «Нет, лучше лимонного соку»,— советуют другие; третьи предлагают луку или редьки. Я не знал, на что решиться, чтобы предупредить болезнь, и закурил сигару. Болезнь все не приходила, и я тревожно похаживал между больными, ожидая— вот-вот начнется. «Вы курите в качку сигару и ожидаете после этого, что вас укачает: напрасно!» — сказал мне один из спутников. И в самом деле напрасно: во все время плавания я ни разу не почувствовал ни малейшей дурноты и возбуждал зависть даже в моряках.

Я с первого шага на корабль стал осматриваться. И теперь еще, при конце плавания, я помню то тяжелое впечатление, от которого сжалось сердце, когда я в первый раз вглядывался в принадлежности судна, заглянул в трюм, в темные закоулки, как мышиные норки, куда едва доходит бледный луч света чрез толстое в ладонь стекло. С первого раза невыгодно действует на воображение все, что потом привычному глазу кажется удобством: недостаток света, простора, люки, куда люди как будто проваливаются, пригвожденные к стенам комоды и диваны, привязанные к полу столы и стулья, тяжелые орудия, ядра и картечи, правильными кучами на кранцах, как на подносах, расставленные у орудий; груды снастей, висящих, лежащих, двигающихся и неподвижных, койки вместо постелей, отсутствие всего лишнего; порядок и стройность вместо красивого беспорядка и некрасивой распущенности, как в людях, так и в убранстве этого плавучего жилища. Робко ходит в первый раз человек на корабле: каюта ему кажется гробом, а между тем едва ли он безопаснее в многолюдном городе, на шумной улице, чем на

крепком парусном судне, в океане. Но к этой истине я пришел не скоро.

Нам, русским, делают упрек в лени, и недаром. Сознаемся сами, без помощи иностранцев, что мы тяжелы на подъем. Можно ли поверить, что в Петербурге есть множество людей, тамошних уроженцев, которые никогда не бывали в Кронштадте оттого, что туда надо ехать морем, именно оттого, зачем бы стоило съездить за тысячу верст, чтобы только испытать этот способ путешествия? Моряки особенно жаловались мне на недостаток любознательности в нашей публике ко всему, что касается моря и флота, и приводили в пример англичан, которые толпами, с женами и детьми, являются на всякий корабль, приходящий в порт. Первая часть упрека совершенно основательна, то есть в недостатке любопытства; что касается до второй, то англичане нам не пример. У англичан море — их почва: им не по чем ходить больше. Оттого в английском обществе есть множество женщин, которые бывали во всех пяти частях света. Некоторые постоянно живут в Индии и приезжают видеться с родными в Лондон, как у нас из Тамбова в Москву. Следует ли от этого упрекать наших женщин, что они не бывают в Китае, на мысе Доброй Надежды, в Австралии, или англичанок за то, что они не бывают в Камчатке, на Кавказе, в глубине азиатских степей?

Но не знать петербургскому жителю, что такое палуба, мачта, реи, трюм, трап, где корма, где нос, главные части и принадлежности корабля,— не совсем позволительно, когда под боком стоит флот. Многие оправдываются тем, что они не имеют между моряками знакомых и оттого затрудняются сделать визит на корабль, не зная, как «моряки примут». А примут отлично, как хорошие знакомые; даже самолюбию их будет приятно участие к их делу, и они познакомят вас с ним с радушием и самою изысканною любезностью. Поезжайте летом на кронштадтский рейд, на любой военный корабль, адресуйтесь к командиру, или старшему, или, наконец, к вахтенному (караульному) офицеру, с просьбой осмотреть корабль, и если нет «авральной» работы на корабле, то я вам ручаюсь за самый приятный прием.

Приехав на фрегат, еще с багажом, я не знал, куда ступить, и в незнакомой толпе остался совершенным сиротой. Я с недоумением глядел вокруг себя и на свои сложенные в кучу вещи. Не прошло минуты, ко мне подошли три офицера: барон Шлипенбах, мичманы Болтин и Колокольцев — мои будущие спутники и отличные приятели. С ними подошла куча матросов. Они разом схватили все, что было со мной, чуть не меня самого, и понесли в назначенную мне каюту. Пока барон Шлипенбах водворял меня в ней, Болтин привел молодого, коренастого, гладко остриженного матроса. «Вот этот матрос вам назначен в вестовые»,— сказал он. Это был Фаддеев, с которым я уже давно познакомил вас. «Честь имею явиться»,— сказал он, вытянувшись и оборотившись ко мне не лицом, а грудью: лицо у него

всегда было обращено несколько стороной к предмету, на который он смотрел. Русые волосы, белые глаза, белое лицо, тонкие губы — все это напоминало скорее Финляндию, нежели Кострому, его родину. С этой минуты мы уже с ним неразлучны до сих пор. Я изучил его недели в три окончательно, то есть пока шли до Англии; он меня, я думаю, в три дня. Сметливость и «себе на уме» были не последними его достоинствами, которые прикрывались у него наружною неуклюжестью костромитянина и субординациею матроса. «Помоги моему человеку установить вещи в каюте»,— отдал я ему первое приказание. И то, что моему слуге стало бы на два утра работы, Фаддеев сделал в три приема — не спрашивайте как. Такой ловкости и цепкости, какою обладает матрос вообще, а Фаддеев в особенности, встретишь разве в кошке. Через полчаса все было на своем месте, между прочим и книги, которые он расположил на комоде в углу полукружием и перевязал, на случай качки, веревками так, что нельзя было вынуть ни одной без его же чудовищной силы и ловкости, и я до Англии пользовался книгами из чужих библиотек.

«Вы, верно, не обедали,— сказал Болтин,— а мы уже кончили свой обед: не угодно ли закусить?» Он привел меня в кают-компанию, просторную комнату внизу, на кубрике, без окон, но с люком наверху, чрез который падает обильный свет. Кругом помещались маленькие каюты офицеров, а посредине насквозь проходила бизань-мачта, замаскированная круглым диваном. В кают-компании стоял длинный стол, какие бывают в классах, со скамьями. На нем офицеры обедают и занимаются. Была еще кушетка и больше ничего. Как ни массивен этот стол, но, при сильной качке, и его бросало из стороны в сторону, и чуть было однажды не задавило нашего миньятюрного, доброго, услужливого распорядителя офицерского стола, П. А. Тихменева. В офицерских каютах было только место для постели, для комода, который в то же время служил и столом, и для стула. Но зато все пригнано к помещению всякой всячины как нельзя лучше. Платье висело на перегородке, белье лежало в ящиках, устроенных в постели, книги стояли на полках.

Офицеров никого не было в кают-компании: все были наверху, вероятно «на авральной работе». Подали холодную закуску. А. А. Болтин угощал меня. «Извините, горячего у нас ничего нет,— сказал он,— все огни потушены. Порох принимаем».— «Порох? а много его здесь?» — осведомился я с большим участием. «Пудов пятьсот приняли: остается еще принять пудов триста».— «А где он у вас лежит?» — еще с большим участием спросил я. «Да вот здесь,— сказал он, указывая на пол,— под вами». Я немного приостановился жевать при мысли, что подо мной уже лежит пятьсот пудов пороху и что в эту минуту вся «авральная работа» сосредоточена на том, чтобы подложить еще пудов триста. «Это хорошо, что огни потушены»,— похва-

лил я за предусмотрительность. «Помилуйте, что за хорошо: курить нельзя»,— сказал другой, входя в каюту. «Вот какое различие бывает во взглядах на один и тот же предмет!» — подумал я в ту минуту, а через месяц, когда, во время починки фрегата в Портсмуте, сдавали порох на сбережение в английское адмиралтейство, ужасно роптал, что огня не дают и что покурить нельзя.

К вечеру собрались все: камбуз (печь) запылал; подали чай, ужин — и задымились сигары. Я перезнакомился со всеми и вот с тех пор до сей минуты — как дома. Я думал, судя по прежним слухам, что слово «чай» у моряков есть только аллегория, под которою надо разуметь пунш, и ожидал, что когда офицеры соберутся к столу, то начнется авральная работа за пуншем, загорится живой разговор, а с ним и носы, потом кончится дело объяснениями в дружбе, даже объятиями, словом исполнится вся программа оргии. Я уже придумал, как мне отделаться от участия в ней. Но, к удивлению и удовольствию моему, на длинном столе стоял всего один графин хереса, из которого человека два выпили по рюмке, другие и не заметили его. После, когда предложено было вовсе не подавать вина за ужином, все единодушно согласились. Решили: излишек в экономии от вина приложить к сумме, определенной на библиотеку. О ней был длинный разговор за ужином, а об водке ни полслова!

Не то рассказывал мне один старый моряк о прежних временах! «Бывало, сменишься с вахты иззябший и перемокший — да как хватишь стаканов шесть пунша!..» — говорил он. Фаддеев устроил мне койку, и я, несмотря на октябрь, на дождь, на лежавшие под ногами восемьсот пудов пороха, заснул, как редко спал на берегу, утомленный хлопотами переезда, убаюканный свежестью воздуха и новыми, не неприятными впечатлениями. Утром я только что проснулся, как увидел в каюте своего городского слугу, который не успел с вечера отправиться на берег и ночевал с матросами. «Барин! — сказал он встревоженным и умоляющим голосом,— не ездите, Христа ради, по морю!» — «Куда?» — «А куда едете: на край света».— «Как же ехать?»— «Матросы сказывали, что сухим путем можно».— «Отчего ж не по морю?» — «Ах, господи! какие страсти рассказывают. Говорят, вон с этого бревна, что наверху поперек висит...»— «С рея,— поправил я.— Что ж случилось?» — «В бурю ветром пятнадцать человек в море снесло; насилу вытащили, а один утонул. Не ездите, Христа ради!» Вслушавшись в наш разговор, Фаддеев заметил, что качка ничего, а что есть на море такие места, где «крутит», и когда корабль в этакую «кручу» попадает, так сейчас вверх килем перевернется. «Как же быть-то,— спросил я,— и где такие места есть?» — «Где такие места есть? — повторил он,— штурмана знают, туда не ходят».

Итак, мы снялись с якоря. Море бурно и желто, облака серые, непроницаемые; дождь и снег шли попеременно — вот

что провожало нас из отечества. Ванты и снасти леденели. Матросы в байковых пальто жались в кучу. Фрегат, со скрипом и стоном, переваливался с волны на волну; берег, в виду которого шли мы, зарылся в туманах. Вахтенный офицер, в кожаном пальто и клеенчатой фуражке, зорко глядел вокруг, стараясь не выставлять наружу ничего, кроме усов, которым предоставлялась полная свобода мерзнуть и мокнуть. Больше всех заботы было *деду*. Я в предыдущих письмах познакомил вас с ним и почти со всеми моими спутниками. Не стану возвращаться к их характеристике, а буду упоминать о каждом кстати, когда придет очередь. Деду, как старшему штурманскому капитану, предстояло наблюдать за курсом корабля. Финский залив весь усеян мелями, но он превосходно обставлен маяками, и в ясную погоду в в нем так же безопасно, как на Невском проспекте. А теперь, в туман, дед, как ни напрягал зрение, пе мог видеть Нервинского маяка. Беспокойству его не было конца. У него только и было разговору, что о маяке. «Как же так,— говорил он всякому, кому и дела не было до маяка, между прочим и мне,— по расчету уж с полчаса мы должны видеть его. Он тут, непременно тут, вот против этой ванты,— ворчал он, указывая коротеньким пальцем в туман,— да каторжный туман мешает. Ах ты, господи! поди-ка посмотри ты, не увидишь ли?» — говорил он комунибудь из матросов. «А это что такое там, как будто стрелка?..»— сказал я. «Где? где?» — живо спросил он. «Да вон, кажется...» — говорил я, указывая вдаль. «Ах, в самом деле — вон, вон, да, да! Виден, виден!» — торжественно говорил он и капитану, и старшему офицеру, и вахтенному и бегал то к карте в каюту, то опять наверх. «Виден, вот, вот он, весь виден!» — твердил он, радуясь, как будто увидел родного отца. И пошел мерить и высчитывать узлы.

Мы прошли Готланд. Тут я услышал морское поверье, что, поравнявшись с этим островом, суда бросали, бывало, медную монету духу, охраняющему остров, чтобы он пропустил мимо без бурь. Готланд — камень с крутыми ровными боками, к которым нет никакого приступу кораблям. Не раз они делались добычей бурного духа, и свирепое море высоко подбрасывало обломки их, а иногда и трупы, на крутые бока негостеприимного острова. Прошли и Борнгольм — помните: «милый Борнгольм» и таинственную недосказанную легенду Карамзина?[1] Все было холодно, мрачно. На фрегате открылась холера, и мы, дойдя только до Дании, похоронили троих людей, да один смелый матрос сорвался в бурную погоду в море и утонул. Таково было наше обручение с морем, и предсказание моего слуги отчасти сбылось. Подать упавшему помощь, не жертвуя другими людьми, по причине сильного волнения, было невозможно.

---

[1] См. романтическую повесть Н. М. Карамзина «Остров Борнгольм» (1794).

Но дни шли своим чередом и жизнь на корабле тоже. Отправляли службу, обедали, ужинали — все по свистку, и даже по свистку веселились. Обед — это тоже своего род авральная работа. В батарейной палубе привешиваются большие чашки, называемые «баками», куда накладывается кушанье из одного общего или «братского» котла. Дают одно блюдо: щи с солониной, с рыбой, с говядиной или кашицу; на ужин то же, иногда кашу. Я подошел однажды попробовать. «Хлеб да соль»,— сказал я. Один из матросов, из учтивости, чисто облизал свою деревянную ложку и подал мне. Щи превкусные, с сильною приправой луку. Конечно, нужно иметь матросский желудок, то есть нужен моцион матроса, чтобы переварить эти куски солонины и лук с вареною капустой — любимое матросами и полезное на море блюдо. «Но одно блюдо за обедом — этого мало,— думалось мне,— матросы, пожалуй, голодны будут».— «А много ли вы едите?»— спросил я. «До отвалу, ваше высокоблагородие»,— в пять голосов отвечали обедающие. В самом деле, то от одной, то от другой группы опрометью бежал матрос с пустой чашкой к братскому котлу и возвращался осторожно, неся полную до краев чашку.

Веселились по свистку, сказал я; да, там, где собрано в тесную кучу четыреста человек, и самое веселье подчинено общему порядку. После обеда, по окончании работ, особенно в воскресенье, обыкновенно раздается команда: «Свистать песенников наверх!» И начинается веселье. Особенно я помню, как это странно поразило меня в одно воскресенье. Холодный туман покрывал небо и море, шел мелкий дождь. В такую погоду хочется уйти в себя, сосредоточиться, а матросы пели и плясали. Но они странно плясали: усиленные движения ясно разногласили с этою сосредоточенностью. Пляшущие были молчаливы, выражения лиц хранили важность, даже угрюмость, но тем, кажется, они усерднее работали ногами. Зрители вокруг, с тою же угрюмою важностью, пристально смотрели на них. Пляска имела вид напряженного труда. Плясали, кажется, лишь по сознанию, что сегодня праздник, следовательно надо веселиться. Но если б отменили удовольствие, они были бы недовольны.

Плавание становилось однообразно и, признаюсь, скучновато: все серое небо, да желтое море, дождь со снегом или снег с дождем — хоть кому надоест. У меня уж заболели зубы и висок. Ревматизм напомнил о себе живее, нежели когда-нибудь. Я слег и несколько дней пролежал, закутанный в теплые одеяла, с подвязанною щекой.

Только у берегов Дании повеяло на нас теплом, и мы ожили. Холера исчезла со всеми признаками, ревматизм мой унялся, и я стал выходить на *улицу* — так я прозвал палубу. Но бури не покидали нас: таков обычай на Балтийском море осенью. Пройдет день, два — тихо, как будто ветер собирается с силами, и грянет потом так, что бедное судно стонет, как живое существо.

День и ночь на корабле бдительно следят за состоянием погоды. Барометр делается общим оракулом. Матрос и офицер не смеют надеяться проспать покойно свою смену. «Пошел все наверх!» — раздается и среди ночного безмолвия. Я, лежа у себя в койке, слышу всякий стук, крик, всякое движение парусов, командные слова и начинаю понимать смысл последних. Когда заслышишь приказание «Поставить брамсели, лиселя», покойно закутываешься в одеяло и засыпаешь беззаботно: значит, тихо, покойно. Зато как навостришь уши, когда велят «брать два, три рифа», то есть уменьшить парус. Лучше и не засыпать тогда: все равно после проснешься поневоле.

Заговорив о парусах, кстати скажу вам, какое впечатление сделала на меня парусная система. Многие наслаждаются этою системой, видя в ней доказательство будто бы могущества человека над бурною стихией. Я вижу совсем противное, то есть доказательство его бессилия одолеть воду. Посмотрите на постановку и уборку парусов вблизи, на сложность механизма, на эту сеть снастей, канатов, веревок, концов и веревочек, из которых каждая отправляет свое особенное назначение и есть необходимое звено в общей цепи; взгляните на число рук, приводящих их в движение. И между тем к какому неполному результату приводят все эти хитрости! Нельзя определить срок прибытию парусного судна, нельзя бороться с противным ветром, нельзя сдвинуться назад, наткнувшись на мель, нельзя поворотить сразу в противную сторону, нельзя остановиться в одно мгновение. В штиль судно дремлет, при противном ветре лавирует, то есть виляет, обманывает ветер и выигрывает только треть прямого пути. А ведь несколько тысяч лет убито на то, чтоб выдумывать по парусу и по веревке в столетие. В каждой веревке, в каждом крючке, гвозде, дощечке читаешь историю, каким путем истязаний приобрело человечество право плавать по морю при благоприятном ветре. Всех парусов до тридцати: на каждое дуновение ветра приходится по парусу. Оно, пожалуй, красиво смотреть со стороны, когда на бесконечной глади вод плывет корабль, окрыленный белыми парусами, как подобие лебедя, а когда попадешь в эту паутину снастей, от которых проходу нет, то увидишь в этом не доказательство силы, а скорее безнадежность на совершенную победу. Парусное судно похоже на старую кокетку, которая нарумянится, набелится, подденет десять юбок и затянется в корсет, чтобы подействовать на любовника, и на минуту иногда успеет; но только явится молодость и свежесть сил — все ее хлопоты разлетятся в прах. И парусное судно, обмотавшись веревками, завесившись парусами, роет туда же, кряхтя и охая, волны; а чуть задует в лоб — крылья и повисли. До паров еще, пожалуй, можно бы не то что гордиться, а забавляться сознанием, что вот-де дошли же до того, что плаваем по морю с попутным ветром. Некоторые находят, что в пароходе меньше поэзии, что он не так опрятен,

некрасив. Это от непривычки: если б пароходы существовали несколько тысяч лет, а парусные суда недавно, глаз людской, конечно, находил бы больше поэзии в этом быстром, видимом стремлении судна, на котором не мечется из угла в угол измученная толпа людей, стараясь угодить ветру, а стоит в бездействии, скрестив руки на груди, человек, с покойным сознанием, что под ногами его сжата сила, равная силе моря, заставляющая служить себе и бурю и штиль. Напрасно водили меня показывать, как красиво вздуваются паруса с подветренной стороны, как фрегат, лежа боком на воде, режет волны и мчится по двенадцати узлов в час. «Этак и пароход не пойдет!» — говорят мне. «Да зато пароход всегда пойдет». Горе моряку старинной школы, у которого весь ум, вся наука, искусство, а за ними самолюбие и честолюбие расселись по снастям. Дело решено. Паруса остались на долю мелких судов и небогатых промышленников; все остальное усвоило пар. Ни на одной военной верфи не строят больших парусных судов; даже старые переделываются на паровые. При нас в портсмутском адмиралтействе розняли уже совсем готовый корабль пополам и вставили паровую машину.

Мы вошли в Зунд; здесь не видавшему никогда ничего, кроме наших ровных степных местностей, в первый раз являются в тумане картины гор, желтых, лиловых, серых, смотря по освещению солнца и расстоянию. Шведский берег весь гористый. Датский виден ясно. Он нам представил картину увядшей осенней зелени, несколько деревень. Романтики, глядя на крепости обоих берегов, припоминали могилу Гамлета; более положительные люди рассуждали о несправедливости зундских пошлин[1], самые положительные — о необходимости запастись свежею провизией, а все вообще мечтали съехать на сутки на берег, ступить ногой в Данию, обегать Копенгаген, взглянуть на физиономию города, на картину людей, быта, немного расправить ноги после качки, поесть свежих устриц. Но ничего этого не случилось. На другой день заревел шторм, сообщения с берегом не было, и мы простояли, помнится, трое суток в печальном бездействии. Простоять в виду берега, не имея возможности съехать на него, гораздо скучнее, нежели пробыть месяц в море, не видя берегов. В этом я убедился вполне. Обедали, пили чай, разговаривали, читали, заучили картину обоих берегов наизусть и все-таки времени оставалось много. Изредка нарушалось однообразие неожиданным развлечением. Вбежит иногда в капитанскую каюту вахтенный и тревожно скажет: «Купец наваливается, ваше высокоблагородие!» Книги, обед — все бросается, бегут наверх; я туда же. В самом деле, купеческое судно, называемое в море коротко «купец», для отличия от военного,

---

[1] Имеются в виду пошлины, взимавшиеся в 1425—1857 годах датскими властями за право следования иностранных судов через пролив Зунд.

сбитое течением или от неуменья править, так и ломит или на нос, или на корму, того и гляди стукнется, повредит как-нибудь утлегарь, поломает реи — и не перечтешь, сколько наделает вреда себе и другим. Начинается крик, шум, угрозы, с одной стороны по-русски, с другой — энергические ответы и оправдания по-голландски или по-английски, по-немецки. Друг друга в суматохе не слышат, не понимают, а кончится все-таки тем, что расцепятся — и все смолкнет: корабль нем и недвижим опять; только часовой задумчиво ходит с ружьем взад и вперед.

Завидят ли огни ночью — еще больше тревоги. На бдительность купеческих судов надеяться нельзя. Там все принесено в жертву экономии; от этого людей на них мало, рулевой большею частию один: нельзя понадеяться, что ночью он не задремлет над колесом и не прозевает встречных огней. Столкновение двух судов ведет за собой неминуемую гибель одного из них, меньшего непременно, а иногда и обоих. От этого всегда поднимается гвалт на судне, когда завидят идущие навстречу огни, кричат, бьют в барабан, жгут бенгальские огни и, если судно не меняет своего направления, палят из пушек. Это особенно приятно, когда многие спят по каютам и не знают, в чем дело, а тут вдруг раздается треск, от которого дрогнет корабль. Но и к этому привыкаешь.

Барон Шлипенбах один послан был по делу на берег, а потом, вызвав лоцмана, мы прошли Зунд, лишь только стихнул шторм, и пустились в Каттегат и Скагеррак, которые пробежали в сутки.

Я в это время читал замечательную книгу, от которой нельзя оторваться, несмотря на то, что читал уже не совсем новое. Это «История кораблекрушений», в которой собраны за старое и новое время все случаи известных кораблекрушений, со всеми последствиями. Воин Андреевич Корсаков читал ее и дал мне прочесть «для успокоения воображения», как говорил он. Хорошо успокоение: прочесть подряд сто историй, одна страшнее и плачевнее другой, когда пускаешься года на три жить на море! Только и говорится о том, как корабль стукнулся о камень, повалился на бок, как рухнули мачты, палубы, как гибли сотнями люди — одни раздавленные пушками, другие утонули... Взглянешь около себя и увидишь мачты, палубы, пушки, слышишь рев ветра, а невдалеке, в красноречивом безмолвии, стоят красивые скалы: не раз содрогнешься за участь путешественников!.. Но я убедился, что читать и слушать рассказы об опасных странствиях гораздо страшнее, нежели испытывать последние. Говорят, и умирающему не так страшно умирать, как свидетелям смотреть на это.

Потом, вникая в устройство судна, в историю всех этих рассказов о кораблекрушениях, видишь, что корабль погибает не легко и не скоро, что он до последней доски борется с морем и носит в себе пропасть средств к защите и самохранению, между

которыми есть много предвиденных и непредвиденных, что, лишась почти всех своих членов и частей, он еще тысячи миль носится по волнам в виде остова и долго хранит жизнь человека. Между обреченным гибели судном и рассвирепевшим морем завязывается упорная битва: с одной стороны слепая сила, с другой — отчаяние и зоркая хитрость, указывающая самому крушению совершаться постепенно, по правилам. Есть целая теория, как защищаться от гибели. Срежет ли ураган у корабля все три мачты: кажется, как бы не погибнуть? Ведь это все равно что отрезать вожжи у горячей лошади, а между тем поставят фальшивые мачты, из запасного дерева,— и идут. Оторвется ли руль: надежда спастись придает изумительное проворство, и делается фальшивый руль. Оказывается ли сильная пробоина, ее затягивают на первый случай просто парусом — и отверстие «засасывается» холстом и не пропускает воду, а между тем десятки рук изготовляют новые доски, и пробоина заколачивается. Наконец судно отказывается от битвы, идет ко дну: люди бросаются в шлюпку и на этой скорлупке достигают ближайшего берега, иногда за тысячу миль.

В Немецком море, когда шторм утих, мы видели одно такое безнадежное судно. Мы сначала не знали, что подумать о нем. Флага не было: оно не подняло его, когда мы требовали этого, подняв свой. Подойдя ближе, мы не заметили никакого движения на нем. Наконец поехали на шлюпке к нему — на нем ни одного человека: судно было брошено на гибель. Трюм постоянно наполнялся водой, и если б мы остались тут, то, вероятно, к концу дня увидели бы, как оно погрузится на дно. Видите ли, сколько времени нужно и безнадежному судну, чтобы потонуть... к концу дня! А оно уже было лишено своего разума и воли, то есть людей, и, следовательно, перестало бороться. Оно гибло безответно. Носовая его часть опустилась: печальная картина, как картина всякой агонии!

В этот же день, недалеко от этого корабля, мы увидели еще несколько точек вдали и услышали крик. В трубу разглядели лодки; подвигаясь ближе, различили явственнее человеческие голоса. «Рыбаки, должно быть»,— сказал капитан. «Нет,— возразил отец Аввакум,— слышите, вопли! Это, вероятно, погибающие просят о помощи; нельзя ли поворотить?» Капитан был убежден в противном; но, чтоб не брать греха на душу, велел держать на рыбаков. Ему, однако ж, не очень нравилось терять время по-пустому: военным судам разгуливать по морю некогда. «Если это,— ворчал он,— рыбаки кричат, предлагают рыбу... Приготовить брандспойты!» — приказал он вахтенному (брандспойты — пожарные трубы). Матросам велено было набрать воды и держать трубы наготове. Черные точки между тем превратились в лодки. Вот видны и люди, которые, стоя в них, вопят так, что, я думаю, в Голландии слышно. Подходим ближе — люди протягивают к нам руки, умоляя —

купить рыбы. Велено держать вплоть к лодкам. «Брандспойты!» — закричал вахтенный, и рыбакам задан был обильный душ, к несказанному удовольствию наших матросов и рыбаков тоже, потому что и они засмеялись вместе с нами.

Впрочем, напрасно капитан дорожил так временем. Мы рассчитывали 20-го, 21-го октября прийти в Портсмут, а пробыли в Немецком море столько, что имели бы время сворачивать и держать на каждого рыбака, которого только завидим. Задул постоянный противный ветер и десять дней не пускал войти в Английский канал. «Что ж вы делали десять дней?» — спросите вы. Вам трудно представить себе, как можно пробыть десять дней на корабле, когда час езды между Петербургом и Кронштадтом наводит скуку. Да, несколько часов пробыть на море скучно, а несколько недель — ничего, потому что несколько недель есть уже капитал, который можно употребить в дело; тогда как из нескольких часов ничего не сделаешь. Впрочем, у нас были и развлечения: появились касатки, или морские свиньи. Они презабавно прыгали через волны, показывая черные толстые хребты.. По вечерам, наклонясь над бортом, мы любовались сверкающими в пучине фосфорическими искрами мелких животных.

Идучи Балтийским морем, мы обедали почти роскошно. Припасы были свежие, повар отличный. Но лишь только задул противный ветер, стали опасаться, что он задержит нас долго в море, и решили беречь свежие припасы. Опасение это оправдалось вполне. Оставалось миль триста до Портсмута: можно бы промахнуть это пространство в один день, а мы носились по морю десять дней, и все по одной линии. «Где мы?» — спросишь, проснувшись, утром у деда. «В море»,— говорит он сердито. «Я знаю это и без вас,— еще сердитее отвечаете вы,— да на котором месте?» — «Вон, взгляните, разве не видите? все там же, где были и вчера: у Галлоперского маяка».— «А теперь куда идем?» — «Куда и вчера ходили: к Доггерской банке». Банка эта мелка относительно общей глубины моря, но имеет достаточную глубину для больших кораблей. На ней не только безопасно, но даже волнение не так чувствительно. На ней стараются особенно держаться голландские рыбачьи суда. «Ну что, подвигаемся?» — спросите потом вечером у деда, общего оракула. «Как же, отлично: крутой бейдевинд: семь с половиной узлов хода».— «Да подвигаемся ли вперед?» — спрашиваете вы с нетерпением. «Разумеется, вперед: к Галлоперскому маяку,— отвечает дед,— уж, чай, и виден!»

Вследствие этого на столе чаще стала появляться солонина; состаревшиеся от морских треволнений куры, и утки, и поросята, выросшие до степени свиней, поступили в число тонких блюд. Даже пресную воду стали выдавать по порциям: сначала по две, потом по одной кружке в день на человека, только для питья. Умываться предложено было морскою водой, или не умываться,

ad libitum [1]. Скажу вам по секрету, что Фаддеев изловчился как-то обманывать бдительность Терентьева, трюмного унтер-офицера, и из-под носа у него таскал из цистерн каждое утро по кувшину воды мне на умыванье. «Достал,—говорил он радостно каждый раз, вбегая с кувшином в каюту,— на вот, ваше высокоблагородие, мойся скорее, чтоб не застали да не спросили, где взял, а я пока достану тебе полотенце рожу вытереть!» (ей-богу, не лгу!). Это костромское простодушие так нравилось мне, что я Христом-богом просил других не учить Фаддеева, как обращаться со мною. Так удавалось ему дня три, но однажды он воротился с пустым кувшином, ерошил рукой затылок, чесал спину и чему-то хохотал, хотя сквозь смех проглядывала некоторая принужденность. «Э! леший, черт, какую затрещину дал!» — сказал он наконец, гладя то спину, то голову. «Кто, за что?» — «Терентьев, черт этакой! увидал, сволочь! Я зачерпнул воды-то, уж и на трап пошел, а он откуда-то и подвернулся, вырвал кувшин, вылил воду назад да как треснет по затылку, я на трап, а он сзади вдогонку лопарем по спине съездил!» И опять засмеялся. Я уж писал вам, как радовала Фаддеева всякая неудача, приключившаяся кому-нибудь, полученный толчок, даже им самим, как в настоящем случае.

Главный надзор за трюмом поручен был Петру Александровичу Тихменеву, о котором я упомянул выше. Он был добрый и обязательный человек вообще, а если подделаться к нему немножко, тогда нет услуги, которой бы он не оказал. Все знали это и частенько пользовались его добротой. Он, по общему выбору, распоряжался хозяйством кают-компании, и вот тут-то встречалось множество поводов обязать того, другого, вспомнить, что один любит такое-то блюдо, а другой не любит, и т. п. Он часто бывал жертвою своей обязательности, затрудняясь, как угодить вдруг многим, но большею частью выходил из затруднений победителем. А иногда его брал задор: все это подавало постоянный повод к бесчисленным сценам, которые развлекали нас не только между Галлоперским маяком и Доггерской банкой, но и в тропиках, и под экватором, на всех четырех океанах, и развлекают до сих пор. Например, он заметит, что кто-нибудь не ест супу. «Отчего вы не едите супу?» — спросит он. «Так, не хочется»,— отвечают ему. «Нет, вы скажите откровенно»,— настаивает он, мучимый опасением, чтобы не обвинили его в небрежности или неуменье, пуще всего в неуменье исполнять свою обязанность. Он был до крайности щекотлив. «Да, право, я не хочу: так что-то...» — «Нет, верно, нехорош суп: недаром вы не едите. Скажите, пожалуйста!» Наконец тот решается сказать что-нибудь. «Да, что-то сегодня не вкусен суп...» Он не успел еще договорить, как кроткий Петр Александрович свирепеет. «А чем он нехорош, позвольте

[1] по желанию (*лат.*).

спросить? — вдруг спрашивает он в негодовании,— сам покупал провизию, старался угодить — и вот награда! Чем нехорош суп?» — «Нет, я ничего, право...» — начинает тот. «Нет, извольте сказать, чем он нехорош, я требую этого,— продолжает он, окидывая всех взглядом,— двадцать человек обедают, никто ни слова не говорит, вы одни только... Господа! я спрашиваю вас — чем нехорош суп? Я, кажется, прилагаю все старания,— говорит он со слезами в голосе и с пафосом,— общество удостоило меня доверия, надеюсь, никто до сих пор не был против этого, что я блистательно оправдывал это доверие; я дорожу оказанною мне доверенностью...» — и так продолжает, пока дружно не захохочут все и, наконец, он сам. Иногда на другом конце заведут стороной, вполголоса, разговор, что вот зелень не свежа, да и дорога, что кто-нибудь будто был на берегу и видел лучше, дешевле. «Что вы там шепчете, позвольте спросить?» — строго спросит он. «Вам что за дело?»— «Может быть, что-нибудь насчет стола, находите, что это нехорошо, дорого, так снимите с меня эту обязанность: я ценю ваше доверие, но если я мог возбудить подозрения, недостойные вас и меня, то я готов отказаться...» Он даже встанет, положит салфетку, но общий хохот опять усадит его на место.

Избалованный общим вниманием и участием, а может быть и баловень дома, он любил иногда привередничать. Начнет охать, вздыхать, жаловаться на небывалый недуг или утомление от своих обязанностей и требует утешений. «Витул, Витул! — томно кличет он, отходя ко сну, своего вестового.— Я так устал сегодня: раздень меня да уложи». Раздеванье сопровождается вздохами и жалобами, которые слышны всем из-за перегородки. «Завтра на вахту рано вставать,— говорит он, вздыхая,— подложи еще подушку, повыше, да постой, не уходи, я, может быть, что-нибудь вздумаю!»

Вот к нему-то я обратился с просьбою, нельзя ли мне отпускать по кружке пресной воды на умыванье, потому-де, что мыло не распускается в морской воде, что я не моряк, к морскому образу жизни не привык, и, следовательно, на меня, казалось бы, строгость эта распространяться не должна. «Вы знаете,— начал он, взяв меня за руки,— как я вас уважаю и как дорожу вашим расположением: да, вы не сомневаетесь в этом?» — настойчиво допытывался он. «Нет»,— с чувством подтвердил я в надежде, что он станет давать мне пресную воду. «Поверьте,— продолжал он,— что если б я среди моря умирал от жажды, я бы отдал вам последний стакан: вы верите этому?» — «Да...»— уже нерешительно отвечал я, начиная подозревать, что не получу воды. «Верьте этому,— продолжал он,— но мне больно, совестно, я готов — ах, боже мой! зачем это... Вы, может быть, подумаете, что я не желаю, не хочу... (и он пролил поток синонимов). Нет, не не хочу я, а не могу, не приказано. Поверьте, если б я имел малейшую возможность то, конечно, надеюсь,

вы не сомневаетесь...» И повторил свой монолог. «Ну, нечего делать: le devoir avant tout [1],— сказал я,— я не думал, что это так строго». Но ему жаль было отказать совсем. «Вы говорите, что Фаддеев таскал воду тихонько»,— сказал он. «Да».— «Так я его за это на бак отправлю». — «Вам мало кажется, что его Терентьев попотчевал лопарем,— заметил я,— вы еще хотите прибавить? Притом я сказал вам это по доверенности, вы не имеете права...» — «Правда, правда, нет, это я так... Знаете что, — перебил он,— пусть он продолжает потихоньку таскать по кувшину, только, ради бога, не больше кувшина: если его Терентьев и поймает, так что ж ему за важность, что лопарем ударит или затрещину даст: ведь это не всякий день...» — «А если Терентьев скажет вам или вы сами поймаете, тогда...»— «Отправлю на бак!» — со вздохом прибавил Петр Александрович.

Уж я теперь забыл, продолжал ли Фаддеев делать экспедиции в трюм для добывания мне пресной воды, забыл даже, как мы провели остальные пять дней странствования между маяком и банкой; помню только, что однажды, засидевшись долго в каюте, я вышел часов в пять после обеда на палубу — и вдруг близехонько увидел длинный скалистый берег и пустые зеленые равнины.

Я взглядом спросил кого-то: что это? «Англия»,— отвечали мне. Я присоединился к толпе и молча, с другими, стал пристально смотреть на скалы. От берега прямо к нам шла шлюпка; долго кувыркалась она в волнах, наконец пристала к борту. На палубе показался низенький, приземистый человек, в синей куртке, в синих панталонах. Это был лоцман, вызванный для провода фрегата по каналу.

Между двух холмов лепилась куча домов, которые то скрывались, то появлялись из-за бахромы набегавших на берег бурунов: к вершинам холмов прилипло облако тумана. «Что это такое?» — спросил я лоцмана. «Dover» [1],— каркнул он. Я оглянулся налево: там рисовался неясно сизый, неровный и крутой берег Франции. Ночью мы бросили якорь на Спитгедском рейде, между островом Вайтом и крепостными стенами Портсмута.

*Июнь, 1854 года.*
*На шхуне «Восток», в Татарском проливе.*

---

Здесь прилагаю два письма к вам, которые я не послал из Англии в надежде, что со временем успею дополнить их наблюдениями над тем, что видел и слышал в Англии, и привести все в систематический порядок, чтобы представить вам удовле-

[1] долг прежде всего (*франц.*).
[2] Дувр (*англ.*).

творительный результат двухмесячного пребывания нашего в Англии. Теперь вижу, что этого сделать не в состоянии, и потому посылаю эти письма без перемены, как они есть. Удовольствуйтесь беглыми заметками, не о стране, не о силах и богатстве ее; не о жителях, не о их нравах, а о том только, что мелькнуло у меня в глазах. У какого путешественника достало бы смелости чертить образ Англии, Франции, стран, которые мы знаем не меньше, если не больше, своего отечества? Поэтому самому наблюдательному и зоркому путешественнику позволительно только прибавить какую-нибудь мелкую, ускользнувшую от общего изучения черту: прочим же, в том числе и мне, может быть, позволено только разве говорить о своих впечатлениях.

### ПИСЬМО 1-е

*20 ноября / 2 декабря 1852 года.*

Не знаю, получили ли вы мое коротенькое письмо из Дании, где, впрочем, я не был, а писал его во время стоянки на якоре, в Зунде. Тогда я был болен и всячески расстроен: все это должно было отразиться и в письме. Не знаю, смогу ли и теперь сосредоточить в один фокус все, что со мной и около меня делается, так, чтобы это, хотя слабо, отразилось в вашем воображении. Я еще сам не определил смысла многих явлений новой своей жизни. Голых фактов я сообщать не желал бы: ключ к ним не всегда подберешь, и потому поневоле придется освещать их светом воображения, иногда, может быть, фальшивым, и идти путем догадок там, где темно. Теперь еще у меня пока нет ни ключа, ни догадок, ни даже воображения: все это подавлено рядом опытов, более или менее трудных, новых, иногда не совсем занимательных, вероятно потому, что для многих из них нужен запас свежести взгляда и большей впечатлительности: в известные лета жизнь начинает отказывать человеку во многих приманках на том основании, на каком скупая мать отказывает в деньгах выделенному сыну. Так, например, я не постиг уже поэзии моря, может быть, впрочем, и оттого, что я еще не видал ни «безмолвного», ни «лазурного» моря, и, кроме холода, бури и сырости, ничего не знаю. Слушая пока мои жалобы и стоны, вы, пожалуй, спросите, зачем я уехал? Сначала мне, как школьнику, придется сказать «не знаю», а потом, подумав, скажу: «А зачем бы я остался?» Да позвольте: уехал ли я? откуда? из Петербурга? Этак, пожалуй, можно спросить, зачем я на днях уехал из Лондона, а несколько лет тому назад из Москвы, зачем через две недели уеду из Портсмута и т. д.? Разве я не вечный путешественник, как и всякий, у кого нет семьи и постоянного угла, «домашнего очага», как говорили в старых

романах? Тот не уезжает, у кого есть все это. А прочие век свой живут на станциях. Поэтому я только и выехал, а не уехал. Теперь следуют опасности, страхи, заботы, волнения морского плавания: они могли бы остановить. Как будто их нет или меньше на берегу? А отчего же, откуда эти вечные жалобы на жизнь, эти вздохи? Если нет крупных бед или внешних заметных волнений, зато сколько невидимых, но острых игл вонзается в человека среди сложной и шумной жизни в толпе, при ежедневных стычках «с ближним»! Щадит ли жизнь кого-нибудь и где-нибудь? Вот здесь нет сильных нравственных потрясений, глубоких страстей, живых и разнообразных симпатий и ненавистей. Пружины, двигающие этим, ржавеют на море, вместе с железом, сталью и многим другим. Зато тут другие двигатели не дают дремать организму: бури, лишения, опасности, ужас, может быть отчаяние, наконец следует смерть, которая везде следует; здесь только быстрее, нежели где-нибудь. Видите ли: я имел причины ехать или не имел причины оставаться — все равно. Теперь нужно только спросить: к чему же этот ряд новых опытов выпал на долю человека, не имеющего запаса свежести и большей впечатлительности, который не может ни с успехом воспользоваться ими, ни оценить, который даже просто устал выносить их? Вот к этому я не могу прибрать ключа; не знаю, что будет дальше: может быть, он найдется сам собою.

Поэтому я уехал из отечества покойно, без сердечного трепета и с совершенно сухими глазами. Не называйте меня неблагодарным, что я, говоря «о петербургской станции», умолчал о дружбе, которой одной было бы довольно, чтоб удержать человека на месте.

Дружба, как бы она ни была сильна, едва ли удержит кого-нибудь от путешествия. Только любовникам позволительно плакать и рваться от тоски, прощаясь, потому что там другие двигатели: кровь и нервы; оттого боль и в разлуке. Дружба вьет гнездо не в нервах, не в крови, а в голове, в сознании.

Если много явилось и исчезло разных теорий о любви, чувстве, кажется, таком определенном, где форма, содержание и результат так ясны, то воззрений на дружбу было и есть еще больше. В спорах о любви начинают примиряться; о дружбе еще не решили ничего определительного и, кажется, долго не решат, так что до некоторой степени каждому позволительно составить самому себе идею и определение этого чувства. Чаще всего называют дружбу бескорыстным чувством; но настоящее понятие о ней до того затерялось в людском обществе, что такое определение сделалось общим местом, под которым, собственно, не знают, что надо разуметь. Многие постоянно ведут какой-то арифметический счет — вроде приходо-расходной памятной книжки — своим заслугам и заслугам друга; справляются беспрестанно с кодексом дружбы, который устарел гораздо больше Птоломеевой географии и астрономии

или Аристотелевой риторики; всё еще ищут, нет ли чего вроде Пиладова подвига [1], ссылаясь на любовь, имеющую в ежегодных календарях свои статистические таблицы помешательств, отравлений и других несчастных случаев. Когда захотят похвастаться другом, как хвастаются китайским сервизом или дорогою собольей шубой, то говорят: «Это *истинный* друг», даже выставляют цифру XV, XX, XXX-летний друг, и таким образом жалуют другу знак отличия и составляют ему очень аккуратный формуляр. Напротив того, про «неистинного» друга говорят: «Этот приходит только есть да пить, а мы не знаем, каков он на деле». Это у многих называется «бескорыстною» дружбой.

Что это, проклятие дружбы? непонимание или непризнание ее прав и обязанностей? Боже меня сохрани! Я только исключил бы слово «обязанности» из чувства дружбы, да и слово «дружба» — тоже. Первое звучит как-то официально, а второе пошло. Разберите на досуге, отчего смешно не в шутку назвать известные отношения мужчины к женщине *любовью*, а мужчины к мужчине *дружбой*. Порядочные люди прибегают в этих случаях к перифразам. Обветшали эти названия, скажете вы. А чувства не обветшали: отчего же обветшали слова? И что за *дружба* такая, что за *друг*? Точно чин. Плохо, когда друг проводит в путь, встретит или выручит из беды по обязанности, а не по влечению. Не лучше ли, когда порядочные люди называют друг друга просто Семеном Семеновичем или Васильем Васильевичем, не одолжив друг друга ни разу, разве ненарочно, случайно, не ожидая ничего один от другого, живут десятки лет, не неся тяжести уз, которые несет одолженный перед одолжившим, и, наслаждаясь друг другом, если можно, бессознательно, если нельзя, то как можно менее заметно, как наслаждаются прекрасным небом, чудесным климатом в такой стране, где дает это природа без всякой платы, где этого нельзя ни дать нарочно, ни отнять? Мудрено ли, что при таких понятиях я уехал от вас с сухими глазами, чему немало способствовало еще и то, что, уезжая надолго и далеко, покидаешь кучу надоевших до крайности лиц, занятий, стен и едешь, как я ехал, в новые, чудесные миры, в существование которых плохо верится, хотя штурман по пальцам рассчитывает, когда должны прийти в Индию, когда в Китай, и уверяет, что он был везде по три раза.

*Декабрь. Лондон.* Как я обрадовался вашим письмам — и обрадовался бескорыстно! в них нет ни одной новости и не могло быть: в какие-нибудь два месяца не могло ничего случиться; даже никто из знакомых не успел выехать из города или приехать туда. Пожалуйста, не пишите мне, что началась

---

[1] Имеется в виду миф о герое древнегреческих сказаний Пиладе, который готов был умереть за своего друга Ореста, когда того хотели принести в жертву богине Артемиде.

опера, что на сцене появилась новая французская пьеса, что открылось такое-то общественное увеселительное место: мне хочется забыть физиономию петербургского общества. Я уехал отчасти затем, чтобы отделаться от однообразия, а оно будет преследовать меня повсюду. Сам я только что собрался обещать вам — не писать об Англии, а вы требуете, чтоб я писал, сердитесь, что до сих пор не сказал о ней ни слова. Странная претензия! Ужели вам не наскучило слышать и читать, что пишут о Европе и из Европы, особенно о Франции и Англии? Прикажете повторить, что туннель под Темзой очень... не знаю, что сказать о нем: скажу — бесполезен, что церковь св. Павла изящна и громадна, что Лондон многолюден, что королева до сих пор спрашивает позволения лорда-мэра проехать через Сити и т. д. Не надо этого: не правда ли, вы все это знаете? «Пишите, говорите вы, так, как будто мы ничего не знаем». Пожалуй; но ведь это выйдет вот что: «Англия страна дикая, населена варварами, которые питаются полусырым мясом, запивая его спиртом; говорят гортанными звуками; осенью и зимой скитаются по полям и лесам, а летом собираются в кучу; они угрюмы, молчаливы, мало сообщительны. По воскресеньям ничего не делают, не говорят, не смеются, важничают, по утрам сидят в храмах, а вечером по своим углам, одиноко, и напиваются порознь; в будни собираются, говорят длинные речи и напиваются сообща». Это описание достойно времен Кошихинских[1], скажете вы, и будете правы, как и я буду прав, сказав, что об Англии и англичанах мне писать нечего, разве вскользь, говоря о себе, когда придется к слову.

Через день, по приходе в Портсмут, фрегат втянули в гавань и ввели в док, а людей перевели на «Кемпердоун» — старый корабль, стоящий в порте праздно и назначенный для временного помещения команд. Там поселились и мы, то есть туда перевезли наши пожитки, а сами мы разъехались. Я уехал в Лондон, пожил в нем, съездил опять в Портсмут и вот теперь воротился сюда.

Долго не изгладятся из памяти те впечатления, которые кладет на человека новое место. На эти случаи, кажется, есть особые глаза и уши, зорче и острее обыкновенных, или как будто человек не только глазами и ушами, но легкими и порами вбирает в себя впечатления, напитывается ими, как воздухом. От этого до сих пор памятна мне эта тесная кучка красных, желтых и белых домиков, стоящих будто в воде, когда мы «втягивались» в портсмутскую гавань. От этого так глубоко легла в памяти картина разрезанных нивами полей, точно разлинован-

---

[1] То есть времен царствования Алексея Михайловича (середина XVII века), описанных в сочинении «О России в царствование Алексея Михайловича» Г. К. Кошихина (Котошихина) — подьячего Посольского приказа, бежавшего в Швецию.

ных страниц, когда ехал я из Портсмута в Лондон. Жаль только (на этот раз), что везут с неимоверною быстротою: хижины, фермы, города, замки мелькают, как писаные. Погода странная — декабрь, а тепло: вчера была гроза; там вдруг пахнёт холодом, даже послышится запах мороза, а на другой день в пальто нельзя ходить. Дождей вдоволь; но на это никто не обращает ни малейшего внимания, скорее обращают его, когда проглянет солнце. Зелень очень зелена, даже зеленее, говорят, нежели летом; тогда она желтая. Нужды нет, что декабрь, а в полях работают, собирают овощи,— нельзя рассмотреть с дороги — какие. Туманы бывают если не каждый день, то через день непременно; можно бы, пожалуй, нажить сплин; но они не русские, а я не англичанин: что же мне терпеть в чужом пиру похмелье? Довольно и того, что я, по милости их, два раза ходил смотреть Темзу и оба раза видел только непроницаемый пар. Я отчаялся уже и видеть реку, но дохнул ветерок, и Темза явилась во всем своем некрасивом наряде, обстроенная кирпичными неопрятными зданиями, задавленная судами. Зато какая жизнь и деятельность кипит на этой зыбкой улице управляемая Меркуриевым жезлом! [1]

Не забуду также картины пылающего в газовом пламени необъятного города, представляющейся путешественнику, когда он подъезжает к нему вечером. Паровоз вторгается в этот океан блеска и мчит по крышам домов, над изящными пропастями, где, как в калейдоскопе, между расписанных, облитых ярким блеском огня и красок улиц движется муравейник.

Но вот я, наконец, озадаченный впечатлениями и утомленный трехчасовою неподвижностью в вагоне и получасовою ездою в *кебе* по городу, водворен в доме, в квартире.

На другой день, когда я вышел на улицу, я был в большом недоумении: надо было начать путешествовать в чужой стороне, а я еще не решил как. Меня выручила из недоумения процессия похорон Веллингтона. Весь Лондон преисполнен одной мысли; не знаю, был ли он полон того чувства, которое выражалось в газетах. Но decorum [2] печали был соблюден до мелочей. Даже все лавки были заперты. Лондон запер лавки — сомнения нет: он очень печален. Я видел катафалк, блестящую свиту, войска и необозримую, как океан, толпу народа. До пяти или до шести часов я нехотя купался в этой толпе, тщетно стараясь добраться до какого-нибудь берега. Поток увлекал меня из улицы в улицу, с площади на площадь. Никого знакомых со мной не было — не до меня: все заняты похоронами, всех поглотила процессия. Одни нашли где-нибудь окно, другие пробрались в самую церковь св. Павла, где совершалась цере-

---

[1] Меркурий — в древнеримской мифологии бог торговли, покровитель купцов и путешественников, изображался с кошельком и жезлом в руках.

[2] внешняя форма (*лат.*).

мония. Я был один в этом океане и нетерпеливо ждал другого дня, когда Лондон выйдет из ненормального положения и заживет своею обычною жизнью. Многие обрадовались бы видеть такой необыкновенный случай: праздничную сторону народа и столицы, но я ждал не того; я видел это у себя; мне улыбался завтрашний, будничный день. Мне хотелось путешествовать не официально, не приехать и «осматривать», а жить и смотреть на все, не насилуя наблюдательности, не задавая себе утомительных уроков осматривать ежедневно, с *гидом* в руках, по стольку-то улиц, музеев, зданий, церквей. От такого путешествия остается в голове хаос улиц, памятников, да и то ненадолго.

Вообще большая ошибка — стараться собирать впечатления; соберешь чего не надо, а что надо, то ускользнет. Если путешествуешь не для специальной цели, нужно, чтобы впечатления нежданно и незвано сами собирались в душу; а к кому они так не ходят, тот лучше не путешествуй. Оттого я довольно равнодушно пошел вслед за другими в Британский музеум, по сознанию только необходимости видеть это колоссальное собрание редкостей и предметов знания. Мы целое утро осматривали ниневийские древности, этрусские, египетские и другие залы, потом змей, рыб, насекомых, почти все то, что есть и в Петербурге, в Вене, в Мадрите. А между тем времени лишь было столько, чтобы взглянуть на Англию и на англичан. Оттого меня тянуло все на улицу: хотелось побродить не между мумиями, а среди живых людей.

Я с неиспытанным наслаждением вглядывался во все, заходил в магазины, заглядывал в домы, уходил в предместья, на рынки, смотрел на всю толпу и в каждого встречного отдельно. Чем смотреть на сфинксы и обелиски, мне лучше нравится простоять целый час на перекрестке и смотреть, как встретятся два англичанина, сначала попробуют оторвать друг у друга руку, потом осведомятся взаимно о здоровье и пожелают один другому всякого благополучия; смотреть их походку или какую-то иноходь и эту важность до комизма на лице, выражение глубокого уважения к самому себе, некоторого презрения или по крайней мере холодности к другому, но благоговения к толпе, то есть к обществу. С любопытством смотрю, как столкнутся две кухарки с корзинами на плечах, как несется нескончаемая двойная, тройная цепь экипажей, подобно реке, как из нее с неподражаемою ловкостью вывернется один экипаж и сольется с другою нитью, или как вся эта цепь мгновенно онемеет, лишь только полисмен с тротуара поднимет руку.

В тавернах, в театрах — везде пристально смотрю, как и что делают, как веселятся, едят, пьют; слежу за мимикой, ловлю эти неуловимые звуки языка, которым, волей-неволей, должен объясняться с грехом пополам, благословляя судьбу, что когда-то учился ему: иначе хоть не заглядывай в Англию.

Здесь, как о редкости, возвещают крупными буквами на окнах магазинов: «Ici on parle français» [1]. Да, путешествовать с наслаждением и с пользой значит пожить в стране и хоть немного слить свою жизнь с жизнью народа, который хочешь узнать: тут непременно проведешь параллель, которая и есть искомый результат путешествия. Это вглядыванье, вдумыванье в чужую жизнь, в жизнь ли целого народа, или одного человека, отдельно, дает наблюдателю такой общечеловеческий и частный урок, какого ни в книгах, ни в каких школах не отыщешь. Недаром еще у древних необходимым условием усовершенствованного воспитания считалось путешествие. У нас оно сделалось роскошью и забавою. Пожалуй, без приготовления, да еще без воображения, без наблюдательности, без идеи путешествие, конечно, только забава. Но счастлив, кто может и забавляться такою благородною забавой, в которой нехотя чему-нибудь да научишься! Вот Regentstreet, Oxfordstreet, Trafalgarplace [2] — не живые ли это черты чужой физиономии, на которой движется современная жизнь, и не звучит ли в именах память прошедшего, повествуя на каждом шагу, как слагалась эта жизнь? Что в этой жизни схожего и что несхожего с нашей?.. Воля ваша, как кто ни расположен только забавляться, а бродя в чужом городе и народе, не сможет отделаться от этих вопросов и закрыть глаза на то, чего не видал у себя.

Бродя среди живой толпы, отыскивая всюду жизнь, я, между прочим, наткнулся на великолепное прошедшее: на Вестминстерское аббатство, и был счастливее в это утро. Такие народные памятники — те же страницы истории, но тесно связанные с текущею жизнью. Их, конечно, надо учить наизусть, да они сами так властительно ложатся в память. Впрочем, глядя на это аббатство, я даже забыл историю,— оно произвело на меня впечатление чисто эстетическое. Меня поразил готический стиль в этих колоссальных размерах. Я же был во время службы с певчими, при звуках великолепного органа. Фантастическое освещение цветных стекол в стрельчатых окнах, полумрак по углам, белые статуи великих людей в нишах и безмолвная, почти недышащая толпа молящихся — все это образует одно общее, грандиозное впечатление, от которого долго слышится какая-то музыка в нервах.

Благодаря настойчивым указаниям живых и печатных гидов я в первые пять-шесть дней успел осмотреть большую часть официальных зданий, музеев и памятников, и, между прочим, национальную картинную галерею, которая величиною будет с прихожую нашего Эрмитажа. Там сотни три картин, из которых запомнишь разве «Снятие со креста» Рембрандта да два-три пейзажа Клода. Осмотрев тщательно дворцы, парки, скверы,

---

[1] Здесь говорят по-французски (*франц.*).
[2] Реджент-стрит, Оксфорд-стрит, Трафальгарская площадь (англ.).

биржу, заплатив эту дань официальному любопытству, я уже все остальное время жил по-своему. Лондон по преимуществу город поучительный, то есть нигде, я думаю, нет такого множества средств приобрести дешево и незаметно всяких знаний. Бесконечное утро, с девяти часов до шести, промелькнет — не видишь как. На каждом шагу манят отворенные двери зданий, где увидишь что-нибудь любопытное: машину, редкость, услышишь лекцию естественной истории. Есть учреждение, где показывают результаты всех новейших изобретений: действие паров, образчик воздухоплавания, движения разных машин. Есть особое временное здание, в котором помещен громадный глобус. Части света представлены рельефно, не снаружи шара, а внутри. Зрители ходят по лестнице и останавливаются на трех площадках, чтобы осмотреть всю землю. Их сопровождает профессор, который читает беглую лекцию географии, естественной истории и политического разделения земель. Мало того: тут же в зале есть замечательный географический музей, преимущественно Англии и ее колоний. Тут целые страны из гипса, с выпуклыми изображениями гор, морей, и потом все пособия к изучению всеобщей географии: карты, книги, начиная с младенческих времен географии, с аравитян, римлян, греков, карты от Марка Паоло до наших времен. Есть библиографичекие редкости.

Самый Британский музеум, о котором я так неблагосклонно отозвался за то, что он поглотил меня на целое утро в своих громадных сумрачных залах, когда мне хотелось на свет божий, смотреть все живое,— он разве не есть огромная сокровищница, в которой не только ученый, художник, даже просто фланёр, зевака почерпает какое-нибудь знание, уйдет с идеей обогатить память свою не одним фактом? И сколько таких заведений по всем частям, и почти даром! Между прочим, я посвятил с особенным удовольствием целое утро обозрению зоологического сада. Здесь уже я видел не мумии и не чучелы животных, как в музеуме, а живую тварь, собранную со всего мира. Здесь до значительной степени можно наблюдать некоторые стороны жизни животных почти в естественном состоянии. Это постоянная лекция, наглядная, осязательная, в лицах, со всеми подробностями, и отличная прогулка в то же время. Сверх того, всякому посетителю в этой прогулке предоставлено полное право наслаждаться сознанием, что он «царь творения» — и все это за шиллинг.

Наконец, если нечего больше осматривать, осматривайте просто магазины: многие из них тоже своего рода музеи — товаров. Обилие, роскошь, вкус и раскладка товаров поражают до уныния. Богатство подавляет воображение. «Кто и где покупатели?» — спрашиваешь себя, заглядывая и боясь войти в эти мраморные, малахитовые, хрустальные и бронзовые чертоги, перед которыми вся шехеразада покажется детскою сказкой.

Перед четырехаршинными зеркальными стеклами можно стоять по целым часам и вглядываться в эти кучи тканей, драгоценных камней, фарфора, серебра. На большей части товаров выставлены цены; и если увидишь цену, доступную карману, то нет средства не войти и не купить чего-нибудь. Я после каждой прогулки возвращаюсь домой с набитыми всякой всячиной карманами и потом, выкладывая каждую вещь на стол, принужден сознаваться, что вот это вовсе не нужно, это у меня есть и т. д. Купишь книгу, которой не прочтешь, пару пистолетов, без надежды стрелять из них, фарфору, который на море и не нужен, и неудобен в употреблении, сигарочницу, палку с кинжалом и т. п. Но прошу защититься от этого соблазна на каждом шагу при этой дешевизне!

К этому еще прибавьте, что всякую покупку, которую нельзя положить в карман, вам принесут на дом, и почти всегда прежде, нежели вы сами воротитесь. Но при этом не забудьте взять от купца счет с распиской в получении денег, — так мне советовали делать; да и купцы, не дожидаясь требования, сами торопятся дать счет. Случается иногда, без этой предосторожности, заплатить вторично. Я бы, вдобавок к этому, посоветовал еще узнать до покупки цену вещи в двух-трех магазинах, потому что нигде нет такого произвола, какой царствует здесь в назначении цены вещам. Купец назначает, кажется, цену, смотря по физиономии покупателя. В одном магазине женщина спросила с меня за какую-то безделку два шиллинга, а муж пришел и потребовал пять. Узнав, что вещь продана за два шиллинга, он исподтишка шипел на жену все время, пока я был в магазине. В одном магазине за пальто спросят четыре фунта, а рядом, из той же материи — семь.

Лондон — поучительный и занимательный город, повторю я, но занимательный только утром. Вечером он для иностранца — тюрьма, особенно в такой сезон, когда нет спектаклей и других публичных увеселений, то есть осенью и зимой. Пожалуй, кому охота, изучай по вечерам внутреннюю сторону народа — нравы; но для этого надо слиться и с домашнею жизнью англичан, а это нелегко. С шести часов Лондон начинает обедать и обедает до 10, до 11, до 12 часов, смотря по состоянию и образу жизни, потом спит. Словом «обедает» я хотел только обозначить, чем наполняется известный час суток. А, собственно, англичане не обедают, они едят. Кроме торжественных обедов во дворце или у лорда-мэра и других, на сто, двести и более человек, то есть на весь мир, в обыкновенные дни подают на стол две-три перемены, куда входит почти все, что едят люди повсюду. Все мяса, живность, дичь и овощи — всё это без распределений по дням, без соображений о соотношении блюд между собою.

Что касается до национальных английских кушаньев, например пудинга, то я где ни спрашивал, нигде не было

готового: надо было заказывать. Видно, англичане сами довольно равнодушны к этому тяжелому блюду,— я говорю о пломпудинге. Все мяса, рыба отличного качества, и все почти подаются au naturel [1], с приправой только овощей. Тяжеловато, грубовато, а впрочем, очень хорошо и дешево: был бы здоровый желудок; но англичане на это пожаловаться не могут. Еще они могли бы тоже принять в свой язык нашу пословицу: «Не красна изба углами, а красна пирогами», если б у них были пироги, а то нет; пирожное они подают, кажется, в подражание другим: это стереотипный яблочный пирог, да яичница с вареньем и крем без сахара или что-то в этом роде. Да, не красны углами их таверны: голые, под дуб сделанные или дубовые стены и простые столы; но опрятность доведена до роскоши: она превышает необходимость. Особенно в белье; скатерти — ослепительной белизны, а салфетки были бы тоже, если б они были, но их нет, и вам подадут салфетку только по настойчивому требованию — и то не везде. И это может служить доказательством опрятности. «Зачем салфетка? — говорят англичане,— руки вытирать? да они не должны быть выпачканы», так же как и рот, особенно у англичан, которые не носят ни усов, ни бород. Я в разное время, начиная от пяти до восьми часов, обедал в лучших тавернах, и почти никогда менее двухсот человек за столом не было. В одной из них, divantavern, хозяин присутствует постоянно сам среди посетителей, сам следит, все ли удовлетворены, и где заметит отсутствие слуги, является туда или посылает сына. А у него, говорят, прекрасный дом, лучшие экипажи в Лондоне, может быть — всё от этого. Пример не для одних трактирщиков!

Итак, из храма в храм, из музея в музей — время проходило неприметно. И везде, во всех этих учреждениях, волнуется толпа зрителей; подумаешь, что англичанам нечего больше делать, как ходить и смотреть достопримечательности. Они в этом отношении и у себя дома похожи на иностранцев, а иностранцы смотрят хозяевами. Такой пристальной внимательности, почти до страдания, нигде не встретишь. В других местах достало бы не меньше средств завести все это, да везде ли придут зрители и слушатели толпами поддержать мысль учредителя? Но если много зрителей умных и любознательных, то и нет нигде столько простых зевак, как в Англии. О какой глупости ни объявите, какую цену ни запросите, посетители явятся, и, по обыкновению, толпой. Мне казалось, что любопытство у них не рождается от досуга, как, например, у нас; оно не есть тоже живая черта характера, как у французов, не выражает жажды знания, а просто — холодное сознание, что то или другое полезно, а потому и должно быть осмотрено. Не видать, чтоб они наслаждались тем, что пришли смотреть; они

---

[1] куском (*франц.*).

осматривают, как будто принимают движимое имущество по описи: взглянут, там ли повешено, такой ли величины, как напечатано или сказано им, и идут дальше.

Я имел терпение осмотреть волей-неволей и все фокусы, например: высиживание цыплят пара́ми, неотпираемые американские замки и т. п. Глядя, как англичане возятся с своим умершим дюком вот уж третью неделю, кажется, что они высидели и эту редкость. Он уж похоронен, а они до сих пор ходят осматривать — что вы думаете? мостки, построенные в церкви св. Павла по случаю похорон! От этого я до сих пор еще не мог заглянуть внутрь церкви: я не англичанин и не хочу смотреть мостков. До сих пор нельзя сделать шагу, чтоб не наткнуться на дюка, то есть на портрет его, на бюст, на гравюру погребальной колесницы. Вчера появилась панорама Ватерлоо: я думаю, снимут панораму и с мостков. «Не на похороны ли дюка приехали вы?» — спросил меня один купец в лавке, узнав во мне иностранца. «Yes, o yes!» [1] — сказал я. Я в памяти своей никак не мог сжать в один узел всех заслуг покойного дюка, оттого (к стыду моему) был холоден к его кончине, даже еще (прости мне, господи!) подосадовал на него, что он помешал мне торжественным шествием по улицам, а пуще всего мостками, осмотреть, что хотелось. Не подумайте, чтобы я порицал уважение к бесчисленным заслугам британского Агамемнона — о нет! я сам купил у мальчишки медальон героя из какой-то композиции. Думая дать форпенс, я ошибкой вынул из кошелька оставшийся там гривенник или пятиалтынный. Мальчишка догнал меня и, тыча монетой мне в спину, как зарезанный кричал: «No use, no use!» (не ходит).

Глядя на все фокусы и мелочи английской изобретательности, отец Аввакум, живший в Китае, сравнил англичан с китайцами по мелочной, микроскопической деятельности, по стремлению к торгашеству и по некоторым другим причинам. Американский замок, о котором я упомянул, — это такой замок, который так запирается, что и сам хозяин подчас не отопрет. Прежде был принят в здешних государственных кассах, между прочим в банке, какой-то, тоже неотпираемый замок; по крайней мере он долго слыл таким. Но явился американец, вызвался отпереть его — и действительно отпер. Потом он предложил изобретенный им замок и назначил премию, если отопрут. Замок был отдан экспертам, трем самым ловким мошенникам, приглашенным для этого из портсмутской тюрьмы. Знаменитые отпиратели всяких дверей и сундуков, снабженные всеми нужными инструментами, пробились трое суток, ничего не сделали и объявили замок — неотпираемым. Вследствие этого он принят теперь в казенных местах вместо прежнего. Весь секрет, сколько я мог понять из объяснений содержателя магазина, где продаются

---

[1] Да, о да! *(англ.)*

эти замки, заключается в бородке ключа, в которую каждый раз, когда надо запереть ящик или дверь, может быть вставляемо произвольное число пластинок. Нельзя отпереть замка иначе, как зная, сколько именно вставлено пластинок и каким образом они расположены; а пластинок много. Есть замки и для колоссальных дверей и для маленьких шкатулок, ценой от 10 ф. стерлингов до 10 шиллингов. Хитро, не правда ли?

Между тем общее впечатление, какое производит наружный вид Лондона, с циркуляциею народонаселения, странно: там до двух миллионов жителей, центр всемирной торговли, а чего бы вы думали не заметно? — жизни, то есть ее бурного брожения. Торговля видна, а жизни нет: или вы должны заключить, что здесь торговля есть жизнь, как оно и есть в самом деле. Последняя не бросается здесь в глаза. Только по итогам сделаешь вывод, что Лондон первая столица в мире, когда сочтешь, сколько громадных капиталов обращается в день или год, какой страшный совершается прилив и отлив иностранцев в этом океане народонаселения, как здесь сходятся покрывающие всю Англию железные дороги, как по улицам из конца в конец города снуют десятки тысяч экипажей. Ахнешь от изумления, но не заметишь всего этого глазами. Такая господствует относительно тишина, так все физиологические отправления общественной массы совершаются стройно, чинно. Кроме неизбежного шума от лошадей и колес, другого почти не услышишь. Город, как живое существо, кажется, сдерживает свое дыхание и биение пульса. Нет ни напрасного крика, ни лишнего движения, а уж о пении, о прыжке, о шалости и между детьми мало слышно. Кажется, все рассчитано, взвешено и оценено, как будто и с голоса и с мимики берут тоже пошлину, как с окон, с колесных шин. Экипажи мчатся во всю прыть, но кучера не кричат, да и прохожий никогда не зазевается. Пешеходы не толкаются, в народе не видать ни ссор, ни драк, ни пьяных на улице, между тем почти каждый англичанин напивается за обедом. Все спешат, бегут: беззаботных и ленивых фигур, кроме моей, нет.

Дурно одетых людей — тоже не видать: они, должно быть, как тараканы, прячутся где-нибудь в щелях отдаленных кварталов: бо́льшая часть одеты со вкусом и нарядно; остальные чисто, все причесаны, приглажены и особенно обриты. Наш друг Языков непременно сказал бы: здесь каждый — *Бритт*. Я бреюсь через день, и оттого слуги в тавернах не прежде начинают уважать меня, как когда, после обеда, дам им шиллинг. Вы, Николай Аполлонович, с своею инвалидною бородой были бы здесь невозможны: вам, как только бы вы вышли на улицу, непременно подадут милостыню. Улицы похожи на великолепные гостиные, наполненные одними господами. Так называемого простого или, еще хуже, «черного» народа не видать, потому что он здесь — не черный: мужик в плисовой куртке и панталонах,

в белой рубашке вовсе не покажется мужиком. Даже иная рабочая лошадь так тихо и важно выступает, как барин.

Известно, как англичане уважают общественные приличия. Это уважение к общему спокойствию, безопасности, устранение всех неприятностей и неудобств — простираются даже до некоторой скуки. Едешь в вагоне, народу битком набито, а тишина, как будто «в гробе тьмы людей», по выражению Пушкина. Англичане учтивы до чувства гуманности, то есть учтивы настолько, насколько в этом действительно настоит надобность, но не суетливы и особенно не нахальны, как французы. Они ответят на дельный вопрос, сообщат вам сведение, в котором нуждаетесь, укажут дорогу и т. п., но не будут довольны, если вы к ним обратитесь просто так, поговорить. Они принимают в соображение, что если одним скучно сидеть молча, то другие, напротив, любят это. Я не видал, чтобы в вагоне, на пароходе один взял, даже попросил у другого праздно лежащую около газету, дотронулся бы до чужого зонтика, трости. Все эти фамильярности с незнакомыми нетерпимы. Зато никто не запоет, не засвистит около вас, не положит ногу на вашу скамью или стул. Есть тут своя хорошая и дурная сторона, но, кажется, больше хорошей. Французы и здесь выказывают неприятные черты своего характера: они нахальны и грубоваты. Слуга француз протянет руку за шиллингом, едва скажет merci [1] и тут же не поднимет уроненного платка, не подаст пальто. Англичанин все это сделает.

Время между тем близится к отъезду. На фрегате работы приходят к окончанию: того и гляди, назначат день. А как еще хочется посмотреть и погулять в этой разумной толпе, чтоб потом перейти к невозделанной природе и к таким же невозделанным ее детям! Про природу Англии я ничего не говорю: какая там природа! ее нет, она возделана до того, что все растет и живет по программе. Люди овладели ею и сглаживают ее вольные следы. Поля здесь расписные паркеты. С деревьями, с травой сделано то же, что с лошадьми и с быками. Траве дается вид, цвет и мягкость бархата. В поле не найдешь праздного клочка земли; в парке нет самородного куста. И животные испытывают ту же участь. Все породисто здесь: овцы, лошади, быки, собаки, как мужчины и женщины. Все крупно, красиво, бодро; в животных стремление к исполнению своего назначения простерто, кажется, до разумного сознания, а в людях, напротив, низведено до степени животного инстинкта. Животным так внушают правила поведения, что бык как будто бы понимает, зачем он жиреет, а человек, напротив, старается забывать, зачем он круглый божий день, и год, и всю жизнь только и делает, что подкладывает в печь уголь или открывает и закрывает какой-то клапан. В человеке подавляется его уклонение

---

[1] спасибо *(франц.)*.

от прямой цели; от этого, может быть, так много встречается людей, которые с первого взгляда покажутся ограниченными, а они только специальные. И в этой специальности — причина успехов на всех путях. Здесь кузнец не займется слесарным делом, оттого он первый кузнец в мире. И все так. Механик, инженер не побоится упрека в незнании политической экономии: он никогда не прочел ни одной книги по этой части; не заговаривайте с ним и о естественных науках, ни о чем, кроме инженерной части, — он покажется так жалко ограничен... а между тем под этою ограниченностью кроется иногда огромный талант и всегда сильный ум, но ум, весь ушедший в механику. Скучно покажется «универсально» образованному человеку разговаривать с ним в гостиной; но, имея завод, пожелаешь выписать к себе его самого или его произведение.

Все бы это было очень хорошо, то есть эта практичность, но, к сожалению, тут есть своя неприятная сторона: не только общественная деятельность, но и вся жизнь всех и каждого сложилась и действует очень практически, как машина. Незаметно, чтоб общественные и частные добродетели свободно истекали из светлого человеческого начала, безусловную прелесть которого общество должно чувствовать непрестанно и непрестанно чувствовать тоже и потребность наслаждаться им. Здесь, напротив, видно, что это все есть потому, что оно нужно зачем-то, для какой-то цели. Кажется, честность, справедливость, сострадание добываются как каменный уголь, так что в статистических таблицах можно, рядом с итогом стальных вещей, бумажных тканей, показывать, что вот таким-то законом, для той провинции или колонии, добыто столько-то правосудия, или для такого дела подбавлено в общественную массу материала для выработки тишины, смягчения нравов и т. п. Эти добродетели приложены там, где их нужно, и вертятся, как колеса, оттого они лишены теплоты и прелести. На лицах, на движениях, поступках резко написано практическое сознание о добре и зле, как неизбежная обязанность, а не как жизнь, наслаждение, прелесть. Добродетель лишена своих лучей; она принадлежит обществу, нации, а не человеку, не сердцу. Оттого, правда, вся машина общественной деятельности движется непогрешительно, на это употреблено тьма чести, правосудия; везде строгость права, закон, везде ограда им. Общество благоденствует: независимость и собственность его неприкосновенны. Но зато есть щели, куда не всегда протеснится сила закона, где бессильно и общественное мнение, где люди находят способ обойтись без этих важных посредников и ведаются сами собой: вот там-то машина общего движения оказывается неприложимою к мелким, индивидуальным размерам, и колеса ее вертятся на воздухе. Вся английская торговля прочна, кредит непоколебим, а между тем покупателю в каждой лавке надо брать расписку в получении денег. Законы против воров многи и строги,

а Лондон считается, между прочим, образцовою школою мошенничества, и воров числится там несколько десятков тысяч; даже ими, как товарами, снабжается континент, и искусство запирать замки спорит с искусством отпирать их. Прибавьте, что нигде нет такого количества контрабандистов. Везде рогатки, машинки для проверки совестей, как сказано выше: вот какие двигатели поддерживают добродетель в обществе, а кассы в банках и купеческих конторах делаются частенько добычей воров. Филантропия возведена в степень общественной обязанности, а от бедности гибнут не только отдельные лица, семейства, но целые страны под английским управлением. Между тем этот нравственный народ по воскресеньям ест черствый хлеб, не позволяет вам в вашей комнате заиграть на фортепиано или засвистать на улице. Призадумаешься над репутацией умного, делового, религиозного, нравственного и свободного народа!

Но, может быть, это все равно для блага целого человечества: любить добро за его безусловное изящество и быть честным, добрым и справедливым — даром, без всякой цели, и не уметь нигде и никогда не быть таким или быть добродетельным по машине, по таблицам, по востребованию? Казалось бы, все равно, но отчего же это противно? Не все ли равно, что статую изваял Фидий, Канова или машина? — можно бы спросить...

Вы можете упрекнуть меня, что, говоря обо всем, что я видел в Англии, от дюка Веллингтона до высиживаемых пара́ми цыплят, я ничего не сказал о женщинах. Но говорить о них поверхностно — не хочется, а наблюсти их глубже и пристальнее — не было времени. И где было наблюдать их? Я не успел познакомиться с семейными домами и потому видал женщин в церквах, в магазинах, в ложах, в экипажах, в вагонах, на улицах. От этого могу сказать только — и то для того, чтоб избежать предполагаемого упрека,— что они прекрасны, стройны, с удивительным цветом лица, несмотря на то, что едят много мяса, пряностей и пьют крепкие вина. Едва ли в другом народе разлито столько красоты в массе, как в Англии. Не судите о красоте англичан и англичанок по этим рыжим господам и госпожам, которые дезертируют из Англии под именем шкиперов, машинистов, учителей и гувернанток, особенно гувернанток: это оборыши; красивой женщине незачем бежать из Англии: красота — капитал. Ей очень практически сделают верную оценку и найдут надлежащее приспособление. Женщина же урод не имеет никакой цены, если только за ней нет какого-нибудь особенного таланта, который нужен и в Англии. Одно преподавание языка или хождение за ребенком там не важность: остается уехать в Россию. Англичанки большею частью высоки ростом, стройны, но немного горды и спокойны,— по словам многих, даже холодны. Цвет глаз и волос до бесконечности разнообразен: есть совершенные брюнетки, то есть с черными,

как смоль, волосами и глазами, и в то же время с необыкновенною белизной и ярким румянцем; потом следуют каштановые волосы, и все-таки белое лицо, и, наконец, те нежные лица — фарфоровой белизны, с тонкою прозрачною кожею, с легким розовым румянцем, окаймленные льняными кудрями, нежные и хрупкие создания с лебединою шеей, с неуловимою грацией в позе и движениях, с горделивою стыдливостью в прозрачных и чистых, как стекло, и лучистых глазах. Надо сказать, что и мужчины достойны этих леди по красоте: я уже сказал, что всё, начиная с человека, породисто и красиво в Англии. Мужчины подходят почти под те же разряды, по цвету волос и лица, как женщины. Они отличаются тем же ростом, наружным спокойствием, гордостью, важностью в осанке, твердостью в поступи.

Кажется, женщины в Англии — единственный предмет, который пощадило практическое направление. Они властвуют здесь и, если и бывают предметом спекуляций, как, например, мистрис Домби [1], то не более, как в других местах. Перед ними курится постоянный фимиам на домашнем алтаре, у которого англичанин, избегав утром город, переделав все дела, складывает, с макинтошем и зонтиком, и свою практичность. Там гаснет огонь машины и зажигается другой, огонь очага или камина; там англичанин перестает быть администратором, купцом, дипломатом и делается человеком, другом, любовником, нежным, откровенным, доверчивым, и как ревниво охраняет он свой алтарь! Этого я не видал: я не проникал в семейства и знаю только понаслышке и по весьма немногим признакам, между прочим по тому, что англичанин, когда хочет познакомиться с вами покороче, оказать особенное внимание, зовет вас к себе, в свое святилище, обедать: больше уж он сделать не в состоянии.

Гоголь отчасти испортил мне впечатление, которое производят англичанки: после всякой хорошенькой англичанки мне мерещится капитан Копейкин. В театрах видел я благородных леди: хороши, но чересчур чопорно одеты для маленького, дрянного театра, в котором показывали диораму восхождения на Монблан: все — декольте, в белых мантильях, с цветами на голове, отчего немного походят на наших цыганок, когда последние являются на балюстраду петь. Живя путешественником в отелях, я мало имел случаев вблизи наблюдать женщин, кроме хозяек в трактирах, торгующих в магазинах и т. п. Вот две служанки суетятся и бегают около меня, как две почтовые лошади, и убийственно, как сороки, на каждое мое слово твердят: «Yes, sir, no, sir» [2]. Они в ссоре за какие-то пять шиллингов и так поглощены ею, что, о чем ни спросишь, они сейчас переходят к жалобам одна на другую. Еще

---

[1] Речь идет о романе Ч. Диккенса «Домби и сын» (1848).
[2] Да, сэр, нет, сэр *(англ.)*.

оставалось бы сказать что-нибудь о тех леди и мисс, которые, поравнявшись с вами на улице, дарят улыбкой или выразительным взглядом, да о портсмутских дамах, продающих всякую всячину; но и те и другие такие же, как у нас. О последних можно разве сказать, что они отличаются такою рельефностью бюстов, что путешественника поражает это излишество в них столько же, сколько недостаток, в этом отношении, у молодых девушек. Не знаю, поражает ли это самих англичан.

Говорят, англичанки еще отличаются величиной своих ног: не знаю, правда ли? Мне кажется, тут есть отчасти и предубеждение, и именно оттого, что никакие другие женщины не выставляют так своих ног напоказ, как англичанки: переходя через улицу, в грязь, они так высоко поднимают юбки, что... дают полную возможность рассматривать ноги.

*31 декабря 1852 г.* Вам, я думаю, наскучило получать от меня письма всё из одного места. Что делать! Видно, мне на роду написано быть самому ленивым и заражать ленью все, что приходит в соприкосновение со мною. Лень разлита, кажется, в атмосфере, и события приостанавливаются над моею головой. Помните, как лениво уезжал я из Петербурга, и только с четвертою попыткой удалось мне «отвалить» из отечества. Вот и теперь лениво выезжаем из Англии. Мы уж «вытянулись» на рейд: подуй N или NO, и в полчаса мы поднимаем крылья и вступим в океан, да он не готов, видно, принять нас; он как будто углаживает нам путь вѐстовыми ветрами. Я даже не могу сказать, что мы в Англии, мы просто на фрегате; нас пятьсот человек: это уголок России. Берег верстах в трех; впереди ныряет в волнах низенькая портсмутская стена, сбоку у ней тянется песча̀ная мель, сзади нас зеленеет Вайт, а затем все море, с сотней разбросанных по неизмеримому рейду кораблей, ожидающих, как и мы, попутного ветра. У нас об Англии помину нет; мы распрощались с ней, кончили все дела, а ездить гулять мешает ветер. Третьего дня отправились две шлюпки и остались в порте — так задуло. Изредка только английская верейка, как коза, проскачет по валам к Вайту или от Вайта в Портсмут.

24-го, в сочельник, съехал я на берег утром: было сносно; но когда поехал оттуда... ах, какой вечер! как надолго останется он в памяти! Сделав некоторые покупки, я в пристани Albertpier взял английскую шлюпку и отправился назад *домой*. Пока ехали в гавани, за стенами казалось покойно, но лишь выехали на простор, там дуло свирепо, да к этому холод, темнота и яростный шум бурунов, разбивающихся о крепостную стену. Гребцы мои, англичане, не знали, где поместился наш фрегат. «Вечером два огня будут на гафеле», — сказали мне на фрегате, когда я ехал утром. Я смотрю вдаль, где чуть-чуть видно мелькают силуэты судов, и вижу миллионы огней в разных местах. Я придерживал одной рукой шляпу, чтоб ее не

сдуло в море, а другую прятал — то за пазуху, то в карманы от холода. Гребцы бросили весла и, поставив парус, сами сели на дно шлюпки и вполголоса бормотали промеж себя. Шлюпку нашу подбрасывало вверх и вниз, валы периодически врывались верхушкой к нам и обливали спину. Небо заволокло тучами, а ехать три версты. Подъехали к одной группе судов: «Russian frigate?» [1] — спрашивают мои гребцы. «No» [2],— пронзительно доносится до нас по ветру. Дальше, к другому: «Nein» [3],— отвечают нам. Надо было лечь на другой галс и плыть еще версты полторы вдоль рейда. Вот тут я вспомнил все проведенные с вами двадцать четвертые декабря; живо себе воображал, что у вас в зале и светло и тепло и что я бы теперь сидел там с тем, с другим, с той, другой... «А вот что около меня!» — добавил я, боязливо и вопросительно поглядывая то на валы, которые поднимались около моих плеч и локтей и выше головы, то вдаль, стараясь угадать, приветнее ли и светлее ли других огней блеснут два фонаря на русском фрегате? Наконец добрался и застал всенощную накануне рождества. Этот маленький эпизод напомнил мне, что пройден только вершок необъятного, ожидающего впереди пространства; что этот эпизод есть обыкновенное явление в этой жизни; что в три года может случиться много такого, что не выживешь в шестьдесят лет жизни, особенно нашей русской жизни!

Каким испытаниям подвергается избалованная нервозность вечного горожанина здесь, в борьбе со всем окружающим! Все противоположно прежнему: воздух вместо толстых стен, пропасть вместо фундамента, свод из сети снастей, качающийся стол, который отходит от руки, когда пишешь, или рука отходит от стола, тарелка ото рта. «Не шуми, сиди смирно!»— беспрестанно раздается в обыкновенном порядке береговой жизни. «Шуми, стучи и двигайся!» — твердят здесь на каждом шагу. Вместо удобств и комфорта приучают к неудобствам. На днях капитан ходит взад и вперед по палубе в одном сюртуке, а у самого от холода нижняя челюсть тоже ходит взад и вперед. «Зачем, мол, вы не наденете пальто?» — «Для примера команде»,— говорит. И многое, что сочтешь там, на берегу, сидя на диване, в теплой комнате, отступлением от разума, — здесь истина. И вы видите, что эти уклонения здесь оправдываются, а ваши абсолютные истины нет. Вам неловко, потому что нельзя же заставить себя верить в уклонения или в местную истину, хотя она и оправдывается необходимостью. Забудьте отчасти ваше воспитание, выработанность и изнеженность, когда вы на море. Но ничего: ко всему можно притерпеться, привыкнуть, даже не простуживаться. У меня вот и висок перестал болеть. Даже не скоро потом отделаюсь я от привычек, которые наложит

---

[1] Русский фрегат? *(англ.)*
[2] Нет *(англ.)*.
[3] Нет *(немецк.)*.

на меня морской быт, по возвращении на берег. Мне будет казаться, что мебель надо «принайтовить», окна не закрыть ставнями, а «задраить», при свежем ветре буду ждать, что «засвистят всех наверх рифы брать».

Сколько благ сулил я себе в вояже, и сколько уж их не осуществилось! Вот я думал бежать от русской зимы и прожить два лета, а приходится, кажется, испытать четыре осени: русскую, которую уже пережил, английскую переживаю, в тропики придем в тамошнюю осень. А бестолочь какая: празднуешь два рождества, русское и английское, два Новые года, два крещенья. В английское рождество была крайняя нужда в работе — своих рук недоставало: англичане и слышать не хотят о работе в праздник. В наше рождество англичане пришли, да совестно было заставлять работать своих.

Сказал бы вам что-нибудь о своих товарищах, но о некоторых я говорил, о других буду говорить впоследствии. В последнее время я жил близко, в одной огромной каюте английского корабля, пока наш фрегат был в доке, с четырьмя товарищами. Один — невозмутимо покоен в душе и со всеми всегда одинаков; ни во что не мешается, ни весел, ни печален; ни от чего ему ни больно, ни холодно; на все согласен, что предложат другие; со всеми ласков до дружества, хотя нет у него друзей, но и врагов нет. Куда его ни повези, ему все равно: он всем доволен, ни на что не жалуется. Всякую новость узнает днем позже других: кажется, для него выдумали слово «покладнóй». Другой, с которым я чаще всего беседую, очень милый товарищ, тоже всегда ровный, никогда не выходящий из себя человек; но его не так легко удовлетворить, как первого. Он любит комфорт и без него несколько страдает, хотя и старается приспособиться к не свойственной ему сфере. Он светский человек, а такие люди всегда мне нравились. Светское воспитание, если оно в самом деле светское, а не претензия только на него, не так поверхностно, как обыкновенно думают. Не мешая ни глубокому образованию, даже учености, ни какому специальному направлению, оно выработывает много хороших сторон, не дает глохнуть порядочным качествам, образует весь характер и, между прочим, учит скрывать не одни свои недостатки, но и достоинства, что гораздо труднее. То, что иногда кажется врожденною скромностью, отсутствием страсти — есть только воспитание. Светский человек умеет поставить себя в такое отношение с вами, как будто забывает о себе и делает все для вас, всем жертвует вам, не делая в самом деле и не жертвуя ничего, напротив, еще курит ваши же сигары, как барон мои. Все это, кажется, пустяки, а между тем это придает обществу чрезвычайно много, по крайней мере наружного, гуманитета.

Мы мирно жили еще с неделю, по возвращении из Лондона в Портсмут, на «Кемпердоуне», большим обществом. Все размещены были очень удобно по многочисленным каютам стопушеч-

ного старого английского корабля. Утром мы все четверо просыпались в одно мгновение, ровно в восемь часов, от пушечного выстрела с «Экселента», другого английского корабля, стоявшего на мертвых якорях, то есть неподвижно, в нескольких саженях от нас. После завтрака, состоявшего из горы мяса, картофеля и овощей, то есть тяжелого обеда, все расходились: офицеры в адмиралтейство, на фрегат к работам, мы, не офицеры, или занимались дома, или шли за покупками, гулять, кто в Портсмут, кто в Портси, кто в Саутси или в Госпорт — это названия четырех городов, связанных вместе и составляющих Портсмут. Все они имеют свой характер. Портси и Портсмут — торговые части, наполненные магазинами, складочными амбарами, с таможней. Тут же помещается адмиралтейство, тут и приют моряков всех наций. Саутси — чистый квартал, где главные церкви и большие домы; там помещаются и власти. Эти кварталы отделяются между собою стеной. Госпорт лежит на другой стороне гавани и сообщается с прочими тремя кварталами посредством парового парома, который беспрестанно по веревке ходит взад и вперед и за грош перевозит публику. Кроме того, есть бесчисленное множество яликов. В Госпорте тоже есть магазины, но уже второстепенные, фруктовые лавки, очень хорошая гостиница Indiaarms [1], где мы приставали, и станция лондонской железной дороги. Впрочем, все эти города можно обойти часа в два. Госпорт состоит из одной улицы и нескольких переулков. Саутси — из одной площади, вала и крепостной стены. Только Портсмут и Портси, связанные вместе, имеют несколько улиц. Домы, магазины, торговля, народ— всё как в Лондоне, в меньших и не столь богатых размерах; но все-таки относительно богато, чисто и красиво. Море, матросы, корабли и адмиралтейство сообщают городу свой особый отпечаток, такой же, как у нас в Кронштадте, только побольше, полюднее.

Потом часам к шести сходились обедать во второй раз, так что отец Аввакум недоумевал, после которого обеда надо было лечь «отдохнуть».

В прогулках своих я пробовал было брать с собою Фаддеева, чтоб отнести покупки домой, но раскаялся. Он никому спуску не давал, не уступал дороги. Если толкнут его, он не преминет ответить кулаком, или задирал ребятишек. Он внес на чужие берега свой костромской элемент и не разбавил его ни каплей чужого. На всякий обычай, непохожий на свой, на учреждение он смотрел как на ошибку, с большим недоброжелательством и даже с презрением. «Сволочь эти *асеи*!» (так называют матросы англичан от употребляемого беспрестанно в английской речи — *I say* (*я говорю, послушай*). Как он глумился, увидев на часах шотландских солдат, одетых в яркий, блестя-

---

[1] Вооруженных сил в Индии *(англ.)*.

щий костюм, то есть в юбку из клетчатой шотландской материи, но без панталон и потому с голыми коленками! «Королева рассердилась: штанов не дала»,— говорил он с хохотом, указывая на голые ноги солдата. Только в пользу одной шерстяной материи, называемой «английской кожей» и употребляемой простым народом на платье, он сделал исключение, и то потому, что панталоны из нее стоили всего два шиллинга. Он просил меня купить этой кожи себе и товарищам, по поручению, и сам отправился со мной. Но боже мой! каким презрением обдал он английского купца, нужды нет, что тот смотрел совершенным джентльменом! Какое счастие, что они не понимали друг друга! Но по одному лицу, по голосу Фаддеева можно было догадываться, что он третирует купца en canaille [1], как какого-нибудь продавца баранок в Чухломе. «Врешь, не то показываешь,— говорил он, швыряя штуку материи.— Скажи ему, ваше высокоблагородие, чтобы дал той самой, которой отрезал Терентьеву да Кузьмину». Купец подавал другой кусок. «Не то, сволочь, говорят тебе!» И все в этом роде.

Однажды в Портсмуте он прибежал ко мне, сияя от радости и сдерживая смех. «Чему ты радуешься?» — спросил я. «Мотыгин... Мотыгин...» — твердил он, смеясь. (Мотыгин — это друг его, худощавый, рябой матрос.) «Ну, что ж Мотыгин?»— «С берега воротился...» — «Ну?» — «Позови его, ваше высокоблагородие, да спроси, что он делал на берегу?» Но я забыл об этом и вечером встретил Мотыгина с синим пятном около глаз. «Что с тобой? отчего пятно?» — спросил я. Матросы захохотали; пуще всех радовался Фаддеев. Наконец объяснилось, что Мотыгин вздумал «поиграть» с портсмутской леди, продающей рыбу. Это все равно, что поиграть с волчицей в лесу: она отвечала градом кулачных ударов, из которых один попал в глаз. Но и матрос в своем роде тоже не овца: оттого эта волчья ласка была для Мотыгина не больше, как сарказм какой-нибудь барыни на неуместную любезность франта. Но Фаддеев утешается этим еще до сих пор, хотя синее пятно на глазу Мотыгина уже пожелтело.

Наконец нам объявили, чтоб мы перебирались на фрегат. Поднялась суматоха: баркас, катера с утра до вечера перевозили с берега разного рода запасы; люди перетаскивали все наше имущество на фрегат, который подвели вплоть к «Кемпердоуну». Среди этой давки, шума, суеты вдруг протискался сквозь толпу к капитану П. А. Тихменев, наш застольный хозяин. «Иван Семенович, ради бога,— поспешно говорил он,— позвольте шлюпку, теперь же, сию минуту...» — «Зачем, куда? шлюпки все заняты,— вы видите. Последняя идет за углем. Зачем вам?» — «Курица выскочила, когда переносили курятник, и уплыла. Вон она-с, вон как бьется: ради бога, пожалуйте

[1] как мошенника *(франц.)*.

шлюпку; сейчас утонет. Извольте войти в мое положение: офицеры удостоили меня доверенности, и я оправдывал...» Капитан рассмеялся и дал ему шлюпку. Курица была поймана и возвращена на свое место. Вскоре мы вытянулись на рейд, стоим здесь и ждем погоды.

Каждый день прощаюсь я с здешними берегами, поверяю свои впечатления, как скупой поверяет втихомолку каждый спрятанный грош. Дешевы мои наблюдения, немного выношу я отсюда, может быть отчасти и потому, что ехал не сюда, что тороплюсь все дальше. Я даже боюсь слишком вглядываться, чтоб не осталось сору в памяти. Я охотно расстаюсь с этим всемирным рынком и с картиной суеты и движения, с колоритом дыма, угля, пара и копоти. Боюсь, что образ современного англичанина долго будет мешать другим образам... Сбуду скорее черты этого образа вам и постараюсь забыть.

Замечу, между прочим, что все здесь стремится к тому, чтоб устроить образ жизни как можно проще, удобнее и комфортабельнее. Сколько выдумок для этого, сколько потрачено гения изобретательности на машинки, пружинки, таблицы и другие остроумные способы, чтоб человеку было просто и хорошо жить! Если обстановить этими выдумками, машинками, пружинками и таблицами жизнь человека, то можно в pendant [1] к вопросу о том, «достовернее ли стала история с тех пор, как размножились ее источники» — поставить вопрос: «удобнее ли стало жить на свете с тех пор, как размножились удобства?»

Новейший англичанин не должен просыпаться сам; еще хуже, если его будит слуга: это варварство, отсталость, и притом слуги дороги в Лондоне. Он просыпается по будильнику. Умывшись посредством машинки и надев вымытое паром белье, он садится к столу, кладет ноги в назначенный для того ящик, обитый мехом, и готовит себе, с помощию пара же, в три секунды бифштекс или котлету и запивает чаем, потом принимается за газету. Это тоже удобство — одолеть лист «Times» или «Herald»: иначе он будет глух и нем целый день. Кончив завтрак, он по одной таблице припоминает, какое число и какой день сегодня, справляется, что делать, берет машинку, которая сама делает выкладки: припоминать и считать в голове неудобно. Потом идет со двора. Я не упоминаю о том, что двери перед ним отворяются и затворяются взад и вперед почти сами. Ему надо побывать в банке, потом в трех городах, поспеть на биржу, не опоздать в заседание парламента. Он все сделал благодаря удобствам. Вот он, поэтический образ, в черном фраке, в белом галстуке, обритый, остриженный, с удобством, то есть с зонтиком под мышкой, выглядывает из вагона, из кеба, мелькает на пароходах, сидит в таверне, плывет по Темзе, бродит по музеуму, скачет в парке! В промежутках он

---

[1] под стать *(франц.)*.

успел посмотреть травлю крыс, какие-нибудь мостки, купил колодки от сапог дюка. Мимоходом съел высиженного паром цыпленка, внес фунт стерлингов в пользу бедных. После того, покойный сознанием, что он прожил день по всем удобствам, что видел много замечательного, что у него есть дюк и паровые цыплята, что он выгодно продал на бирже партию бумажных одеял, а в парламенте свой голос, он садится обедать и, встав из-за стола не совсем твердо, вешает к шкафу и бюро неотпираемые замки, снимает с себя машинкой сапоги, заводит будильник и ложится спать. Вся машина засыпает.

Облако английского тумана, пропитанное паром и дымом каменного угля, скрывает от меня этот образ. Оно проносится, и я вижу другое. Вижу где-то далеко отсюда, в просторной комнате, на трех перинах, глубоко спящего человека: он и обеими руками и одеялом закрыл себе голову, но мухи нашли свободные места, кучками уселись на щеке и на шее. Спящий не тревожится этим. Будильника нет в комнате, но есть дедовские часы: они каждый час свистеньем, хрипеньем и всхлипываньем пробуют нарушить этот сон — и все напрасно. Хозяин мирно почивает; он не проснулся, когда посланная от барыни Парашка будить к чаю, после троекратного тщетного зова, потолкала спящего, хотя женскими, но довольно жесткими кулаками в ребра; даже когда слуга, в деревенских сапогах, на солидных подошвах, с гвоздями, трижды входил и выходил, потрясая половицы. И солнце обжигало сначала темя, потом висок спящего,— и все почивал он. Неизвестно, когда проснулся бы он сам собою, разве когда не стало бы уже человеческой мочи спать, когда нервы и мускулы настойчиво потребовали бы деятельности. Он пробудился оттого, что ему приснился дурной сон: его кто-то начал душить во сне, но вдруг раздался отчаянный крик петуха под окном — и барин проснулся, обливаясь потом. Он побранил было петуха, этот живой будильник, но, взглянув на дедовские часы, замолчал. Проснулся он, сидит и недоумевает, как он так заспался, и не верит, что его будили, что солнце уж высоко, что приказчик два раза приходил за приказаниями, что самовар трижды перекипел. «Что вы нейдете сюда?»— ласково говорит ему голос из другой комнаты. «Да вот одного сапога не найду,— отвечает он, шаря ногой под кроватью,— и панталоны куда-то запропастились. Где Егорка?» Справляются насчет Егорки и узнают, что он отправился рыбу ловить бреднем, в обществе некоторых любителей из дворовых людей. И пока бегут не спеша за Егоркой на пруд, а Ваньку отыскивают по задним дворам или Митьку извлекают из глубины девичьей, барин мается, сидя на постеле, с одним сапогом в руках, и сокрушается об отсутствии другого. Но все приведено в порядок: сапог еще с вечера затащила в угол под диван Мимишка, а панталоны оказались висящими на дровах, где, второпях, забыл их Егорка, чистивший платье и внезапно

приглашенный товарищами участвовать в рыбной ловле. Сильно бы вымыли ему голову, но Егорка принес к обеду целую корзину карасей, сотни две раков да еще барчонку сделал дудочку из камыша, а барышне достал два водяные цветка, за которыми, чуть не с опасностью жизни, лазил по горло в воду на средину пруда. Напившись чаю, приступают к завтраку: подадут битого мяса с сметаной, сковородку грибов или каши, разогреют вчерашнее жаркое, детям изготовят манный суп — всякому найдут что-нибудь по вкусу. Наступает время деятельности. Барину по городам ездить не нужно: он ездит в город только на ярмарку раз в год да на выборы: и то и другое еще далеко. Он берет календарь, справляется, какого святого в тот день: нет ли именинников, не надо ли послать поздравить. От соседа за прошлый месяц пришлют все газеты разом, и целый дом запасается новостями надолго. Пора по работам; пришел приказчик — в третий раз.

— Что скажешь, Прохор? — говорит барин небрежно. Но Прохор ничего не говорит; он еще небрежнее достает со стены машинку, то есть счеты, и подает барину, а сам, выставив одну ногу вперед, а руки заложив назад, становится поодаль.
— Сколько чего?— спрашивает барин, готовясь класть на счетах.

— Овса в город отпущено на прошлой неделе семьдесят... — хочется сказать — пять четвертей. «Семьдесят девять»,— договаривает барин и кладет на счетах.— Семьдесят девять,—мрачно повторяет приказчик и думает: «Экая память-то мужицкая, а еще барин! сосед-то барин, слышь, ничего не помнит...»

— А наведывались купцы о хлебе? — вдруг спросил барин, подняв очки на лоб и взглянув на приказчика.

— Был один вчера.

— Ну?

— Дешево дает.

— Однако?

— Два рубля.

— С гривной? — спросил барин.

Молчит приказчик: купец, точно, с гривной давал. Да как же барин-то узнал? ведь он не видел купца! Решено было, что приказчик поедет в город на той неделе и там покончит дело.

— Что ж ты не скажешь? — вопрошает барин.

— Он обещал побывать опять,— говорит приказчик.

— Знаю,— говорит барин.

«Как знает? — думал приказчик,— ведь купец не обещал...»

— Он завтра к батюшке за медом заедет, а оттуда ко мне, и ты приди, и мещанин будет.

Приказчик все мрачней и мрачней.

— Слушаю-с,— говорит он сквозь зубы.

Барин помнит даже, что в третьем году Василий Васильевич продал хлеб по три рубля, в прошлом дешевле, а Иван Иваныч по три с четвертью. То в поле чужих мужиков встретит да

спросит, то напишет кто-нибудь из города, а не то так, видно, во сне приснится покупщик, и цена тоже. Недаром долго спит. И щелкают они на счетах с приказчиком, иногда все утро или целый вечер, так что тоску наведут на жену и детей, а приказчик выйдет весь в поту из кабинета, как будто верст за тридцать на богомолье пешком ходил.

— Ну, что еще? — спрашивает барин. Но в это время раздался стук на мосту. Барин поглядел в окно.— Кто-то едет? — сказал он, и приказчик взглянул.

— Иван Петрович,— говорит приказчик,— в двух колясках.

— А! — радостно восклицает барин, отодвигая счеты.— Ну, ступай; ужо вечером как-нибудь улучим минуту да сосчитаемся. А теперь пошли-ка Антипку с Мишкой на болото да в лес, десятков пять дичи к обеду наколотить: видишь, дорогие гости приехали!

Завтрак снова является на столе, после завтрака кофе. Иван Петрович приехал на три дня, с женой, с детьми, и с гувернером, и с гувернанткой, с нянькой, с двумя кучерами и с двумя лакеями. Их привезли восемь лошадей: все это поступило на трехдневное содержание хозяина. Иван Петрович дальний родня ему по жене: не приехать же ему за пятьдесят верст — только пообедать! После объятий начался подробный рассказ о трудностях и опасностях этого полуторасуточного переезда.

— Пообедав вчера, выехали мы, благословясь, около вечерень, спешили засветло проехать Волчий Вражек, а остальные пятнадцать верст ехали в темноте — зги божией не видать! Ночью поднялась гроза, страсть какая — боже упаси! Какие яровые у Василья Степаныча, видели?

— Как же, нарочно ездил. Слышали, уж он запродал хлеб. А каковы овсы у вас?

И пошла беседа на три дня.

Дамы пойдут в сад и оранжерею, а барин с гостем отправились по гумнам, по полям, на мельницу, на луга. В этой прогулке уместились три английские города, биржа. Хозяин осмотрел каждый уголок; нужды нет, что хлеб еще на корню, а он прикинул в уме, что у него окажется в наличности по истечении года, сколько он пошлет сыну в гвардию, сколько заплатит за дочь в институт. Обед гомерический, ужин такой же. Потом, забыв вынуть ключи из тульских замков у бюро и шкафов, стелют пуховики, которых достанет всем, сколько бы гостей ни приехало. Живая машина стаскивает с барина сапоги, которые, может быть, опять затащит Мимишка под диван, а панталоны Егорка опять забудет на дровах.

Что же? среди этой деятельной лени и ленивой деятельности нет и помина о бедных, о благотворительных обществах, нет заботливой руки, которая бы... Мне видится длинный ряд бедных изб, до половины занесенных снегом. По тропинке с трудом пробирается мужичок в заплатах. У него висит хол-

стинная сума через плечо, в руках длинный посох, какой носили древние. Он подходит к избе и колотит посохом, приговаривая: «Сотворите святую милостыню». Одна из щелей, закрытых крошечным стеклом, отодвигается, высовывается обнаженная загорелая рука, с краюхою хлеба. «Прими Христа ради!»— говорит голос. Краюха падает в мешок, окошко захлопывается. Нищий, крестясь, идет к следующей избе: тот же стук, те же слова и такая же краюха падает в суму. И сколько бы ни прошло старцев, богомольцев, убогих, калек, перед каждым отодвигается крошечное окно, каждый услышит: «Прими Христа ради», загорелая рука не устает высовываться, краюха хлеба неизбежно падает в каждую подставленную суму.

А барин, стало быть, живет в себя, «в свое брюхо», как говорят в той стороне? Стало быть, он никогда не освежит души своей волнением при взгляде на бедного, не брызнет слеза на отекшие от сна щеки? И когда он считает барыши за не сжатый еще хлеб, он не отделяет несколько сот рублей послать в какое-нибудь заведение, поддержать соседа? Нет, не отделяет в уме ни копейки, а отделит разве столько-то четвертей ржи, овса, гречихи, да того-сего, да с скотного двора телят, поросят, гусей, да меду с ульев, да гороху, моркови, грибов, да всего, чтоб к рождеству послать столько-то четвертей родне, «седьмой воде на киселе», за сто верст, куда уж он посылает десять лет оброк, столько-то в год какому-то бедному чиновнику, который женился на сиротке, оставшейся после погорелого соседа, взятой еще отцом в дом и там воспитанной. Этому чиновнику посылают еще сто рублей деньгами к пасхе, столько-то раздать у себя в деревне старым слугам, живущим на пенсии, а их много, да мужичкам, которые то ноги отморозили, ездивши по дрова, то обгорели, суша хлеб в овине, кого в дугу согнуло от какой-то лихой болести, так что спины не разогнет, у другого темная вода закрыла глаза. А как удивится гость, приехавший на целый день к нашему барину, когда, просидев утро в гостиной и не увидев никого, кроме хозяина и хозяйки, вдруг видит за обедом целую ватагу каких-то старичков и старушек, которые нахлынут из задних комнат и занимают «привычные места»! Они смотрят робко, говорят мало, но кушают много. И боже сохрани попрекнуть их «куском»! Они почтительны и к хозяевам и к гостям. Барин хватился своей табакерки в кармане, ищет глазами вокруг: один старичок побежал за ней, отыскал и принес. У барыни шаль спустилась с плеча: одна из старушек надела ее опять на плечо, да тут же кстати поправила бантик на чепце. Спросишь, кто это такие? Про старушку скажут, что это одна «вдова», пожалуй назовут Настасьей Тихоновной, фамилию она почти забыла, а другие и подавно: она не нужна ей больше. Прибавят только, что она бедная дворянка, что муж у ней был игрок или спился с кругу и ничего не оставил. Про старичка, какого-нибудь Кузьму

Петровича, скажут, что у него было душ двадцать, что холера избавила его от большей части из них, что землю он отдает внаем за двести рублей, которые посылает сыну, а сам «живет в людях».

И многие годы проходят так, и многие сотни уходят «куда-то» у барина, хотя денег, по-видимому, не бросают. Даже барыня, исполняя евангельскую заповедь и проходя сквозь бесконечный ряд нищих от обедни, тратит на это всего каких-нибудь рублей десять в год. Вот на выборах, в городе, оно заметно, куда деньги идут. Кончились выборы: предводитель берет лист бумаги и говорит: «Заключимте, милостивые государи, наши заседания посильным пожертвованием в пользу бедных нашей губернии, да на школы, на больницы»,— и пишет двести, триста рублей. А наш барин думал, что, купив жене два платья, мантилью, несколько чепцов да вина, сахару, чаю и кофе на год, он уже может закрыть бумажник, в котором опочил изрядный запасный капиталец, годичная экономия. А вот тут вынимается сто рублей: стыдно же написать при всех двадцать пять, даже пятьдесят, когда Осип Осипыч и Михайло Михайлыч написали по сту. «Теперь, кажется, все»,— думает он. Вдруг у губернатора, вечером, губернаторша сама раздает гостям какие-то билеты. Что это такое? Билеты на лотерею с балом, спектаклем, в пользу погоревших семейств. Губернаторша уж двоих упрекнула в скупости, и они поспешно взяли еще по нескольку билетов. За этим некуда уже тратить денег, только вот остался иностранец, который приехал учить гимнастике, да ему не повезло, а в числе гимнастических упражнений у него нет такой штуки, как выбираться из чужого города без денег, и он не знает, что делать. Дворяне сложились помочь ему добраться домой; недостает ста рублей: поглядывают на нашего барина... И вот к концу года выходит вовсе не тот счет в деньгах, какой он прикинул в уме, ходя по полям, когда хлеб был еще на корню... Не по машинке считал!

Но... однако... что вы скажете, друзья мои, прочитав это... эту... это *письмо* — из Англии? Куда я заехал? что описываю? скажете, конечно, что я повторяюсь, что я... не выезжал... Виноват: перед глазами все еще мелькают родные и знакомые крыши, окна, лица, обычаи. Увижу новое, чужое и сейчас в уме прикину на свой аршин. Я ведь уж сказал вам, что искомый результат путешествия — это параллель между чужим и своим. Мы так глубоко вросли корнями у себя дома, что, куда и как надолго бы я ни заехал, я всюду унесу почву родной Обломовки на ногах, и никакие океаны не смоют ее!

Прощайте: мы уже снялись с якоря, но не совсем удачно. Начались шквалы: шквалы — это когда вы сидите на даче, ничего не подозревая, с открытыми окнами, вдруг на балкон ваш налетает вихрь, врывается с пылью в окна, бьет стекла, валит горшки с цветами, хлопает ставнями, когда бросаются,

по обыкновению поздно, затворять окна, убирать цветы, а между тем дождь успел хлынуть на мебель, на паркет. Теперь это повторяется здесь каждые полчаса, и вот третьи сутки мы лавируем в Канале, где дорога неширока: того и гляди, прижмет к французскому берегу, а там мели да мели. Английский лоцман соснет немного ночью, а остальное время стоит у руля, следит зорко за каждою струей, он и в туман бросает лот и по грунту распознает место. Всего хуже встречные суда, а их тут множество.

Вы уже знаете, что мы идем не вокруг Горна, а через мыс Доброй Надежды, потом через Зондский пролив, оттуда к Филиппинским островам и, наконец, в Китай и Японию. Пробыв долго в Англии, мы не поспели бы обогнуть до марта Горн. А в марте, то есть в равноденствие, там господствуют свирепые вéстовые и, следовательно, нам противные ветры. А от мыса Доброй Надежды они будут нам попутные. В Индейских морях бывают, правда, ураганы, но бывают, следовательно могут и не быть, а противные ветры у Горна непременно будут. Это напоминает немного сказку об Иване-царевиче, в которой на перекрестке стоит столб с надписью: «Если поедешь направо, волки коня съедят, налево — самого съедят, а прямо — дороги нет». Обратный путь предполагается кругом Америки. И обо всем этом толкуют здесь гораздо меньше, нежели, бывало, при сборах в Павловск или Парголово. А хотите ли знать расстояния? От Англии до Азорских островов, например, 2250 морских миль (миля $1^{3}/_{4}$ версты), оттуда до экватора 1020 м., от экватора до мыса Доброй Надежды 3180 м., а от мыса Доброй Надежды до Зондского пролива 5400 м., всего около двадцати тысяч верст. Скучно считать, лучше проехать! До вечера.

*11 января.* До вечера: как не до вечера! Только на третий день после того вечера мог я взяться за перо. Теперь вижу, что адмирал был прав, зачеркнув в одной бумаге, в которой предписывалось шкуне соединиться с фрегатом, слово «непременно». «На море *непременно* не бывает»,— сказал он. «На парусных судах»,— подумал я. Фрегат рылся носом в волнах и ложился попеременно на тот и другой бок. Ветер шумел, как в лесу, и только теперь смолкает. Сегодня, 11-го января, утро ясное, море стихает. Виден Эддистонский маяк и гладкий, безотрадный утес Лизарда. Прощайте, прощайте! Мы у порога в океан. Когда услышите вой ветра с запада, помните, что это только слабое эхо того зефира, который треплет нас, а задует с востока, от вас, пошлите мне поклон — дойдет. Но уж пристал к борту бот, на который ссаживают лоцмана. Спешу запечатать письмо. Еще последнее прости! Увидимся ли? В путешествии, или «походе», как называют мои товарищи, пока еще самое лучшее для меня — надежда воротиться.

*Январь, 1853 года.*
*Британский канал.*

## II

## АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН И ОСТРОВ МАДЕРА

*Выход в океан.— Крепкий ветер и качка.— Прибытие на Мадеру.— Город Фунчал.— Прогулка на гору. — Обед у консула. — Отъезд.*

*С 6 по 18 января 1853.*

Кончено, я решительно путешествую. Я все ждал перемены, препятствия; мне казалось, судьба одумается и не пошлет меня дальше: поэтому нерешительно делал в Англии приготовления к отъезду, не запасал многого, что нужно для дальнего вояжа, и взял кое-что, годное больше для житья на берегу. Но вот океан: переступишь за его порог — и возврата нет! Я из Англии писал вам, как мы плавали по Каналу, как нас подхватил в нем свежий ветер и держал там четверо суток. Письмо это, со многими другими, взял английский лоцман, который провожал нас по Каналу и потом съехал на рыбачьем боте у самого Лизарда. 11-го января ветер утих, погода разгулялась, море улеглось и немножко посинело, а то все было до крайности серо, мутно; только волны, поднимаясь, показывали свои аквамаринные верхушки. Вот милях в трех белеет стройная, как стан женщины, башня Эддистонского маяка. Он построен на море, на камне, в нескольких милях от берега. Бурун с моря хлещет, говорят, в бурю до самого фонаря. Несколько раз ветер смеялся над усилиями человека, сбрасывая башню в море. Но человек терпеливо, на обломках старого, строил новое здание крепче и ставил фонарь и теперь зажигает опять огонь и, в свою очередь, смеется над ветром. Вот и Лизард, пустой, голый и гладкий утес, далеко ушедший в море от берегов. От подошвы его расстилается светлая площадь океана.

Все были наверху, пока ссаживали лоцмана. Я, прислонившись к шпилю, смотрел на океан и о чем-то задумался.

Вдруг меня кто-то схватил за руку, стиснул ее и начал неистово трясти. Что за штука? А! это лоцман прощается. Смотрю: лакированная шляпа и синяя куртка пошли дальше, обходя всех таким порядком. Всякого молча схватит за руку, точно укусит, кивнет головой и потом к следующему. Я дал ему письмо, которое уже у меня было готово, он схватил и опустил его в карман, кивнув тоже головой. Какой карман! Я успел бросить туда взгляд: точно колодезь! Там лежало писем тридцать, но они едва покрывали дно. Мы быстро подвигались к океану. «Дедушка! — спросил кто-то нашего Александра Александровича,— когда же будем в океане?» — «Мы теперь в нем»,— отвечал он. «Так уж из Канала вышли?» — спросил другой, глядя по обеим сторонам Канала. «Нет еще: ведь это Канал и есть, где мы».— «Кто ж вас разберет?»— отвечали ему недовольные. «Положите метку,— сказал дедушка,— когда назад пойдем, так я вам и скажу, где кончится Канал и где начало океана... Смотрите, смотрите!» — сказал он мне, указывая на море. «Что такое?» — спросил я, глядя во все стороны. «Неужели не видите? Да вот, смотрите: не дальше кабельтова от нас». Смотрю: то там, то сям брызнет из воды тонкой струей фонтанчик и пропадет. Потом опять. «Не может быть, чтоб здесь были киты!» — сказал я. «Не настоящие киты, а мелочь из их породы»,— заметил дед.

Я целое утро не сходил с юта. Мне хотелось познакомиться с океаном. Я уже от поэтов знал, что он «безбрежен, мрачен, угрюм, беспределен, неизмерим и неукротим», а учитель географии сказал некогда, что он просто — Атлантический. Теперь я жадно вглядывался в его физиономию, как вглядываются в человека, которого знали по портрету. Мне хотелось поверить портрет с подлинными чертами лежавшего передо мной великана, во власть которого я отдавался на долгое время. «Какой же он в самом деле? — думал я, поглядывая кругом.—Что таится в этом неизмеренном омуте? Чем океан угостит пловцов?..» Он был покоен: по нем едва шевелились легкими рядами волны, как будто ряды тихих мыслей, пробегающих по лицу; страсти и порывы молчали. Попутный ветер и умеренное волнение так ласково манили дальше, а там... «Где же он неукротим? — думал я опять,— на старческом лице ни одной морщинки! Необозрим он, правда: зришь его не больше как миль на шесть вокруг, а там спускается на него горизонт в виде довольно грязной занавески. Поверхность шара и на этом пространстве образует дугу, закрывающую даль. «Могуч, мрачен — гм! посмотрим», и, оглядев море справа, я оборотился налево и устремил взгляд прямо в физиономию... Фаддеева. Он стоял передо мной с фуражкой в руке. «Что ты?» — «Поди, ваше высокоблагородие, обедать, я давно зову тебя, да не слышишь». Я тем охотнее принял это приглашение, что наверху было холодно. Северный ветер дышал

такой прохладой, что в байковом пальто от него трудно было спрятаться.

За столом дед сидел подле меня и был очень весел; он даже предложил мне выпить вместе рюмку вина по случаю вступления в океан. «Поздравляю с океаном»,— сказал он. «Вы очень рады ему, вероятно, как старому знакомому?» — спросил я. «Да, мы друг друга знаем,— отвечал он,— и точно, я рад: теперь на карту хоть не гляди, по ночам можно спать: камней, банок, берегов долго не дождемся».— «А буря?» — «Какая буря?» — «Ну, шторм»,— поправился я. «Это не по моей части,— сказал он.— Я буду спать, а Иван Семенович и вот Иван Иванович нет. Да что такое шторм на океане? Если еще при попутном ветре, так это значит мчаться во весь дух на лихой тройке, не переменяя лошадей!»

Внизу, за обедом, потом за чашкой кофе и сигарой, а там за книгой и забыли про океан... да не то что про океан, а забыли и о фрегате. Точно где-нибудь в комнате собралось несколько человек приятелей у доброго хозяина, который предоставляет всякому делать, что он хочет. Я разложил у себя на бюро бумаги, книги, поставил на свое место чернильницу, расположил все мелочи письменного стола, как дома. Фаддееву опять досталось немало возиться с убранством каюты. Я не мог надивиться его деятельности, способностям и силе. Я, кажется, писал вам, что мне дали другую каюту, вверху на палубе. Это была маленькая комнатка с окном. Надо было установить в ней все, как в прежней. И Фаддеев все это сделал еще в Портсмуте, при переселении с «Кемпердоуна» на фрегат. Доска ли нейдет — мигом унесет ее, отпилит лишнее, и уж там, как она ни упрямься, а он втиснет ее в свое место. Ему нужды нет, если от этого что-нибудь расползется врозь: он и то поправит, и опять нужды нет, если доска треснет. Он один приделал полки, устроил кровать, вбил гвоздей, сделал вешалку и потом принялся разбирать вещи по порядку, с тою только разницею, что сапоги положил уже не с книгами, как прежде, а выстроил их длинным рядом на комоде и бюро, а ваксу, мыло, щетки, чай и сахар разложил на книжной полке. «Ближе доставать»,— сказал он на мой вопрос, зачем так сделал. С книгами поступил он так же, как и прежде: поставил их на верхние полки, куда рукой достать было нельзя, и так плотно уставил, что вынуть книгу не было никакой возможности. У него было то же враждебное чувство к книгам, как и у берегового моего слуги: оба они не любили предмета, за которым надо было ухаживать с особенным тщанием, а чуть неосторожно поступишь, так, того и гляди, разорвешь. Иногда он, не зная назначения какой-нибудь вещи, брал ее в руки и долго рассматривал, стараясь угадать, что бы это такое было, и уже ставил по своему усмотрению. Попался ему одеколон: он смотрел, смотрел, наконец

налил себе немного на руку. «Уксус»,— решил он, сунув склянку куда-то подальше в угол.

Мне надо было несколько изменить в каюте порядок, и это стоило немало труда. Но худо ли, хорошо ли, а каюта была убрана; все в ней расставлено и разложено по возможности как следует; каждой вещи назначено место на два, на три года. А про океан, говорю, и забыли. Только изредка кто-нибудь придет сверху и скажет, что славно идем: девять узлов, ветер попутный. И в самом деле шли отлично. Но океан не забыл про нас. К вечеру стало покачивать. Ну, что за важность? пусть немного и покачает: на то и океан. Странно, даже досадно было бы, если б дело обошлось так тихо и мирно, как где-нибудь в Финском заливе.

К чаю уже надо было положить на стол рейки, то есть поперечные дощечки ребром, а то чашки, блюдечки, хлеб и прочее ползло то в одну, то в другую сторону. Да и самим неловко было сидеть за столом: сосед *наваливался* на соседа. Начались обыкновенные явления качки: вдруг дверь отворится и с шумом захлопнется. В каютах, то там, то здесь, что-нибудь со стуком упадет со стола или сорвется со стены, выскочит из шкафа и со звоном разобьется — стакан, чашка, а иногда и сам шкаф зашевелится. А там вдруг, слышишь, сочится где-то сквозь стенку струя и падает дождем на что случится, без разбора — на стол, на диван, на голову кому-нибудь. Сначала это возбуждало шутки. Смешно было смотреть, когда кто-нибудь пойдет в один угол, а его отнесет в другой; никто не ходил как следует, всё притопывая. Юность резвилась, каталась из угла в угол, как с гор. Вестовые бегали то туда, то сюда на шум упавшей вещи, с тем чтоб поднять уже черепки. Сразу не примешь всех мер против неприятных случайностей. Эта качка напоминала мне пока наши похождения в Балтийском и Немецком морях — не больше. Не привыкать уже было засыпать под размахи койки взад и вперед, когда голова и ноги постепенно поднимаются и опускаются. Я кое-как заснул, и то с грехом пополам: не один раз будил меня стук, топот людей, суматоха с парусами.

Еще с вечера начали брать рифы: один, два, а потом все четыре. Едва станешь засыпать — во сне ведь другая жизнь и, стало быть, другие обстоятельства — приснитесь вы, ваша гостиная или дача какая-нибудь; кругом знакомые лица; говоришь, слушаешь музыку: вдруг хаос — ваши лица искажаются в какие-то призраки; полуоткрываешь сонные глаза и видишь не то во сне, не то наяву, половину вашего фортепиано и половину скамьи; на картине, вместо женщины с обнаженной спиной, очутился часовой; раздался внезапный треск, звон — очнешься — что такое? ничего: заскрипел трап, хлопнула дверь, упал графин или кто-нибудь вскакивает с постели и бранится, облитый водою, хлынувшей к нему из полупортика

прямо на тюфяк. Утомленный, заснешь опять; вдруг удар, точно подземный, так что сердце дрогнет — проснешься: ничего — это поддало в корму, то есть ударило волной... И так до утра! Все еще было сносно, не более того, что мы уже испытали прежде. Но утром 12-го января дело стало посерьезнее. «Буря»,— сказали бы вы, а мои товарищи называли это очень свежим ветром. Я пробовал пойти наверх или «на улицу», как я называл верхнюю палубу, но ходить было нельзя. Я постоял у шпиля, посмотрел, как море вдруг скроется из глаз совсем под фрегат и перед вами палуба стоит стоймя, то вдруг скроется палуба и вместо нее очутится стена воды, которая так и лезет на вас. Но не бойтесь: она сейчас опять спрячется, только держитесь обеими руками за что-нибудь. Оно красиво, но однообразно... Я воротился в общую каюту. Трудно было и обедать: чуть зазеваешься, тарелка наклонится, и ручей супа быстро потечет по столу до тех пор, пока обратный толчок не погонит его назад. Мне уж становилось досадно: делать ничего нельзя, даже читать. Сидя ли, лежа ли, а все надо думать о равновесии, упираться то ногой, то рукой. Вечером я лежал на кушетке у самой стены, а напротив была софа, устроенная кругом бизань-мачты, которая проходила через каюту вниз. Вдруг поддало, то есть шальной или, пожалуй, девятый вал ударил в корму. Все ухватились, кто за что мог. Я, прежде нежели подумал об этой предосторожности, вдруг почувствовал, что кушетка отделилась от стены, а я отделяюсь от кушетки. «Куда?» — мелькнул у меня вопрос в голове, а за ним и ответ: «на круглую софу». Я так и сделал: распростер руки и препокойно перевалился на мягкие подушки круглой софы. Присутствовавшие— капитан Лосев, барон Криднер и кто-то еще — сначала подумали, не ушибся ли я, а увидя, что нет, расхохотались. Но смеяться на море безнаказанно нельзя: кто-нибудь тут же пойдет по каюте, его повлечет наклонно по полу; он не успеет наклониться и, смотришь, приобрел шишку на голове; другого плечом ударило о косяк двери, и он начинает бранить бог знает кого.

Скучное дело качка; все недовольны; нельзя как следует читать, писать, спать; видны также бледные, страдальческие лица. Порядок дня и ночи нарушен, кроме собственно морского порядка, который, напротив, усугублен. Но зато обед, ужин и чай становятся как будто посторонним делом. Занятия, беседы нет... Просто нет житья!

12-го и 13-го января ветер уже превратился в крепкий и жестокий, какого еще у нас не было. Все полупортики, люминаторы были наглухо закрыты, верхние паруса убраны, пушки закреплены задними талями, чтоб не давили тяжестью своею борта. Я не только стоять, да и сидеть уже не мог, если не во что было упираться руками и ногами. Кое-как добрался я до своей каюты, в которой не был со вчерашнего дня, отворил

дверь и не вошел — все эти термины теряют значение в качку,— был втиснут толчком в каюту и старался удержаться на ногах, упираясь кулаками в обе противоположные стены. Я ахнул: платье, белье, книги, часы, сапоги, все мои письменные принадлежности, которые я было расположил так аккуратно по ящикам бюро,— все это в куче валялось на полу и при каждом толчке металось то направо, то налево. Ящики выскочили из своих мест, щетки, гребни, бумаги, письма — все ездило по полу, вперегонку, что скорее скакнет в угол или оттуда на средину.

«Фаддеев!» — закричал я в ужасе. «Фаддеев!» — повторил один матрос. «Фаддеев!», «Фаддеев!» — повторил другой и за ним третий, потом этот третий заглянул ко мне в каюту. «*Они* на кубрике, ваше высокоблагородие,— сказал он,— сейчас придут».— «Кто *они*?» — спросил я. «А Фаддеев». Матросы иначе в третьем лице друг друга не называют, как *они* или *матросиком*, тогда как, обращаясь один к другому прямо, изменяют тон. «Иди, Сенька, дьявол, скорее! тебя Иван Александрович давно зовет»,— сказал этот же матрос Фаддееву, когда тот появился. «Ну, ты разговаривай у меня, сволочь!» — отвечал Фаддеев шепотом, показывая ему кулак. Это у них вовсе не брань: они говорят не сердясь, а так, своя манера. Когда же хотят выразиться нежно, то называют друг друга — *братишкой*. «Посмотри-ка!» — сказал я Фаддееву, указывая на беспорядок, и, махнув рукою, ушел в капитанскую каюту.

Это был просторный, удобный, даже роскошный кабинет. Огромный платяной шкаф орехового дерева, большой письменный стол с полками, пианино, два мягкие дивана и более полудюжины кресел составляли его мебель. Вот там-то, между шкафом и пианино, крепко привинченными к стене и полу, была одна полукруглая софа, представлявшая надежное убежище от кораблекрушения. Любезный, гостеприимный хозяин Иван Семенович Унковский предоставлял ее в полное мое распоряжение. Сам он не был изнежен и почти ею не пользовался, особенно в непогоду. Тогда он не раздевался, а соснет где-нибудь в кресле, готовый каждую минуту бежать на палубу. Сядешь на эту софу, и какая бы качка ни была — килевая ли, то есть продольная, или боковая, поперечная,— упасть было некуда. Одна половина софы шла вдоль, а другая поперек фрегата. Тут не пускал упасть шкаф, а там пианино. Из обоих окон мне видно было море. Что за безобразие, или, пожалуй, что за красота! «Буря — прекрасно! поэзия!» — скажете вы в ребяческом восторге. «Какая буря — свежий ветер!» — говорят вам.

Может быть, оно и поэзия, если смотреть с берега, но быть героем этого представления, которым природа время от времени угощает плавателя, право незанимательно. Сами посудите, что тут хорошего? Огромные холмы с белым гребнем,

с воем толкая друг друга, встают, падают, опять встают, как будто толпа вдруг выпущенных на волю бешеных зверей дерется в остервенении, только брызги, как дым, поднимаются да стон носится в воздухе. Фрегат взберется на голову волны, дрогнет там на гребне, потом упадет на бок и начинает скользить с горы, спустившись на дно между двух бугров, выпрямится, но только затем, чтоб тяжело перевалиться на другой бок и лезть вновь на холм. Когда он опустится вниз, по сторонам его вздымаются водяные стены. В каюте лампы, картинки, висячий барометр вытягивались горизонтально. Несколько стульев повольничали было, оторвались от своих мест и полетели в угол, но были пойманы и привязаны опять. Какие бы, однако, ни были взяты предосторожности против падения разных вещей, но почти при всяком толчке что-нибудь да найдет случай вырваться: или книга свалится с полки, или куча бумаг, карта поползет по столу и тут же захватит по дороге чернильницу или подсвечник. Вечером раз упала зажженная свеча, и прямо на карту. Я был в каюте один, встал, хотел побежать, но неодолимая тяжесть гнула меня к полу, а свеча вспыхивала сильнее, вот, того гляди, вспыхнет и карта. Я ползком подобрался к ней и кое-как поставил на свое место.

«Крепкий ветер, жестокий ветер! — говорил по временам капитан, входя в каюту и танцуя в ней.— А вы это все сидите? Еще не приобрели *морских ног*».— «Я и свои потерял»,— сказал я. Но ему не верилось, как это человек может не ходить, когда ноги есть. «Да вы встаньте, ну, попробуйте»,— уговаривал он меня. «Пробовал,— сказал я,— да без пользы, даже со вредом и для себя и для мебели. Вот, пожалуй...» Но меня потянуло по совершенно отвесной покатости пола, и я побежал в угол, как давно не бегал. Там я кулаком попал в зеркало, а другой рукой в стену. Капитану было смешно. «Что же вы чай нейдете пить?» — сказал он. «Не хочу!» — со злостью сказал я. «Ну, я велю вам сделать здесь».— «Не хочу!» — повторил я... Я был очень зол. Сначала качка наводит с непривычки страх. Когда судно катится с вершины волны к ее подножию и переходит на другую волну, оно делает такой размах, что, кажется, сейчас рассыплется вдребезги; но когда убедишься, что этого не случится, тогда делается скучно, досадно, досада превращается в озлобление, а потом в уныние. Время идет медленно: его измеряешь не часами, а ровными, тяжелыми размахами судна и глухими ударами волн в бока и корму. Это не тихое чувство покорности, résignation, а чистая злоба, которая пожирает вас, портит кровь, печень, желудок, раздражает желчь. Во рту сухо, язык горит. Нет ни аппетита, ни сна: ешь, чтоб как-нибудь наполнить праздное время и пустой желудок. Не спишь, потому что не хочется спать, а забываешься от утомления в полудремоте, и в этом состоянии опять носятся над головой уродливые грезы, опять галлюцинации:

знакомые лица являются, как мифологические боги и богини. То ваша голова и стан, мой прекрасный друг, но в матросской куртке, то будто пушка в вашем замасленном пальто, любезный мой артист, сидит подле меня на диване. Заснешь и вполглаза видишь наяву снасть, а рядом откуда-то возьмутся шелковые драпри какой-нибудь петербургской гостиной — вазы, цветы, из-за которых тут же выглядывает урядник Терентьев. Далее опять франты, женщины, но вместо кружевного платка в руках женщины — ка́болка (оборвыш веревки) или банник, а франт трет палубу песком... И вдруг эти франты и женщины завоют, заскрипят; лица у них вытянулись, разложились — хлоп! полетели куда-то в бездну... Откроешь глаза и увидишь, что ка́болка, банник, Терентьев — все на своем месте, а ваз, цветов и вас, милые женщины, — увы, нет! Подчас до того все перепутается в голове, что шум и треск, и эти водяные бугры, с пеной и брызгами, кажутся сном, а берег, домы, покойная постель — действительностью, от которой при каждом толчке жестоко отрезвляешься.

Я так и не ночевал в своей каюте. Капитан тут же рядом спал одетый, беспрестанно вскакивая и выбегая на палубу. Фаддеев утром явился с бельем и звал в кают-компанию, к чаю. «Не хочу!» — был один ответ. «Не надо ли, принесу сюда?» — «Не хочу!» — твердил я, потому что накануне попытка напиться чаю не увенчалась никаким успехом: я обжег пальцы и уронил чашку. «Что, еще не стихает?» — спросил я его. «Куда-те стихать, так и ревет. Уж такое сердитое море здесь!» — прибавил он, глядя с непростительным равнодушием, в окно, как волны вставали и падали, рассыпаясь пеною и брызгами. Я от скуки старался вглядеться в это равнодушие, что оно такое: привычка ли матроса, испытанного в штормах, уверенность ли в силах и средствах? — Нет, он молод и закалиться в службе не успел. Чувство ли покорности судьбе: и того, кажется, нет. То чувство выражается сознательною мыслью на лице и выработанным ею спокойствием, а у него лицо все так же кругло, бело, без всяких отметин и примет. Это простое равнодушие, в самом незатейливом смысле. С этим же равнодушием он, то есть Фаддеев, — а этих Фаддеевых легион, — смотрит и на новый прекрасный берег, и на не виданное им дерево, человека — словом, все отскакивает от этого спокойствия, кроме одного ничем не сокрушимого стремления к своему долгу — к работе, к смерти, если нужно. Вглядывался я и заключил, что это равнодушие — родня тому спокойствию или той беспечности, с которой другой Фаддеев, где-нибудь на берегу, по веревке, с топором, взбирается на колокольню и чинит шпиц или сидит с кистью на дощечке и болтается в воздухе, на верху четырехэтажного дома, оборачиваясь, в размахах веревки, спиной то к улице, то к дому. Посмотрите ему в лицо: есть ли сознание опасности? Нет. Он лишь старается при толчке

упереться ногой в стену, чтоб не удариться коленкой. А внизу третий Фаддеев, который держит веревку, не очень заботится о том, каково тому вверху: он зевает, с своей стороны, по сторонам.

Фаддеев и перед обедом явился с приглашением обедать, но едва я сделал шаг, как надо было падать или проворно сесть на свое место. «Не хочу!» — сказал я злобно. «Третья склянка! зовут, ваше высокоблагородие»,— сказал он, глядя, по обыкновению, в стену. Но на этот раз он чему-то улыбнулся. «Что ты смеешься?» — спросил я. Он захохотал. «Что с тобой?»— «Да смех такой...» — «Ну, говори, что?» — «Шведов треснулся головой о палубу».— «Где? как?» — «С койки сорвался: мы трое подвесились к одному крючку, крючок сорвался, мы все и упали: я ничего, и Паисов ничего, упали просто и встали, а Шведов голову ушиб — такой смех! Теперь сидит да стонет».

Уже не в первый раз заметил я эту черту в моем вестовом: Попадется ли кто, достанется ли кому — это бросало его в смех. Поди разбирай, из каких элементов сложился русский человек! И это не от злости: он совсем не был зол, а так, черта, требующая тонкого анализа и особенного определения. Но ему на этот раз радость чужому горю не прошла даром. Не успел он рассказать мне о падении Шведова, как вдруг рассыльный явился в дверях. «Кто подвешивался с Шведовым на один крючок?» — спросил он. «Кто?» — вопросом отвечал Фаддеев. «Паисов, что ли?» — «Паисов?» — «Да говори скорей, еще кто?» — спросил опять рассыльный. «Еще?» — продолжал Фаддеев спрашивать. «Поди к вахтенному,— сказал рассыльный,— всех требуют!» Фаддеев сделался очень серьезен и пошел, а по возвращении был еще серьезнее. Я догадался, в чем дело. «Что ж ты не смеешься? — спросил я,— кажется, не одному Шведову досталось?» Он молчал. «А Паисову досталось?» Он опять разразился хохотом. «Досталось, досталось и ему!»— весело сказал он.

«Нет, этого мы еще не испытали!» — думал я, покачиваясь на диване и глядя, как дверь кланялась окну, а зеркало шкафу. Фаддеев пошел было вон, но мне пришло в голову пообедать тут же на месте. «Не принесешь ли ты мне чего-нибудь поесть в тарелке? — спросил я,— попроси жаркого или холодного».— «Отчего не принести, ваше высокоблагородие, изволь, принесу!» — отвечал он. Через полчаса он появился с двумя тарелками в руках. На одной был хлеб, солонка, нож, вилка и салфетка, а на другой кушанье. Он шел очень искусно, упираясь то одной, то другой ногой и держа в равновесии руки, а местами вдруг осторожно приседал, когда покатость пола становилась очень крута. «Вот тебе!» — сказал он (мы с ним были на *ты*; он говорил *вы* уже в готовых фразах: «ваше высокоблагородие» или «воля ваша» и т. п.). Он сел подле меня на полу, держа тарелки. «Чего же ты мне принес?» — спросил я. «Тут

всё есть, всякие кушанья»,— сказал он. «Как всё?» Гляжу: в самом деле — всё; вот курица с рисом, вот горячий паштет; вот жареная баранина — вместе в одной тарелке, и всё прикрыто вафлей. «Помилуй, ведь это есть нельзя. Недоставало только, чтоб ты мне супу налил сюда!» «Нельзя было,— отвечал он простодушно,— того гляди, прольешь». Я стал разбирать куски порознь, кладя кое-что в рот, и так мало-помалу дошел — до вафли. «Зачем ты не положил и супу!» — сказал я, отдавая тарелки назад.

«Боже мой! кто это выдумал путешествия? — невольно с горестью воскликнул я,— едешь четвертый месяц, только и видишь серое небо и качку!» Кто-то засмеялся. «Ах, это вы!» — сказал я, увидя, что в каюте стоит, держась рукой за потолок, самый высокий из моих товарищей, К. И. Лосев. «Да право! — продолжал я,— где же это синее море, голубое небо да теплота, птицы какие-то да рыбы, которых, говорят, видно на самом дне?» На ропот мой как тут явился и дед.

«Вот ведь это кто все рассказывает о голубом небе да о тепле!» — сказал Лосев. «Где же тепло? Подавайте голубое небо и тепло!..» — приставал я. Но дед маленькими своими шажками проворно пошел к карте и начал мерять по ней циркулем градусы да чертить карандашом. «Слышите ли?» — сказал я ему.

— 42 и 18! — говорил он вполголоса. Я повторил ему мою жалобу.

— Дайте пройти Бискайскую бухту — вот и будет вам тепло! Да погодите еще, и тепло наскучит: будете вздыхать о холоде. Что вы всё сидите? Пойдемте.

— Не могу; я не стою на ногах.

— Пойдемте, я вас отбуксирую! — сказал он и повел меня на шканцы. Опираясь на него, я вышел «на улицу» в тот самый момент, когда палуба вдруг как будто вырвалась из-под ног и скрылась, а перед глазами очутилась целая изумрудная гора, усыпанная голубыми волнами, с белыми, будто жемчужными, верхушками, блеснула и тотчас же скрылась за борт. Меня стало прижимать к пушке, оттуда потянуло к люку. Я обеими руками уцепился за леер.

— Ведите назад! — сказал я деду.

— Что вы? посмотрите: отлично!

У него все отлично. Несет ли попутным ветром по десяти узлов в час — «Славно, отлично!» — говорит он. Дует ли ветер прямо в лоб и пятит назад — «Чудесно! — восхищается он,— по полтора узла идем!» На него не действует никакая погода. Он и в жар и в холод всегда застегнут, всегда бодр; только в жар подбородок у него светится, как будто вымазанный маслом; в качку и не в качку стоит на ногах твердо, заложив коротенькие руки на спину или немного пониже, а на ходу шагает маленькими шажками. Его не возмущает ни буря, ни штиль — ему все равно. Близко ли берег, далеко ли — ему тоже дела

нет. Он был почти везде, а где не был, так не печалится, если не удастся побывать. Я не слыхал, чтоб он на что-нибудь или на кого-нибудь жаловался. «Отлично!» — твердит только. А если кто-нибудь при нем скажет или сделает не отлично, так он посмотрит только испытующим взглядом на всех кругом и улыбнется по-своему. Он напоминает собою тех созданных Купером лиц, которые родились и воспитались на море или в глухих лесах Америки и на которых природа, окружавшая их, положила неизгладимую печать. И он тоже с тринадцати лет ходит в море и двух лет сряду никогда не жил на берегу. За своеобразие ли, за доброту ли — а его все любили. «Здравствуйте, дед! Куда вы это торопитесь?» — говорила молодость. «Не мешайте: иду *определиться*!» — отвечал он и шел, не оглядываясь, *ловить* солнце. «Да где мы теперь?» — спрашивали опять. «В божьем мире!» — «Знаем; да где?» — «38° сев. широты и 12° западной долготы». — «На параллели чего?» — «А поглядите на карту». — «Скажите...» — «Пустите, пустите!» — говорил он, расталкивая молодежь, как толпу ребятишек.

— Холодно, дед! ведите меня назад,— говорил я.

— Что за холодно — отлично! — отвечал он.

Не дождавшись его, я пошел один опять на свое место, но дорого заплатил за смелость. Я вошел в каюту и не успел добежать до большой полукруглой софы, как вдруг сильно поддало. Чувствуя, что мне не устоять и не усидеть на полу, я быстро опустился на маленький диван и думал, что спасусь этим; но не тут-то было: надо было прирасти к стене, чтоб не упасть. Диван был пригвожден и не упал, а я, как ни крепился, но должен был, к крайнему прискорбию, расстаться с диваном. Меня сорвало с него и ударило грудью о кресло так сильно, что кресло, хотя и осталось на месте, потому что было привязано к полу, но у него подломилась ножка, а меня перебросило через него и повлекло дальше по полу. По дороге я ушиб еще коленку да задел за что-то щекой. Примчавшись к своему месту, я несколько минут сидел от боли неподвижно на полу. К счастью, ушиб не оставил никаких последствий. С неделю больно было дотрогиваться до груди, а потом прошло.

В это время К. И. Лосев вошел в каюту. Я стал рассказывать о своем горе.

— А вы скорей садитесь на пол,— сказал он, — когда вас сильно начнет тащить в сторону, и ничего, не стащит!

Вдруг в это время стало кренить на мою сторону.

— Вот, вот так! — учил он, опускаясь на пол. — Ай, ай! — закричал он потом, ища руками кругом, за что бы ухватиться. Его потащило с горы, и он стремительно домчался вплоть до меня... на всегда готовом экипаже. Я только что успел подставить ноги, чтоб он своим ростом и дородством не сокрушил меня.

Так дни шли за днями, или не «дни», а «сутки». На берегу замечаются только одни дни, а в море, в качке спишь не когда хочешь, а когда можешь. Там рядом с обыкновенным, природным днем является какой-то другой, искусственный, называемый на берегу ночью, а тут полный забот, работ, возни. Томительные сутки шли за сутками. Человек мечется в тоске, ищет покойного угла, хочет забыться, забыть море, качку, почитать, поговорить — не удается. Всякий сустав в нем, всякий нерв бодрствует, раздраженный и утомленный продолжительным напряжением. Прошлое спокойствие, минуты счастья, отличное плавание, родина, друзья — все забыто; а если и припоминается, так с завистью. «Да неужели есть берег? — думаешь тут,— ужели я был когда-нибудь на земле, ходил твердой ногой, спал в постели, мылся пресной водой, ел четыре-пять блюд, и всё в разных тарелках, читал, писал на столе, который не пляшет? Ужели есть сады, теплый воздух, цветы...» И цветы припомнишь, на которые на берегу и не глядел. Так вот она, странническая жизнь, исполненная приключений, тревог, бурь, волнений, о которых вздыхал я на берегу! Ну, заварил кашу, наслаждайся теперь! Неблагодарная память не сохраняет добра. Тут является жалкое, отравляющее жизнь на море чувство — раскаяния: зачем поехал!

В этом расположении я выбрался из каюты, в которой просидел полторы суток, неблагосклонно взглянул на океан и, пробираясь в общую каюту, мысленно поверял эпитеты, данные ему Байроном, Пушкиным, Бенедиктовым и другими — «угрюмый, мрачный, могучий», и Фаддеевым — «сердитый». «Соленый, скучный, безобразный и однообразный! — прибавил я к этому списку, сходя по трапу вниз,— заладил одно — и конца нет!»

Внизу везде вода, сырость; спали кое-как, где попало. Я тут же прилег и раз десять вскакивал ночью, пробуждаясь от скрипа, от какого-нибудь внезапного крика, от топота людей, от свистков; впросонках видел, как дед приходил и уходил с веселым видом.

— Качает, дед! — жаловался я.

— Еще бы не качать: крутой бейдевинд! — сказал он.— Отлично.

— Что же отличного?..

— Как чтó: 10½ узлов ходу, прошли Бискайскую бухту, утром будем на параллели Финистерре.

— Подите вы, отлично!

Вдруг показался в дверях своей каюты О. А. Гошкевич, которого мы звали переводчиком. Бледный, с подушкой в руках, он вошел в общую каюту и лег на круглую софу. Его мутило. Он не знал сна, аппетита. Полежав там минут пять, он перешел на кушетку, потом садился на стул, но вскакивал опять и нигде не находил покоя. Жертва морской болезни с

первого выхода в море, он возбуждал общее, но бесполезное участие. Его отвели в батарейную палубу и подвесили там койку недалеко от люка, чрез который проходил свежий воздух. Мне стало совестно за свою досаду, и я перестал жаловаться.

Следующие дни тянулись так же однообразно, волнисто, бурно, холодно. Небо и море серые. А ведь это уж испанское небо! Мы были в 30-х градусах широты. Мы так были заняты, что и не заметили, как миновали Францию, а теперь огибали Испанию и Португалию. Я, от нечего делать, любил уноситься мысленно на берега, мимо которых мы шли и которых не видали. Париж возбуждал общий интерес. Мы оставили его в самый занимательный момент: Людовик-Наполеон только что вошел на престол. Англия одна еще признала его — больше ничего мы не знали. Улеглись ли партии? сумел ли он поддержать порядок, который восстановил? тихо ли там? — вот вопросы, которые шевелились в голове при воспоминании о Франции. «В Париж бы! — говорил я со вздохом,— пожить бы там, в этом омуте новостей, искусств, мод, политики, ума и глупостей, безобразия и красоты, глубокомыслия и пошлостей,— пожить бы эпикурейцем, насмешливым наблюдателем всех этих проказ!» «А вот Испания, с своей цветущей Андалузией,— уныло думал я, глядя в ту сторону, где дед указал быть испанскому берегу.— Севилья, caballeros [1] с гитарами и шпагами, женщины, балконы, лимоны и померанцы. Dahin [2] бы, в Гренаду куда-нибудь, где так умно и изящно путешествовал эпикуреец Боткин, умевший вытянуть до капли всю сладость испанского неба и воздуха, женщин и апельсинов,— пожить бы там, полежать под олеандрами, тополями, сочетать русскую лень с испанскою и посмотреть, что из этого выйдет».

Но фрегат мчится — едва только дед успевает доносить начальству: 40, 38, 35 градусов, параллель— Сан-Винцента, Кадикса... Прощай, Испания, прощай, Европа! Прощайте, друзья мои! увижу ли я вас? Дойдут ли когда-нибудь до вас эти строки, которые пишу, точно под шум столетней дубровы, хотя под южным, но еще серым небом, пишу в теплом байковом пальто? Далеко, кажется, уехал я, но *чую* еще север *смущенной* душой, до меня еще доносится дыхание его зимы, вижу его колорит на воде и небе. Я как будто близко. Я не вижу ни голубого неба, ни синего моря. Шум, холод и соленые брызги — вот пока моя сфера!

18-го января, в осьмой день по выходе из Англии, часов в 9 утра, кто-то постучался ко мне в дверь. «Кто там?» — спросил я. «Я»,— послышался ответ. «А! это вы, милый мой сосед?» — «Что вы делаете?» — спросил он. «Что?» — отвечал я вопросом, как Фаддеев. «Верно, лежите?» — «Почти...» — сказал я, ба-

---

[1] кабальеро *(испанск.)*.
[2] Туда *(немецк.)*.

рахтаясь от качки в постели, одолеваемый подушками. «Стыдитесь!» — «Я и то стыжусь, да что ж мне делать?» — говорил я, унимая подушки и руками и ногами. «Мадера видна».— «Что вы? Фаддеев, Фаддеев!» — закричал я. Он вошел. «Что ж ты нейдешь будить меня? Мадера видна?» — спросил я, думая, не подшутил ли надо мной сосед. «Мадера?» — спросил Фаддеев, глядя на меня так тонко, как дай бог хоть какому дипломату. «Ну да?» — сказал я с нетерпением. Он стал смотреть на стену с обычным равнодушием.«Берег виден,—отвечал он, помолчав,— уж с седьмого часа».— «Что ж ты не пришел мне сказать?»— упрекнул я его. «Воды горячей не было — бриться,— отвечал он,— да и сапоги не чищены».— «Ну, давай, давай одеваться! Что там наверху?» — «Господи! как тепло, хорошо ходить-то по палубе: мы все сапоги сняли»,— отвечал он с своим равнодушием, не спрашивая ни себя, ни меня и никого другого об этом внезапном тепле в январе, не делая никаких сближений, не задавая себе задач... «Господи! — отвечал я,— как тебе, должно быть, занимательно и путешествовать и жить на свете, младенец с исполинскими кулаками! Живо, живо, одеваться!» — прибавил я. «Успеешь,ваше высокоблагородие,— отвечал он,— вот — на, прежде умойся!» Я боялся улыбнуться: мне жаль было портить это костромское простодушие европейской цивилизацией, тем более что мы уже и вышли из Европы и подходили... к Костроме, в своем роде.

Я вышел на палубу. Что за картина! Вместо уродливых бугров с пеной и брызгами — крупная, но ровная зыбь. Ветер не режет лица, а играет около шеи, как шелковая ткань, и приятно щекочет нервы; солнце сильно греет. Перед глазами, в трех милях, лежит масса бурых холмов, один выше другого; разнообразные глыбы земли и скал, брошенных в кучу, лезут друг через друга все выше и выше. Одна скала как будто оторвалась и упала в море отдельно: под ней свод насквозь. Все казалось голо, только покрыто густым мхом. Но даль обманывала меня: это не мох, а целые леса; нигде не видать жилья. Холмы, как пустая декорация, поднимались из воды и, кажется, грозили рухнуть, лишь только подойдешь ближе. Налево виден был, но довольно далеко, *Порто-Санто*, а еще дальше — *Дезертос*, маленькие островки, или, лучше сказать, скалы. Дед пальцем показывал рулевым, как держать в пролив между ними. Мы еще были с боку Мадеры. Лицом она смотрела к югу. Стали огибать угол...

*18 января.* Как прекрасна жизнь, между прочим и потому, что человек может путешествовать! Cogito ergo sum [1] — путешествую, следовательно наслаждаюсь, перевел я на этот раз

[1] Я мыслю, следовательно существую (*лат.*).

знаменитое изречение, поднимаясь в носилках по горе и упиваясь необыкновенным воздухом, не зная, на что смотреть: на виноградники ли, на виллы, или на синее небо, или на океан. Мне казалось, что я с этого утра только и начал путешествовать, что судьба нарочно послала нам грозные, тяжелые и скучные испытания, крепкий, семь дней без устали свирепствовавший холодный ветер и серое небо, чтоб живее тронуть мягкостью воздуха, теплым блеском солнца, нежным колоритом красок и всей этой гармонией волшебного острова, которая связует здесь небо с морем, море с землей — и всё вместе с душой человека.

Когда мы обогнули восточный берег острова и повернули к южному, нас ослепила великолепная и громадная картина, которая как будто поднималась из моря, заслонила собой и небо и океан, одна из тех картин, которые видишь в панораме, на полотне и не веришь, приписывая обольщению кисти. Группа гор тесно жалась к одной главной горе — это первая большая гора, которую увидели многие из нас, и то она помещена в аристократию гор не за высоту, составляющую всего около 6000 футов над уровнем моря, а за свое вино. Но нам, особенно после низменных и сырых берегов Англии, гора показалась исполином. И как она была хорошо убрана! На вершине белелся снег, а бока покрыты темною, местами бурою растительностью; кое-где ярко зеленели сады. В разных местах по горам носились облака. Там белое облако стояло неподвижно, как будто прильнуло к земле, а там раскинулось по горе другое, тонкое и прозрачное, как кисея, и сеяло дождь: гора опоясывалась радугами. В одном месте кроется целый лес в темноте, а тут вдруг обольется ярко лучами солнца, как золотом, крутая окраина с садами. Не знаешь, на что смотреть, чем любоваться; бросаешь жадный взгляд всюду и не поспеваешь следить за этой игрой света, как в диораме.

По скату горы шли виноградники, из-за зелени которых выглядывали виллы. На полгоре, на уступе, видна церковь, господствующая над садами и над городом. Город Фунчал... Ужели это город: эти белеющие внизу у самой подошвы, на берегу, домы, как будто крошки сахара или отвалившейся откуда-то штукатурки? Чем ближе подвигались мы к берегу, тем становилось теплее. Чувствуешь чье-то близкое горячее дыхание на лице. Горы справа, слева утесами спускались к берегу. На одном из них, слева от города, поставлена батарея. Внизу, под боком другого утеса пробирался к рейду купеческий корабль. Мы навели зрительные трубы на него. Корабль был буквально покрыт, почти задавлен пассажирами, все эмигрантами, едущими из Европы в Америку или Австралию. Ну, дай бог им счастливо добраться! Нам показалось, что их там более трехсот человек. Как они помещаются?.. Все они вышли смотреть берег.

Гавани на Мадере нет, и рейд ее неудобен для судов, потому что нет глубины, или она, пожалуй, есть, и слишком большая, оттого и не годится для якорной стоянки: недалеко от берега — 60 и 50 сажен; наконец, почти у самой пристани, так что с судов разговаривать можно, — все еще пятнадцать сажен. Военные суда мало становятся здесь на якорь, а купеческие хотя и останавливаются, но, чуть подует ветер с юга, они уходят на северную сторону, а от северных ветров прячутся здесь. Мы остановились здесь только затем, чтоб взять живых быков и зелени, поэтому и решено было на якорь не становиться, а держаться на парусах в течение дня; следовательно, остановка предполагалась кратковременная, и мы поспешили воспользоваться ею. Судно наше не в первый раз видело эти берега. Несколько лет назад оно было здесь и зимовало в Лиссабоне.

Нас окружили шлюпки всяких величин и форм. Приехал капитан над портом поздравить с благополучным прибытием и осведомиться о здоровье плавателей. Кажется, чего учтивее? А скажите-ка, что вы нездоровы, что у вас, например, человек двадцать — тридцать больных лихорадкой, так вас очень учтиво попросят не съезжать на берег и как можно скорее удалиться. Привезли апельсинов, еще чего-то; приехала прачка, трактирщица; все совали нам в руки свои адресы, и я опустил в карман своего пальто еще две карточки, к дюжинам прочих, приобретенных в Англии. Их так много накопилось в карманах всех платьев, что лень было заняться побросать их за борт. «В другое время, nur nicht heute» [1], — думал я согласно с известным немецким двустишием. После всего этого отделилась от берега шлюпка под русским флагом. В ней сидел русский чиновник, в вицмундире министерства иностранных дел, с русским орденом в петлице. Это консул. Он узнал сейчас корабль, спросил, нет ли между плавателями старых знакомых, и пригласил нас несколько человек к себе на обед. Был час одиннадцатый утра, когда мы сели в консульскую шлюпку. Гребцы, все португальцы, одетые очень картинно, в белых спенсерах с отложными воротниками, в маленьких, едва покрывающих темя, красных или синих шапочках, но без обуви. Шея и грудь открыты; все почти с бородами, но без усов, и большею частью рослый, красивый народ.

Я, бывало, с большой недоверчивостью читал в путешествиях о каких-то необыкновенных запахах, которые доносятся, с берега за версту, до носов мореплавателей. Я думал, что эти запахи присутствовали в носовых платках путешественников, франтов эпохи Людовиков XIV и XV, когда прыскались духами до обморока. Но вот в самом деле мы еще далеко были от берега, а на нас повеяло теплым, пахучим воздухом, смесью ананасов, гвоздики, как мне казалось, и еще чего-то. Кто-то

---

[1] только не сегодня (*немецк.*).

из нас, опытный в деле запахов, решил, что пахнет гелиотропом. Вместе с запахом доносились звуки церковного колокола, потом музыки. А декорация гор все поминутно менялась: там, где было сейчас свежо, ясно, золотисто, теперь задернуто точно флером, а на прежнем месте, на высоте, вдруг озарились бурые холмы опаленной солнцем пустыни: там радуга.

Вглядываясь в новый, поразительный красотой берег, мы незаметно очутились у пристани, или, виноват, ее нет — ну там, где она должна быть. Шлюпки не пристают здесь, а выскакивают с бурунами на берег, в кучу мелкого щебня. Гребцы, засучив панталоны, идут в воду и тащат шлюпку до сухого места, а потом вынимают и пассажиров. Мы почти бегом бросились на берег по площади, к ряду домов и к бульвару, который упирается в море.

Как приятно расправить ноги после многодневного плавания! Походка еще неверна, надо несколько минут привыкать ходить, отвыкнешь и устаешь сразу.

На бульваре, под яворами и олеандрами, стояли неподвижно три человеческие фигуры, гладко обритые, с синими глазами, с красивыми бакенбардами, в черном платье, белых жилетах, в круглых шляпах, с зонтиками, и с пронзительным любопытством смотрели то на наше судно, то на нас. Нужно ли называть их? И тут они? Мало еще мы видели их! Лучшие домы в городе и лучшие виноградники за городом принадлежат англичанам. Пусть бы так; да зачем сами-то они здесь? Как неприятно видеть в мягком воздухе, под нежным небом, среди волшебных красок эти жесткие явления! Но мы развлечены были разнообразием других предметов. Музыка, едва слышная на рейде, раздавалась громко из одного длинного здания — казарм, как сказал консул: музыканты учились. Мы пошли по улицам, расположенным амфитеатром, потому что гора начинается прямо от берега. Однако идти по мостовой не совсем гладко: она вся состоит из небольших, довольно острых каменьев: и сквозь подошву чувствительно. В домах жалюзи наглухо опущены от жара; домы очень просты, в два этажа и в один; многие окружены каменным забором. Везде видны сады, зелень, плющи; даже мостовая поросла мелкой травой.

Но отчего на улицах мало деятельности? Толпа народа гуляет праздно; все нарядно одеты. На юге вообще работать не охотники; но уж так лениться, что нигде ни признака труда,— это из рук вон. «Сегодня воскресенье, оттого и магазины заперты»,— сказал консул, который шел тут же с нами. Не помню, кто-то из путешественников говорил, что город нечист,— неправда, он очень опрятен, а белизна стен и кровель придают ему даже более нежели опрятный вид. Грязи здесь, под этим солнцем, быть не может. По словам консула, здесь никогда более трех дней дурной погоды не бывает, и то немного вспрыс-

нет дождь, прогремит гром — и снова солнце заиграет над островом. Да оно и не прячется никогда совершенно, и мы видели, что оно в одном месте светит, в другом на полчаса скроется. Оссиановской [1], сырой и туманной, погоды здесь не бывает.

Пока мы шли к консулу, нас окружила толпа португальцев, очень пестрая и живописная костюмами, с смуглыми лицами, черными глазами, в шапочках, колпаках или просто с непокрытой головой, красавцев и уродов, но больше красавцев. Между уродами немало видно обезображенных оспой. Есть и негры, но немного. Все они, на разных языках, больше по-французски и по-английски, очень плохо на том и другом, навязывались в проводники. «Вот госпиталь, вот казармы»,— говорил один, «это церковь такая-то»,— перебивал другой, «а это дом русского консула»,— добавил третий. Мы туда и повернули, и обманутые проводники вдруг замолчали.

Небольшой каменный дом консула спрятался за каменную же стену, между чистым двором и садом. Консул, родом португалец, женат на второй жене, португалке, очень молодой, черноглазой, бледной, тоненькой женщине. Он представил нас ей, но, к сожалению, она не говорила ни на каком другом языке, кроме португальского, и потому мы только поглядели на нее, а она на нас. Консул говорил по-английски и немного по-французски. Ему лет за 50. От первой жены у него есть взрослый сын, которого он обещал показать нам за обедом. Нас ввели почти в темную гостиную; было прохладно, но подняли жалюзи, и в комнату хлынул свет и жар. Из окон прекрасный вид вниз, на расположенные амфитеатром по берегу домы и на рейд. Но мы только что ступили на подошву горы: дом консула недалеко от берега — прекрасные виды еще были вверху.

Поговорив немного с хозяином и помолчав с хозяйкой, мы объявили, что хотим гулять. Сейчас явилась опять толпа проводников и другая с верховыми лошадьми. На одной площадке, под большим деревом, мы видели много этих лошадей. Трое или четверо наших сели на лошадей и скрылись с проводниками. Консул предложил, не хочу ли я, мне приведут также лошадь, или не предпочту ли я паланкин. «В паланкине было бы покойнее»,— сказал я. Консул не успел перевести оставшейся с нами у ворот толпе моего ответа, как и эта толпа бросилась от нас и исчезла. Консул извинился, что не может провожать нас в горы: «Там воздух холоден,— сказал он,—

---

[1] В конце XVIII века пользовались популярностью романтические поэмы английского поэта Джемса Макферсона (1736—1796), которые он выдавал за произведения легендарного кельтского барда (поэта) Оссиана, жившего, по преданию, в III веке на юге Ирландии. Действие в них происходит на фоне сурового северного пейзажа — бурного моря, тумана...

теперь зима, и я боюсь за себя. Вам советую надеть пальто»,— прибавил он, но я оставил пальто у него в доме. Зима! хороша зима: по улице жарко идти, солнце пропекает спину чуть не насквозь. «Не опоздайте же к обеду: в 4 часа!» — кричал мне консул, когда я, в ожидании паланкина, пошел по улице пешком. За мной увязались идти двое мальчишек; один болтал по-французски, то есть исковеркает два слова французских да прибавит три португальских; другой то же делал с английским языком. Однако ж мы как-то понимали друг друга.

Я не торопился на гору: мне еще ново было все в городе, где на всем лежит яркий, южный колорит. И тут солнце светит не по-нашему, как-то румянее; тени оттого все резче, или уж мне так показалось после продолжительной дурной погоды. Из-за заборов выглядывает не наша зелень. Везде по стенам и около окон фестоном лепится бесконечный плющ да целая ширма широколиственного винограда. Местами видны, поверх заборов, высокие стройные деревья, с мелкою зеленью, это — мирты и кипарисы. Народ, не похожий на наш, северный: всё смуглые лица да резкие, подвижные черты. А вот вдруг вижу, однако ж, что-то очень северное, будто сани. Что за странность: экипажи на полозьях, из светлого, кажется ясневого или пальмового, дерева; на них места, как в кабриолете. Запряжены эти сани парой быков, которые, разумеется шагом, тащат странный экипаж по каменьям. В экипаже сидит семейство: муж с женой и дети. «Стало быть, колясок и карет здесь нет,— заключил я,— мало места, и ездить им на гору круто, а по городу негде». Ездят верхом и в носилках. Мимо меня проскакала, на небольшой красивой лошадке, плотная барыня, вся в белой кисее, в белой шляпе; подле, держась за уздечку, бежал проводник. И наши поехали с проводниками, которые тоже бежали рядом с лошадью, да еще в гору — что же у них за легкие? Другую барыню быстро пронесли мимо меня в паланкине. Так вот он, паланкин! Это маленькая повозочка или колясочка, вроде детских, обитая какой-нибудь материей, обыкновенно ситцем или клеенкой. К крышке ее приделана посредине толстая жердь, которую проводники кладут себе на плечи. Я все шел пешком, и двое мальчишек со мной. В домах иногда открывались жалюзи; из-за них сверкал чей-то глаз, и потом решетка снова захлопывалась. Это какой-нибудь сонный португалец или португалка, услышав звонкие шаги по тихой улице, на минуту выглядывали, как в провинции, удовлетворить любопытству и снова погружались в дремоту сьесты [1]. Дальше опять я видел важно шагающего англичанина, в белом галстуке, и если не с зонтиком, так с тростью. Там, должно быть у шинка, толчется кучка народу. Но все тихо:

---

[1] полуденного отдыха (от *испанск.* siësta).

по климату — это столица мира; по тишине, малолюдству и образу жизни — степная деревня.

Слышу топот за собой. За мной мчится паланкин; проводники догнали меня и поставили носилки на землю. Напрасно я упрашивал их дать мне походить; они схватили меня с криком за обе руки и буквально упрятали в колыбель. Мне было как-то неловко, совестно ехать на людях, и я опять было выскочил. Они опять стали бороться со мной и таки посадили, или, лучше сказать, положили, потому что сидеть было неловко. «А что ж, ничего! — думал я,— мне хорошо, как на диване; каково им? Пусть себе несут, коли есть охота!» Я ожидал, что они не поднимут меня, но они, как ребенка, вскинули меня с паланкином вверх и помчали по улицам. А всего двое: но зато что за рослый, красивый народ! как они стройны, мужественны на взгляд! Из-за отстегнутого воротника рубашки глядела смуглая и крепкая грудь. Оба, разумеется, черноглазые, черноволосые, с длинными бородами. Скоро мы стали подниматься в гору; я думал, тут устанут они, но они шли скорым шагом. Однако ж лежать мне надоело: я привстал, чтоб сесть и смотреть по сторонам. Преширокая ладонь подкралась сзади и тихонько опрокинула меня опять на спину. «Это что?» Я опять привстал, колыбель замоталась и пошла медленнее. Опять та же ладонь хочет опрокидывать меня. «Я сидеть хочу, goddam!»[1] — закричал я. Они объяснили, что им так неловко нести, тяжело... «А, тяжело? мне что за дело: взялись, так несите». Но чуть я задумывался, ладонь осторожно пыталась, как будто незаметно от меня самого, опрокинуть меня. Мне надоело это, и я пошел пешком. «Зима — хороша зима!» — думал я, скидая жакетку. А консул советовал еще надеть пальто, говорил, что в горах воздух холоден. Как не холоден — печет!

Проводники вдруг остановились у какого-то домика, что-то крикнули, и нам вынесли кружки три вина. Подают и мне — как не попробовать: ведь это мадера, еще и прямо из источника! Точно, мадера; но что за дрянь! должно быть, молодое вино. Я отдал кружку назад. Проводники поклонились мне и мгновенно осушили свои кружки, а двое мальчишек, которые бежали рядом с паланкином и на гору, выпили мою. Все это, конечно, на мой счет, потому что, подав кружки, португалец обратился ко мне с словами: «One shilling, signor» [2]. Из-за забора выглядывала виноградная зелень, но винограда уже не было ни одной ягоды: он весь собран давно. Меня понесли дальше; с проводников ручьями лил пот. «Как же вы пьете вино, когда и так жарко?» — спросил я их с помощью мальчишек и посредством трех или четырех языков. «Вино-то и помогает: без него устали бы»,— отвечали они, и, вероятно

---

[1] черт возьми! (*англ.*)

[2] Один шиллинг, синьор (*англ.*).

на основании этой гигиены, через полчаса остановились на горе у другого виноградника и другой лавочки и опять выпили.

Тут на дверях висела связка каких-то незнакомых мне плодов, с виду похожих на огурцы средней величины. Кожа, как на бобах — на иных зеленая, на других желтая. «Что это такое?» — спросил я. «Бананы»,— говорят. «Бананы! тропический плод! Дайте, дайте сюда!» Мне подали всю связку. Я оторвал один и очистил — кожа слезает почти от прикосновения; попробовал — не понравилось мне: пресно, отчасти сладко, но вяло и приторно, вкус мучнистый, похоже немного и на картофель, и на дыню, только не так сладко, как дыня, и без аромата или с своим собственным, каким-то грубоватым букетом. Это скорее овощь, нежели плод, и между плодами он — parvenu [1]. Я заплатил шиллинг и пошел к носилкам; но хозяин лавочки побежал за мной и совал мне всю связку. «Не надо!» — сказал я. «Вы заплатили за всю, signor! так надо»,— говорил он и положил связку в носилки.

Мы поднимались все выше; дорога шла круче. «Что это такое?» — спрашивал я, часто встречая по сторонам прекрасные сады с домами. «English garden» (английский сад),— говорили проводники. На лучших местах везде были english garden. Я входил в ворота, и глаза разбегались по прекрасным аллеям тополей, акаций, кипарисов. В тени зелени прятались домы изящной архитектуры, с галереями, верандами, со всеми затеями барской роскоши; тут же были и их виноградники. Англичане здесь господа; лучшее вино идет в Англию. Между португальскими торговыми домами мало богачей. Наш консул считается значительным виноторговцем, но он живет очень скромно в сравнении с британскими негоциантами. Они торгуют не одним вином. По просьбе консула, несмотря на воскресенье, нам отперли один магазин, лучший на всем острове, и этот магазин — английский. Чего в нем нет! английские иглы, ножи и прочие стальные вещи, английские бумажные и шерстяные ткани, сукна; их же бронза, фарфор, ирландские полотна. Сожалеть ли об этом, или досадовать — право, не знаю. Оно досадно, конечно, что англичане на всякой почве, во всех климатах пускают корни и всюду прививаются эти корни. Еще досаднее, что они носятся с своею гордостью, как курица с яйцом, и кудахтают на весь мир о своих успехах; наконец еще более досадно, что они не всегда разборчивы в средствах к приобретению прав на чужой почве, что берут, чуть можно, посредством английской промышленности и английской юстиции; а где это не в ходу, так вспоминают средневековый фаустрехт — все это досадно из рук вон. Но зачем не сказать и правды? Не будь их на Мадере, гора не возделывалась бы так деятельно, не была бы застроена такими изящными виллами, да

[1] выскочка (*франц.*).

и дорога туда не была бы так удобна; народ этот не одевался бы так чисто по воскресеньям. Не даром он говорит по-английски: даром южный житель не пошевелит пальцем, а тут он шевелит языком, да еще по-английски. Англичанин дает ему нескончаемую работу и за все платит золотом, которого в Португалии немного. Конечно, в другом месте тот же англичанин возьмет сам золото, да еще и отравит, как в Китае, например... Но теперь не о Китае речь.

На одной вилле, за стеной, на балконе, я видел прекрасную женскую головку: она глядела на дорогу, но так гордо, с таким холодным достоинством, что неловко и нескромно было смотреть на нее долго. Голубые глаза, льняные волосы: должно быть, мисс или леди, но никак не синьора. Однако я устал идти пешком и уже не насильно лег в паланкин, но вдруг вскочил опять: подо мной что-то было: я лег на связку с бананами и раздавил их. Я хотел выбросить их, но проводники взяли, разделили поровну и съели. Мы продолжали подниматься по узкой дороге между сплошными заборами по обеим сторонам. Кое-где между зелени выглядывали цветы, но мало. А зима, говорит консул. Хороша зима: олеандр в цвету!

Вдруг в одном месте мы вышли на открытую со всех сторон площадку. Португальцы поставили носилки на траву. «Bella vischta, signor!» — сказали они. В самом деле, прекрасный вид! Описывать его смешно. Уж лучше снять фотографию: та по крайней мере передаст все подробности. Мы были на одном из уступов горы, на половине ее высоты... и того нет: под ногами нашими целое море зелени, внизу город, точно игрушка; там чуть-чуть видно, как ползают люди и животные, а дальше вовсе не игрушка — океан; на рейде опять игрушки — корабли, в том числе и наш.

Не хотелось уходить оттуда, а пора, да и жарко. Но я все стоял. «Bella vischta!» — сказал я португальцам и потом прибавил grazia — не зная, как сказать им «благодарю». Они поклонились мне, значит поняли. Можно снять посредством дагерротипа, пожалуй, и море, и небо, и гору с садами, но не нарисуешь этого воздуха, которым дышит грудь, не передашь его легкости и сладости. Много рассказывают о целительности воздуха Мадеры: может быть, действие этого воздуха на здоровье заметно по последствиям; но сладостью, которой он напитан, упиваешься, лишь только ступишь на берег. Я дышал, бывало, воздухом нагорного берега Волги и думал, что нигде лучше не может быть. Откроешь утром в летний день окно, и в лицо дунет такая свежая, здоровая прохлада. На Мадере я чувствовал ту же свежесть и прохладу волжского воздуха, который пьешь, как чистейшую ключевую воду, да, сверх того, он будто растворен... мадерой, скажете вы? Нет, тонкими ароматами этой удивительной почвы, питающей северные деревья и цветы рядом с тропическими, на каждом клочке земли

в несколько сажен, и не отравляющей воздуха никаким ядовитым дыханием жаркого пояса. В этом состоит особенность и знаменитость острова.

Кажется, ни за что не умрешь в этом целебном, полном неги воздухе, в теплой атмосфере, то есть не умрешь от болезни, а от старости разве, и то когда заживешь чужой век. Однако здесь оканчивает жизнь дочь бразильской императрицы, сестра царствующего императора. Но она прибегла к целительности здешнего воздуха уже в последней крайности, как прибегают к первому знаменитому врачу — поздно: с часу на час ожидают ее кончины. Португальцы с выражением глубокого участия сказывали, что принцесса — «sick, very sick» (очень плоха) и сильно страдает. Она живет на самом берегу, в красивом доме, который занимал некогда блаженной памяти е. и. в. герцог Лейхтенбергский. Капитан над портом, при посещении нашего судна, просил не салютовать флагу, потому что пушечные выстрелы могли бы потревожить больную.

Хороша зима! А кто ж это порхает по кустам, поет? Не наши ли летние гостьи? А там какие это цветы выглядывают из-за забора? Бывают же такие зимы на свете!

Меня понесли с горы другою дорогою, или, лучше сказать, тропинкою, извилистою, узенькою, среди неогороженных садов и виноградников, между хижин. Во всю дорогу в глазах была та же картина, которую вытеснят из памяти только такие же, если будут впереди. Нам попадались всё рослые португальцы. Женщины, особенно старые, повязаны платками, и в этом наряде — точь-в-точь наши деревенские бабы. Мы опять остановились у виноградника; это было уже в третий и, как я объявил, в последний раз. Четвертый час — надо было торопиться к обеду. В небольшом домике, или сарае с скамьями, был хозяин виноградника или приказчик; тут же были две женщины. Мне бросилась в глаза красота одной, южная и горячая. Она была высокого роста, смугла, с ярким румянцем, с большими черными глазами и с косой, которая, не укладываясь на голове, падала на шею,— словом, как на картинах пишут римлянок. Другую я едва заметил, хотя она беспрестанно болтала и смеялась. Она была... старуха.

Прежде нежели я сел на лавку, проводники мои держали уже по кружке и пили. «А signor не хочет вина?» — спросил хозяин. Я покачал головой. «А за здоровье синьоры?» — спросил он, заметив, что я пристально изучаю глазами красавицу. «Вино это нехорошо; красавица лучше стоит»,— сказал я. Едва мальчишки перевели ему это, как он вышел вон и вскоре воротился с кружкой другого вина. Он с гордостью и уверенностью подал мне кружку и что-то сказал, чего я не понял. Я поклонился красавице и попробовал. «Да, это не то вино, что подавали проводникам: это положительно хорошая мадера». Я с удовольствием выпил глотка два и передал кружку кра-

савице. Она отпила немного, но я сделал ей знак, чтоб она продолжала; она смеялась и отговаривалась; хозяин сказал что-то, и она кончила кружку. «А за эту?» — сказали проводники. Я обернулся: старуха сидела уже подле меня. Принесли и еще кружку; я опять попробовал за здоровье старой португалки. Благодарностям не было конца. Все вышли меня провожать, и хозяин и женщины, награждая разными льстивыми эпитетами.

Мы быстро спустились в город, промчались мимо домов, нескольких отелей, между прочим французского, через площадь. На дороге перегнали меня наши спутники верхом. По дороге пришлось проходить через рынок. Он живо напомнил мне сцену из «Фенеллы»: [1] такая же толпа мужчин и женщин, пестро одетых, да еще вдобавок были тут негры, монахи; все это покупает и продает. Рынок заставлен корзинами с фруктами, с рыбой; тут стоймя приставлены к дверям лавок связки сахарного тростника, который режут кусками и продают простому народу как лакомство. Везде лежат кучи зелени, овощей. Вдруг вижу знакомое лицо: это наш спутник, который закупает провизию. Но отчего у него постное лицо? Меня поднесли к нему. «Ах, это вы?» — сказал он, прищурясь и вглядываясь в меня. «А это вы? — сказал я, — что вы так невеселы?» — «Да вот поглядите, — отвечал он, указывая на быка, которого я в толпе народа и не заметил, — что это за бык? В Англии собаки больше: и десяти пудов нет». — «Ну, пойдемте к консулу обедать, — сказал я, — и попробуем, каковы эти быки на вкус». Он вздохнул, и мы отправились. Быки здесь в самом деле мелки, но говядина очень хороша.

На дворе у консула оба носильщика, спустив меня с носилок, протянули ко мне руки, а за ними мальчишки. «Сколько они просят?» — спросил я у консула, который смотрел в окно. Он поговорил с ними. «Дорого просят: три доллара, — сказал он. — Как далеко вы были? где?» Но почем я знал, где я был? Я отдал ему фунт стерлинг и просил заплатить и носильщикам и мальчишкам. Получив деньги, мальчишки быстро скрылись со двора, а носильщики протянули опять руки. «Чего им?» — спросил я консула. «Пустое, не надо! — кричал консул, махая им рукой, — идите, идите! На водку еще просят. Не давайте...» — «Да они три раза взяли с меня натурою, — сказал я, — теперь вот...» Я бросил им по мелкой монете. Они быстро подобрали и с поклонами, быстрее мальчишек, исчезли со двора. А все на русского человека говорят, что просит на водку: он точно просит; но если поднесут, так он и не попросит; а жителю юга, как вижу теперь, и не поднесут, а он выпьет и все-таки попросит на водку.

---

[1] «Ф е н е л л а» («Немая из Портичи») — опера известного французского композитора Обера (1782—1871).

Я застал хозяйку в саду. С ней была пожилая дама, вся в черном, начиная с чепца до ботинок; и сама хозяйка тоже; они, должно быть, в трауре. Хозяйка представила меня старушке: «My mother» (матушка),— сказала она. Сад маленький, но чего тут не было? Кофейные деревья, бананы, ананасы, множество цветов. Хозяйка сорвала одну кофейную почку, открыла и показала нам внутри два уже сформировавшиеся кофейные зерна. «Как жаль, что теперь зима! — говорила она, а муж переводил,— ничего нет! Вот ананасы еще не поспели»,— и она указала на гряду известной вам зелени ананасов. «К десерту нечего подать. Одни только бананы!» Зима! Как жаль, что этакая зима! До какой степени могут избаловаться люди! «А это что? посмотрите-ка, ведь это наш зеленый лук!» — сказал Бутаков, сорвал пучок, и мы с ним отведали нашего северного плода.

Консул познакомил нас с сыном, молодым человеком лет двадцати с небольшим. Он только что воротился из Франции, где учился медицине. Я все думал, как обедают по-португальски, и ждал чего-нибудь своего, оригинального; но оказалось, что нынче по-португальски обедают по-английски: после супа на стол разом поставили ростбиф, котлеты и множество блюд со всякою зеленью — всё явления знакомые. В этом почти и состоял весь обед. Главным украшением его было вино и десерт. Вино, разумеется, мадера, красная и белая. И та и другая превосходного качества, особенно красная, как рубин, которая называется здесь тинто. Лучше, кажется, и не выдумаешь вина. Правда, я пил в Петербурге однажды вино, привезенное в подарок отсюда же, превосходное, но другого рода, из сладких вин, известное под названием мальвазимадеры. Красная мадера не имеет ни малейшей сладости; это капитальное вино и нам показалось несравненно выше белой, madeire secco [1], которую мы только попробовали, а на другие вина и не смотрели.

Десерт состоял из апельсинов, варенья, бананов, гранат; еще были тут, называемые по-английски кастард-эппльз (custard apples), плоды, похожие видом и на грушу и на яблоко, с белым мясом, с черными семенами. И эти были неспелые. Хозяева просили нас взять по нескольку плодов с собой и подержать их дня три-четыре и тогда уже есть. Мы так и сделали. Действительно, нет лучше плода: мягкий, нежный вкус, напоминающий сливочное мороженое и всю свежесть фрукта, с тонким ароматом. Плод этот, когда поспеет, надо есть ложечкой. Если не ошибаюсь, по-испански он называется *нона*. Обед тянулся довольно долго, по-английски, и кончился тоже по-английски: хозяин сказал спич, в котором изъявлял удовольствие, что второй раз уже угощает далеких и редких гостей, желал счастливого возвращения и звал вторично к себе.

[1] сухой мадеры (*испанск.)*.

Уже в сумерки простились мы с португальским семейством, оказавшим нам гостеприимство. Этот день, вырванный из береговой жизни, надолго разлил чувство удовольствия между нами. Внезапно развернувшаяся перед нами картина острова, жаркое солнце, яркий вид города, хотя чужие, но ласковые лица — все это было нежданным, веселым, праздничным мгновением и влило живительную каплю в однообразный, долгий путь. Я забыл о прошедших неудобствах и покойнее смотрел на будущие. Нигде человек не бывает так жалок, дерзок и по временам так внезапно счастлив, как на море. Хозяйка дала нам по букету цветов. Я сказал, что отошлю свой, в подарок от нее, русским женщинам. Она поверила и нарвала мне еще. Я только сел в шлюпку и пустил букет в море. «Что же это? как можно?» — закричите вы на меня... А что ж с ним делать? не послать же в самом деле в Россию. «В стакан поставить да на стол». Знаю, знаю. На море это не совсем удобно. «Так зачем и говорить хозяйке, что пошлете в Россию?» Что это за житье — никогда не солги!

Но пора кончить это письмо... Как? что?.. А что ж о Мадере: об управлении города, о местных властях, о числе жителей, о количестве выделываемого вина, о торговле: цифры, факты — где же все? Вправе ли вы требовать этого от меня? Ведь вы просили писать вам о том, что я сам увижу, а не то, что написано в ведомостях, таблицах, календарях. Здесь все, что я видел в течение 10-ти или 12-ти часов пребывания на Мадере. Жителей всех я не видел, властей тоже и даже не успел хорошенько посетить ни одного виноградника.

Когда мы сели в шлюпку, корабль наш был верстах в пяти; он весь день то подходил к берегу, то отходил от него. Теперь чуть видны были паруса. Ветер дул северный и довольно свежий, но ровный. Было тепло; северный холод не доносился до берегов Мадеры. Я глядел все назад, на остров; мне хотелось навсегда врезать его в память. Между тем темнота наступала быстро. Облака подвигались на высоту пика, потом вдруг обнажали его вершину, а там опять скрывали ее; казалось, надо было ожидать бури, но ничего не было: тучи только играли с горами. Я обернулся на Мадеру в последний раз: она вся закуталась, как в мантию, в облака, как будто занавес опустился на волшебную картину, и лежала далеко за нами темной массой; впереди довольно уже близко неслась на нас другая масса — наш корабль.

Я послал к вам коротенькое письмо с Мадеры, а это пошлю из первого порта, откуда только ходит почта в Европу; а откуда она не ходит теперь?

До свидания.

*Атлантический океан.*
*23 января 1853.*

## III

## ПЛАВАНИЕ В АТЛАНТИЧЕСКИХ ТРОПИКАХ

*Норд-остовый пассат. — Острова Зеленого Мыса. — С.-Яго и Порто-Прайя. — Северный тропик. — Тропическая зима. — Штилевая полоса.— Экватор. — Южный тропик и зюйд-остовый пассат. — Летучие рыбы и акулы. — Опять штили. — Масленица. — Образ жизни на фрегате. — Купанье.— Море и небо.*

(Письмо к В. Г. Бенедиктову)

В поэтическом и дружеском напутствовании [1] вы указали мне, Владимир Григорьевич, обогнуть земной шар. Я не обогнул еще и четверти, а между тем мне захотелось уже побеседовать с вами на необъятной дали, среди волн, на рубеже Атлантического, Южнополярного и Индийского морей, когда вокруг все спит, кроме вахтенного офицера, меня и океана. Мне хочется проверить, так ли далеко «слышен сердечный голос», как предсказали вы? К сожалению, это обстоятельство зависит более от исправности почт, нежели сердец наших.

Хотелось бы верно изобразить вам, где я, что вижу, но о многом говорят чересчур много, а сказать нечего; с другого, напротив, как ни бейся, не снимешь и бледной копии, разве вы дадите взаймы вашего воображения и красок. Я из Англии писал вам, что чудеса выдохлись, праздничные явления обращаются в будничные, да и сами мы уже развращены ранним и заочным знанием так называемых чудес мира, стыдимся этих чудес, торопливо стараемся разоблачить чудо от всякой поэзии, боясь, чтоб нас не заподозрили в вере в чудо или в младенческом влечении к нему: мы выросли и оттого предпочитаем скучать и быть скучными. Где искать поэзии? Одно анализи-

[1] В послании к И. А. Гончарову, напечатанном в полном собрании стихотворений Бенедиктова. (*Прим. И. А. Гончарова.*)

ровано, изучено и утратило прелесть тайны, другое прискучило, третье оказалось ребячеством. Куда же делась поэзия и что делать поэту? Он как будто остался за штатом. Надеть ли поэзию, как праздничный кафтан, на современную идею, или по-прежнему скитаться с ней в родимых полях и лесах, смотреть на луну, нюхать розы, слушать соловьев, или, наконец, идти с нею сюда, под эти жаркие небеса? Научите.

Для меня путешествие имеет еще пока не столько прелесть новизны, сколько прелесть воспоминаний. Проходя практически каждый географический урок, я переживаю угасшее, некогда страстное впечатление, какое рождалось с мыслью о далеких странах и морях, и будто переживаю детство и юность. Но подчас бывает досадно. Вот морская карта: она вся испещрена чертами, точками, стрелками и надписями. «В этой широте,— говорит одна надпись,— в таких-то градусах, ты встретишь такие ветры», и притом показаны месяц и число. «Там около этого времени попадешь в ураган»,— далее сказано тоже, как и выйти из него, «а там иди по такой-то параллели, попадешь в муссон, который донесет тебя до Китая, до Японии». Далее еще лучше: «В таком-то градусе увидишь в первый раз акул, а там летучую рыбу» — и точно увидишь. «В 38° ю. ш. и 75° в. д. сидят, сказано, птицы».— «Ну,— думаю,— уж это вздор: не сидят же они там» — и стал следить по карте. Я просил других дать себе знать, когда придем в эти градусы. Утром однажды говорят мне, что пришли: я взял трубу и различил на значительном пространстве черные точки. Подходим ближе: стая морских птиц колыхается на волнах. Наконец написано, что в атлантических тропиках термометр не показывает более 23° по Реомюру в тени. И точно не показывает.

Одно только не вошло в Реперовы таблицы, не покорилось никаким выкладкам и цифрам, одного только не смог никто записать на карте...

Но дайте договориться до этих чудес по порядку, как я доехал до них.

Я писал вам, как я был очарован островом (и вином тоже) Мадеры. Потом, когда она скрылась у нас из вида, я немного разочаровался. Что это за путешествие на Мадеру? От Испании рукой подать, всего каких-нибудь миль триста! Это госпиталь Европы.

Но вот стали выходить из тридцатых градусов: все теплее и теплее. «Пар костей не ломит»,— выдумали поговорку у нас; но эта поговорка заключает отрицательную похвалу теплу от печки, которая, кроме тепла, ничего и не дает организму. А солнечное, и притом здешнее тепло! Боже мой! что оно делает с человеком? как облегчит от всякой нравственной и физической тягости! точно снимет ношу с плеч и с головы, даст свободу дыханию, чувству, мысли... И так целые многие дни и ночи! Долго мы не выйдем из магического круга этого

голубого, вечно сияющего лета. Подумайте, года два все будет лето: сколько в этой перспективе уместится тех коротких мгновений, которые мы, за исключением холода, дождей и туманов, насчитаем в нашем северном миньятюрном лете! «Дед, где мы теперь?» — спросил я однажды. «Я уж вам три раза сегодня говорил; не стану повторять»,— ворчит он; потом, по обыкновению, скажет. «Пойдемте,— говорит, таща меня за рукав на ют,— вон это что? глядите!..» — «Облако».— «Как не облако! посмотрите хорошенько: ну, что?» — «Туча».— «Эх вы, туча! Какая туча? остров Пальма».— «Что вы! Канарские острова!» — «Как же вы не видите?» — «Что ж делать, если здесь облака похожи на берега, а берега на облака. Где же Тенериф?» — спрашиваю я, пронзая взглядом золотой туман и видя только бледно-синий очерк «облака», как казалось мне. «Не увидим,— говорит дед,— мы у него на параллели, только далеко».— «Зайдем в Санта Круц?» — «Опять зайти: часто будет! Эдак никогда не доберемся до Японии».— «А под каким градусом лежит Пальма?» — «Подите посмотрите сами на карте». Я не пошел, зная, что он скажет. И в самом деле сказал. «Под 27°. Ведь с вами же вчера целый час толковали».— «Забыл».—«Как же я-то не забываю?» — «На то вы дед. Да что это, пассат, что ли, дует?» — спросил я, а сам придержался за снасть, потому что время от времени покачивало. «Кто его знает? не разберешь! — ворчал дед.— Рано бы, кажется, а похож. Вот подождем денька два-три».

Но денька два-три прошли, перемены не было: тот же ветер нес судно, надувая паруса и навевая на нас прохладу. По-русски приличнее было бы назвать пассат вечным ветром. Он от века дует одинаково, поднимая умеренную зыбь, которая не мешает ни читать, ни писать, ни думать, ни мечтать. Переход от качки и холода к покою и теплу был так ощутителен, что я с радости не читал и не писал, позволял себе только мечтать — о чем? о Петербурге, о Москве, о вас? Нет, сознаюсь, мечты опережали корабль. Индия, Манила, Сандвичевы острова — все это вертелось у меня в голове, как у пьяного неясные лица его собеседников.

22 января Л. А. Попов, штурманский офицер, за утренним чаем сказал: «Поздравляю: сегодня в восьмом часу мы пересекли северный тропик».— «А я ночью озяб»,— заметил я. «Как так?» — «Так, взял да и озяб: видно, кто-нибудь из нас охладел, или я, или тропики. Я лежал легко одетый под самым люком, а «ночной зефир струил эфир» прямо на меня».

«Ну, что море, что небо? какие краски там? — слышу я ваши вопросы.— Как всходит и заходит заря? как сияют ночи? Все прекрасно — не правда ли?» — «Хорошо, только ничего особенного: так же, как и у нас в хороший летний день... Вы хмуритесь? А позвольте спросить: разве есть что-нибудь не прекрасное в природе? Отыщите в сердце искру любви

к ней, подавленную гранитными городами, сном при свете солнечном и беготней в сумраке и при свете ламп, раздуйте ее и тогда попробуйте выкинуть из картины какую-нибудь некрасивую местность. По крайней мере со мной, а с вами, конечно, и подавно, всегда так было: когда фальшивые и ненормальные явления и ощущения освобождали душу хоть на время от своего ига, когда глаза, привыкшие к стройности улиц и зданий, на минуту, случайно, падали на первый болотный луг, на крутой обрыв берега, всматривались в чащу соснового леса с песчаной почвой: как полюбишь каждую кочку, песчаный косогор и поросшую мелким кустарником рытвину! Все находило почетное место в моей фантазии, все поступало в капитал тех материалов, из которых слагается нежная, высокая, артистическая сторона жизни. Раз напечатлевшись в душе, эти бледные, но полные своей задумчивой жизни образы остаются там до сей минуты, нужды нет, что рядом с ними теснятся теперь в душу такие праздничные и поразительные явления.

Нужно ли вам поэзии, ярких особенностей природы — не ходите за ними под тропики: рисуйте небо везде, где его увидите, рисуйте с торцовой мостовой Невского проспекта, когда солнце, излив огонь и блеск на крыши домов, протечет чрез Аничков и Полицейский мосты, медленно опустится за Чекуши; когда небо как будто задумается ночью, побледнеет на минуту и вдруг вспыхнет опять, как задумывается и человек, ища мысли: по лицу на мгновенье разольется туман, и потом внезапно озарится оно отысканной мыслью. Запылает небо опять, обольет золотом и Петергоф, и Мурино, и Крестовский остров. Сознайтесь, что и Мурино и острова хороши тогда, хорош и Финский залив, как зеркало в богатой раме: и там блестят, играя, жемчуг, изумруды...

Виноват, плавая в тропиках, я очутился в Чекушах и рисую чухонский пейзаж: это, впрочем, потому, что мне еще не шутя нечего сказать о тропиках. Каждый день во всякое время смотрел я на небо, на солнце, на море — и вот мы уже в 14° широты, а небо все такое же, как у нас, то есть повыше, на зените, голубое, к горизонту зеленоватое. Тепло, как у нас в июле, и то за городом, а в городе от камней бывает и жарче. Мы оделись в тропическую форму: в белое, а потом сознались, что если б остались в небелом, так не задохлись бы. Реомюр показывал 22° в тени. Лучи теряют свою жгучую силу на море. Кроме того, палубу смачивали водой и над головой растягивали тент. Кругом не было стен и скал, запирающих воздух, и сквозь снасти свободно веял пассат. Небо часто облачно, так что мы не можем видеть ни восхождения, ни захождения солнца. Оно выходило из-за облак и садилось в тучи. «Что ж это вы, дед, насказали о тропических жарах, о невиданных ночах, о Южном Кресте? Все, что мы видим, слабо...» —

«Теперь зима, январь,— говорит он, обмахиваясь фуражкой и отирая пот, капавший с небритого подбородка,— вот дайте перевалиться за экватор, тогда будет потеплее. А Южный Крест должен быть теперь здесь, вон за левой вантой!» — и он указал коротеньким пальцем на ванту. «Дался им этот Крест, — ворчал дед, спускаясь в люк,— выдумали Крест! И Креста-то никакого нет: просто четыре небольшие звезды... Пойти-ка лучше лечь, а то еще...» — и исчез в люк.

Вверху, однако ж, небо было свободно от туч, и оттуда, как из отверстий какого-то озаренного светом храма, сверкали миллионы огней всеми красками радуги, как не сверкают звезды у нас никогда. Как страстно, горячо светят они! кажется, от них это так тепло по ночам! Эта вечно играющая и что-то будто говорящая на непонятном языке картина неба никогда не надоест глазам. Выйдешь из каюты на полчаса дохнуть ночным воздухом и простоишь в онемении два-три часа, не отрывая взгляда от неба, разве глаза невольно сами сомкнутся от усталости. Затверживаешь узор ближайших созвездий, смотришь на переливы этих зеленых, синих, кровавых огней, потом взгляд утонет в розовой пучине Млечного Пути. Все хочется доискаться, на что намекает это мерцание, какой смысл выходит из этих таинственных, непонятных речей? И уйдешь, не объяснив ничего, но уйдешь в каком-то чаду раздумья и на другой день жадно читаешь опять.

Море... Здесь я в первый раз понял, что значит «синее» море, а до сих пор я знал об этом только от поэтов, в том числе и от вас. Синий цвет там, у нас, на севере — праздничный наряд моря. Там есть у него другие цвета, в Балтийском, например, желтый, в других морях зеленый, так называемый аквамаринный. Вот, наконец, я вижу и синее море, какого вы не видали никогда. Это не слегка сверху окрашенная вода, а густая яхонтовая масса, одинаково синяя на солнце и в тени. Не устанешь любоваться, глядя на роскошное сияние красок на необозримом окружающем нас поле вод.

Как ни привыкаешь к противоположностям здешнего климата с нашим и к путанице во временах года, а иногда невольно поразишься мыслью, что теперь январь, что вы кутаетесь там в меха, а мы напрасно ищем в воде отрады. Только Фаддеев ничем не поражается: «Тепло, хорошо!» — говорит он. Зима, зима, а палубу то и дело поливают водой, но дерево быстро сохнет и издает сильный запах; смола, канат тоже, железо, медь — и те под этими лучами пахнут. Видели мы пролетевшую над водой одну летучую рыбу да одну шарку, или акулу, у самого фрегата. О животных больше и помину не было. Зима все продолжалась, то есть облака плотно застилали горизонт, по вечерам иногда бывало душно, но духота разрешалась проливным дождем — и опять легко и отрадно было дышать.

Мои товарищи все доискивались, отчего погода так мало походила на тропическую, то есть было облачно, как я сказал, туманно, и вообще мало было свойств и признаков тропического пояса, о которых упоминают путешественники. Приписывали это близости африканского берега или каким-нибудь неизвестным нам особенным свойствам Гвинейского залива. Любопытно бы было сравнить шканечные журналы нескольких мореплавателей в этих долготах, чтоб решить о том, одинаковые ли обстоятельства сопровождают плавание в большей или в меньшей долготе. Да, я забыл сказать, что мы не последовали примеру большей части мореплавателей, которые, отправляясь из Европы на юг Америки или Африки, стараются, бог знает для чего, пересечь экватор как можно дальше от Африки. Один из новейших путешественников, Бельчер, кажется, первый заметил, что нет причины держаться ближе Америки, особенно когда идут к мысу Доброй Надежды или в Австралию, что это удлиняет только путь, тем более, что зюйд-остовый пассат и без того относит суда далеко к Америке и заставляет делать значительный угол. Следуя этому основательному указанию, наш адмирал велел держать ближе к Африке, и потому мы почти не выходили из 14 и 15° западной долготы.

Мы не заметили, как северный, гнавший нас до Мадеры ветер слился с пассатом, и когда мы убедились, что этот ветер не случайность, а настоящий пассат, и что мы уже его не потеряем, то адмирал решил остановиться на островах Зеленого Мыса, в пятистах верстах от африканского материка, и именно на о. С.-Яго, в Порто-Прайя, чтобы пополнить свежие припасы. Порт очень удобен для якорной стоянки. Здесь застали мы два американские корвета да одну шкуну, отправляющиеся в Японию же, к эскадре коммодора Перри.

Ровно через неделю после прогулки на Мадере, также в воскресенье, завидели мы разбросанные на далеком расстоянии по горизонту большие и небольшие острова. Одни из них, подальше, казались темно-синими, другие, поближе, бурыми массами. Самый близкий, Сант-Яго, лежал, как громадный ком красной глины. Мы подвигались все ближе: масса обозначалась яснее, утесы отделялись один от другого, и весь рисунок острова очертился перед нами, когда мы милях в полутора бросили якорь. От Мадеры до о-в Зеленого Мыса считается тысяча морских миль по меридиану. Это 1750 наших верст.

Направо утесы, налево утесы, между ними уходит в горы долина, оканчивающаяся песчаным берегом, в который хлещет бурун. У самого берега, слева от нас, виден пустой маленький островок, направо масса накиданных друг на друга утесов. По одному из них идет мощеная дорога кверху, в Порто-Прайя. Пониже дороги, ближе к морю, в ущелье скал, кроется как будто трава — так кажется с корабля. На берегу, в одном углу

под утесами, видно здание и шалаши. Остальной берег между скалами весь пустой, низменный, просто куча песку, и на нем растет тощий ряд кокосовых пальм. Как все это вместе взятое печально, скудно, голо, опалено! Пальмы уныло повесили головы; никто нейдет искать под ними прохлады: они дают столько же тени, сколько метла.

Все спит, все немеет. Нужды нет, что вы в первый раз здесь, но вы видите, что это не временный отдых, награда деятельности, но покой мертвый, непробуждающийся, что картина эта никогда не меняется. На всем лежит печать сухости и беспощадного зноя. Приезжайте через год, вы, конечно, увидите тот же песок, те же пальмы счетом, валяющихся в песке негров и негритянок, те же шалаши, то же голубое небо с белым отблеском пламени, которое мертвит и жжет все, что не прячется где-нибудь в ущелье, в тени утесов, когда нет дождя, а его не бывает здесь иногда по нескольку лет сряду. И это же солнце вызовет здесь жизнь из самого камня, когда тропический ливень хоть на несколько часов напоит землю. Ужасно это вечное безмолвие, вечное немение, вечный сон среди неизмеримой водяной пустыни. Бесконечные воды расстилаются здесь, как бесконечные пески той же Африки, через которые торопливо крадется караван, боясь, чтобы жажда не застигла его в безводном пространстве. Здесь торопливо скользит по глади вод судно, боясь штилей, а с ними и жажды и голода. Пароход забросит немногие письма, возьмет другие и спешит пройти мимо обреченной на мертвый покой страны. А какие картины неба, моря! какие ночи! Пропадают эти втуне истраченные краски, это пролитое на голые скалы бесконечное тепло! Человек бежит из этого царства дремоты, которая сковывает энергию, ум, чувство и обращает все живое в подобие камня. Я припоминал сказки об окаменелом царстве. Вот оно: придет богатырь, принесет труд, искусство, цивилизацию, разбудит и эту спящую от века красавицу, природу, и даст ей жизнь. Время, кажется, недалеко. А теперь, глядя на эту безжизненность и безмолвие, ощущаешь что-то похожее на ужас или на тоску. Ничто не шевелится тут; все молчит под блеском будто разгневанных небес. В море, о, в море совсем иначе говорит этот царственный покой сердцу! Горе жителям, когда нет дождя: они мрут с голода. Земля производит здесь кофе, хлопчатую бумагу, все южные плоды, рис, а в засуху только морскую соль, которая и составляет одну из главных статей здешней промышленности.

К нам приехал чиновник, негр, в форменном фраке, с галунами. Он, по обыкновению, осведомился о здоровье людей, потом об имени судна, о числе людей, о цели путешествия и все это тщательно, но с большим трудом, с гримасами, записал в тетрадь. Я стоял подле него и смотрел, как он выводил каракули. Нелегко далась ему грамота.

Вскоре мы поехали на берег: нас не встретили ни ароматы, ни музыка, как на Мадере. Только утесы росли по мере того, как мы приближались; а трава, которая видна с корабля в ущелье, превратилась в пальмовую рощу. Но я с наслаждением путешественника смотрел и на этот берег, печальный образчик африканской природы. Для северного глаза все было поразительно; обожженные утесы и безмолвие пустыни, грозная безжизненность от избытка солнца и недостатка влаги, и эти пальмы, вросшие в песок и безнаказанно подставляющие вечную зелень под 40° жара. Может быть, оттого особенно и поразительно, что и у нас есть свои пустыни, и сухость воздуха, и грозная безжизненность, наконец вечная зелень сосен, и даже 40 градусов.

На берегу теснилась куча негров и негритянок и голых ребятишек: они ждали, когда пристанет наша шлюпка. Здесь также нет пристани, как и на Мадере, шлюпка не подходит к берегу, а остается на песчаной мели, шагов за пятнадцать до сухого места. Наши матросы засучили панталоны и соскочили в воду, чтоб перенести нас, но тут же по пояс в воде стояли полунагие негры, желая оказать нам ту же услугу. Спекуляция их не должна пропадать даром: я протянул к ним руки, они схватили меня, я крепко держался за голые плечи и через минуту стоял на песчаном берегу. Там стоит небольшой пакгауз, таможенное здание, как сказали нам. Оно заперто; кругом его шалаши на четырех столбах, с крышей из пальмовых листьев. «Есть ли фрукты?» — спросили мы у негров; они бросились и скрылись за утесом. Но мы не стали ждать их и пошли по мощеной дороге на гору. Африканское солнце, хотя и зимнее, дало знать себя. На море его не чувствуешь: жар умеряется ветром, зато на берегу! Гора не высока и не крута, а мы едва взошли и на несколько минут остановились отдохнуть, отирая платками лоб и виски. На горе, над портом, господствует устроенная на каменной платформе батарея. Мы пошли налево от нее в город и скоро вышли на площадь. Часовые, португальцы и мулаты, в мундирах, но босые, учтиво кланялись. Мулаты не совсем нравятся мне. Уж если быть черным, так черным, как уголь, чтоб кожа лоснилась, как хорошо вычищенный сапог. В этом еще есть если не красота, так оригинальность. А эти бледно-черные, матовые тела неприятны на вид.

На площади были два-три довольно большие каменные дома, казенные, и, между прочим, гауптвахта; далее шла улица. В ней частные домы, небольшие, бедные, но каменные, все с жалюзи, были наглухо закрыты. Улица напоминает любой наш уездный город в летний день, когда полуденное солнце жжет беспощадно, так что ни одной живой души не видно нигде; только ребятишки безнаказанно, с непокрытыми головами, бегают по улице и звонким криком нарушают безмолвие

Все прочее спит или просто ленится. Изредка нехотя выглянет из окна какое-нибудь равнодушное лицо и опять спрячется. И на нас выглянули два-три офицера из казарм; но этим только сходство и ограничивается, а дальше уж ничего нет похожего. На площади стоит невысокий столб с португальской короной наверху — знак владычества Португалии над группой островов. По всей площади и по улице привязано было к колодам несколько лошадей и премножество ослов, большею частью оседланных деревянными седлами.

Идучи по улице, я заметил издали, что один из наших спутников вошел в какой-то дом. Мы шли втроем. «Куда это он пошел? пойдемте и мы!» — предложил я. Мы пошли к дому и вошли на маленький дворик, мощеный белыми каменными плитами. В углу, под навесом, привязан был осел, и тут же лежала свинья, но такая жирная, что не могла встать на ноги. Дальше бродили какие-то пестрые, красивые куры, еще прыгал маленький, с крупного воробья величиной, зеленый попугай, каких привозят иногда на петербургскую биржу. Попугай вертелся под ногами, и кто-то из нас, может быть я, наступил на него: он затрепетал крыльями и, хромая, спотыкаясь, поспешно скрылся от северных варваров в угол. Мы поднялись по деревянной лестнице во второй этаж, в галерею, и потом вошли в комнату. Нас встретила пожилая дама; мы ей поклонились, она нам. Она молча указала на стулья. Мы сели и начали было с ней разговор по-английски, а она с нами по-португальски; мы по-французски, а она опять по-своему. Мы уж хотели раскланяться, но она что-то сказала нам и поспешно вышла из комнаты. Через минуту она вывела молодую, прехорошенькую девушку. Та стыдливо шла за нею и робко отвечала на наш поклон. Мы поглядывали друг на друга в недоумении... Что же это такое? Хозяйка кое-как дала нам понять, что эта девушка говорит или понимает по-французски. Мы засыпали ее вопросами, но она или не говорила, или не понимала, или, наконец, в Порто-Прайя под именем французского разумеют совсем другой язык. Однако ж кое-как мы поняли из нескольких по временам вырывавшихся у нее французских слов, что она привезена сюда из Лиссабона и еще не замужем, живет здесь с родственниками. Да бог знает, то ли еще она сказала: это мы так растолковали ее ответы. Мы поклонились и ушли. «У кого это мы были, господа?» — спросил меня один из товарищей. «А, ей-богу, не знаю».— «Да зачем мы заходили сюда?» — приставал он ко мне. «И этого не знаю. Сюда вошел Тихменев, и мы за ним. Да кстати, где же он?» — «Да он не в этот дом вошел, а вон в тот... вон он выходит». В самом деле, Тихменев вышел из другого дома, рядом. «Плоха провизия и мало! — со вздохом сказал он,— быки, коровы не крупнее здешних ослов. Как-то мы доберемся до мыса Доброй Надежды?» Итак, мы

это, в качестве путешественников, посетили незнакомый дом!

Тут негр предложил нам, не хотим ли мы поехать на осле или лошади. Третий наш спутник поехал; а мы вдвоем с отцом Аввакумом пошли пешком и скоро из города вышли в деревню, составляющую продолжение его. Все это предместье состоит из глиняных мазанок, без окон. Я заглядывал туда: бедная домашняя утварь, деревянные скамьи — вот и все украшение. Негров молодых не видать: вероятно, все на работе в полях. Тут только старики и старухи, и какие безобразные! Одна особенно поразила нас безобразием; она переходила улицу и не могла разогнуться от старости. На вид ей было лет девяносто. Лысая, с небольшими остатками седых клочков. Зато видели и несколько красавиц в своем роде. Что за губы, что за глаза! Тело лоснится, как атлас. Глаза не без выражения ума и доброты, но более, кажется, страсти, так что и обыкновенный взгляд их нескромен. Веко распахнется медленно и широко, глаз выкатится оттуда весь и выразит разом все, что гнездится в чувственном теле. Одеты они довольно живописно: в юбке, но без рубашки, а сверху через одно плечо накинуто что-то вроде бумажной шали до колен; другое плечо и часть груди обнажены. Голова повязана платком, и очень хорошо: глазам европейца неприятно видеть короткие волосы на женской голове, да еще курчавые. Некоторые из этих дам долго шли за нами и на исковерканном английском языке (и здесь англичане — заметьте!) просили денег, бог знает по какому случаю. Одеты они были не нищенски. Разве не предлагали ли они каких-нибудь услуг?.. Но мы только и могли понять из их бессвязных речей одно слово: money [1]. Голые ребятишки бегали; старики и старухи одни бродили лениво около домов, другие лежали в своих хижинах. Я видел и англичан, но те не лежали, а куда-то уезжали верхом на лошадях: кажется, на свои кофейные плантации... Это всё богатыри, старающиеся разбудить спящую красавицу.

Мы вдвоем прошли всю деревню и вышли в поле. Деревня и город построены на самом краю утеса. По крутизне разбросаны были кое-где хижины или выходили туда садами. Мы по дороге сошли в долину; она была цветущим оазисом посреди этих желтых и серых глыб песку. Чего в ней не растет? И все было ново нам: мы знакомились с декорацией не наших деревьев, не нашей травы, кустов и жадно хотели запомнить все: группировку их, отдельный рисунок дерева, фигуру листьев, наконец плоды; как будто смотрели на это в последний раз, хотя нам только это и предстояло видеть на долгое время. Из плодов видели фиги, кокосы, много апельсинных деревьев, но без апельсинов, цветов вовсе почти не видать; мало и

[1] деньги *(англ.)*.

насекомых, все по случаю зимы. Я видел только одну пролетевшую птицу, величиной с галку, с длинным голубым хвостом. Мы прошли эту рощу или сад — сад потому, что в некоторых местах фруктовые деревья были огорожены; кое-где видел я шалаши, и в них старые негры стерегли сад, как и у нас это бывает. За рощей, дальше, простирались поля, частью возделанные, частью пустые; кое-где виден лес. Но мы ограничили свою прогулку долиною: дальше идти было жарко.

Мы воротились к берегу садом, не поднимаясь опять на гору, останавливались перед разными деревьями. На берегу застали живую сцену. Многие негры натаскали корзин с апельсинами, другие успели устроить кресла на носилках, чтобы переносить нас на шлюпку. Все эти спекулянты сидели и лежали группами на песке, ожидая нас. Я подошел к одной группе и застал негров за картами. И как вы думаете, во что они играли? В свои козыри! Если б не эти черные, лоснящиеся лица, не курчавые, точно напудренные березовым углем волосы, я бы подумал, что я вдруг зашел в какую-нибудь провинциальную лакейскую. Я пригляделся к игре — нет сомнения: свои козыри. Вон один из играющих, не имея чем покрыть короля, потащил всю кучу засаленных карт к себе, а другие оскалили белые зубы. Я посмотрел на прочие группы и поскорей отвернулся. Две негритянки, должно быть сестры: одна положила голову на колени другой, а та... Да вы видали эти сцены, проезжая в летний день дорогой наши села... Некоторые из негров бранились между собой — и это вы знаете: попробуйте остановиться в Москве или Петербурге, где продают сайки и калачи, и поторгуйте у одного: как все это закричит и завоюет! То же и здесь, да и везде, как кажется. Ссоры эти были напрасны: сколько они ни принесли апельсинов, мы все купили. Меня эти апельсины прежде всего поразили своей величиной: к нам таких не привозят. А съевши один апельсин, я должен был сознаться, что хороших апельсинов до этой минуты никогда не ел. Может быть, это один попался удачный, думал я, и взял другой: и другой такой же, и — третий: все как один.

Пока я производил эти сравнительные опыты любознательности, с разных сторон сходились наши спутники и принялись за то же самое. От одной прогулки все измучились, изнурились; никто не был похож на себя: в поту, в пыли, с раскрасневшимися и загорелыми лицами; но все как нельзя более довольные: всякий видел что-нибудь замечательное. Я решился купить у старой негритянки (я всегда, где можно, отдаю предпочтение дамам) всю корзину апельсинов. Она из другой корзинки выбрала еще несколько самых лучших апельсинов и хотела мне подарить. «Present, present» [1], — твердила она.

---

[1] Подарок, подарок (*англ.*).

Но я не хотел уступить ей в галантерейном обращении и стал вынимать из кармана деньги, чтобы заплатить и за эти. Она ужасно рассердилась и взяла было назад и первую корзину. Она болтала немного по-английски и называла меня: синьор француз. О русских она не слыхала. Тут же, у самого берега, купались наши матросы, иногда выходили на берег и, погревшись на солнце, шли опять в воду, но черные дамы не обращали на это ни малейшего внимания: видно, им не в первый раз.

Я с пришедшими товарищами при закате солнца вернулся на фрегат, пристально вглядываясь в эти утесы, чтоб оставить рисунок в памяти. Берег постепенно удалялся, утесы уменьшались в размерах; роща в ущелье по-прежнему стала казаться пучком травы; кучки негров на берегу толпились, точно мухи, собравшиеся около капли меду; двое наших, отправившихся на маленький пустой остров, лежащий в заливе, искать насекомых, раковин или растений, ползали, как два муравья. Долина скрылась из глаз, и опять вся картина острова стала казаться такою увядшею, сухою и печальною, точно старуха, но подрумяненная на этот раз пурпуровым огнем солнечного заката.

Шлюпка наша уже приставала к кораблю, когда вдруг Савич закричал с палубы гребцам: «Живо, скорей, ступайте туда, вон огромная черепаха плавает поверх воды, должно быть спит,— схватите!» Мы поворотили, куда указал Савич, но черепаха проснулась и погрузилась в глубину, и мы воротились ни с чем. Если б остановка была продолжительнее, можно было бы осмотреть здешние соляные бассейны. Добывание соли — главный промысел островов. Бассейны, во время приливов, наполняются морской водой, которая, испаряясь от жара, оставляет обильный осадок соли. Жители добывают еще какую-то растительную краску, разводят немного кофе, сахарного тростника, хлопчатой бумаги, но все-таки очень бедны.

На другой день мы ушли дальше. Давно уж дед грозил нам штилевой полосой, которая опоясывает землю в нескольких градусах от экватора. Штили, а не бури — ужас для парусных судов. А я перед тем только что заглянул в Араго и ужаснулся, еще не видя ничего. В самом деле, каково простоять месяц на одном месте, под отвесными лучами солнца, в тысячах миль от берега, томиться от голода, от жажды? Припомнишь все сцены ужаса, какими сопровождались подобные события...

29-го января в 3° северной широты мы потеряли пассат и вошли в роковую полосу. Вместо десяти узлов, то есть семнадцати верст, пошли по два, по полтора узла. Ветер иногда падал совсем, и обезветренные паруса тоже падали, хлопая о мачты. Мы вопросительно озирались вокруг, а небо, море сияют нестерпимым блеском, точно смеются, как иногда смеется

сильная злоба над немощью. Встанем утром: «Что, идем?» Нет, ползем по полуторы, по две версты в час. Море колыхается целой массой, как густой расплавленный металл; ни малейшей чешуи, даже никакого всплеска. Мы думали, что бездействие ветра протянется долгие дни, но опасения наши оправдались не здесь, а гораздо южнее, по ту сторону экватора, где бы всего менее должно было ожидать штилей. 31-го января паруса зашевелились поживее, повеял ветер, сначала неопределенный, изменчивый, а в 1° сев. широты задул и ожидаемый SO, пассат. Мы были у самого экватора.

2-го февраля, ложась вечером спать, я готовился наутро присутствовать при перехождении через экватор. Но 3-го числа, в 8 часов утра, дед донес начальству, что мы уже в южном полушарии: в пять часов фрегат пересек экватор в 18° западной долготы. Мы все, однако ж, высыпали наверх и вопросительно смотрели во все стороны, как будто хотели видеть тот деревянный ободочек, который, под именем экватора, опоясывает глобус.

Все были погружены в раздумье. П. А. Тихменев, облокотясь на гик, смотрел вдаль. Все заняты экватором. «Ну, что, Петр Александрович: вот мы и за экватор шагнули,— сказал я ему,— скоро на мысе Доброй Надежды будем!» — «Да,— отвечал он, глубоко вздохнув и равнодушно поглядывая на бирюзовую гладь вод,— оно, конечно, очень приятно... А есть ли там дрожжи?» Ну, можно ли усерднее заботиться об исполнении своей обязанности, как бы она священна ни была, как, например, обязанность о продовольствии товарищей? Добрый Петр Александрович! Вдруг глаза его заблистали необыкновенным блеском: я думал, что он увидел экватор. Он протянул и руку. «Опять кто-то бананы поел! — воскликнул он в негодовании,— верно, Зеленый, он сегодня ночью на вахте стоял». На ночь фрукты развешивали для свежести на палубе, и к утру всегда их несколько убывало. Тихменев производил строгое следствие, но, кроме лукавых улыбок, никогда ничего добиться не мог.

Пересеки и тропик, и экватор,
И отпируй сей праздник моряков!.. —

предписывали вы мне, ваше превосходительство Владимир Григорьевич: я мысленно пригласил вас на этот праздник, но он не состоялся. О нем и помысла не было. Матросы наши мифологии не знают, и потому не только не догадались вызвать Нептуна, даже не поздравили нас со вступлением в его заветные владения и не собрали денежную или винную дань, а мы им не напомнили, и день прошел скромно. Только ночью капитан пригласил нас к себе ужинать. Почетным гостем был дед: не впервые совершал он этот путь, и потому бокал теплого шампанского был выпит за его здоровье. «Сколько раз вы пере-

секли экватор?» — спросили мы его. «Одиннадцать раз»,— отвечал он. «Хвастаете, дед: ведь вы три раза ходили вокруг света: итого шесть раз!» — «Так; но однажды на самом экваторе корабль захватили штили и нас раза три-четыре перетаскивало то по ту, то по эту сторону экватора».

На шкуне «Восток», купленной в Англии и ушедшей вместе с нами, справляли, как мы узнали после, Нептуново торжество. Я рад, что у нас этого не было. Ведь как хотите, а праздник этот — натяжка страшная. Дурачество весело, когда человек наивно дурачится, увлекаясь и увлекая других; а когда он шутит над собой и над другими по обычаю, с умыслом, тогда становится за него совестно и неловко. Если ж смотреть на это как на повод к развлечению, на случай повеселиться, то в этом и без того недостатка не было. Не только в праздники, но и в будни, после ученья и всех работ, свистят песенников и музыкантов наверх. И вот морская даль, под этими синими и ясными небесами, оглашается звуками русской песни, исполненной неистового веселья, бог знает от каких радостей, и сопровождаемой исступленной пляской, или послышатся столь известные вам хватающие за сердце стоны и вопли от каких-то старинных, исторических, давно забытых страданий. И все это вместе, без промежутка: и дикий разгул, топот трепака, и исторические рыдания заглушают плеск моря и скрип снастей. Такое развлечение имело гораздо более смысла для матросов, нежели торжество Нептуна: по крайней мере в нем не было аффектации, особенно когда прибавлялась к этому лишняя, против положенной от казны, чарка. В этом недостатка на кораблях не бывает: за всякую послугу, угождение матроса офицер платит чаркой водки. Съедет ли он по своей надобности на берег, по возвращении дает гребцам по чарке водки и т. п. Таким образом этих чарок набирается много, и они выпиваются при удобном случае.

Плавание в южном полушарии замедлялось противным зюйд-остовым пассатом; по меридиану уже идти было нельзя: диагональ отводила нас в сторону, все к Америке. 6, 7 узлов был самый большой ход. «Ну, вот вам и лето! — говорил дед, красный, весь в поту, одетый в прюнелевые ботинки, но, по обыкновению, застегнутый на все пуговицы.— Вот и акулы, вот и Южный Крест, вон и «Магеллановы облака» и «Угольные мешки»!» [1] Тут уж особенно заметно целыми стаями начали реять над поверхностью воды летучие рыбы.

Я забыл посмотреть на магнитную стрелку, когда мы проходили магнитный экватор, отстоящий на три градуса от

---

[1] «М а г е л л а н о в ы о б л а к а» — две звездные системы (галактики) в виде туманных пятен, хорошо заметные в южном полушарии; «У г о л ь н ы е м е ш к и» — черные беззвездные пятна на фоне Млечного Пути, ясно видны на южном небе.

настоящего. Находясь в равном расстоянии от обоих полюсов, стрелка ложится будто бы там параллельно экватору, а потом, по мере приближения к Южному полюсу, принимает свое обыкновенное положение и только на полюсе становится совершенно вертикально. Так ли это, Владимир Григорьевич? Вы любите вопрошать у самой природы о ее тайнах: вы смотрите на нее глазами и поэта и ученого... В 11° солнце осталось уже над нашей головой и не пошло к югу. Один из рулевых, матрос с недоумением донес об этом штурману.

14-го февраля начались те штили, которых напрасно боялись у экватора. Опять пошли по узлу, по полтора, иногда совсем не шли. Сначала мы не тревожились, ожидая, что не сегодня, так завтра задует поживее; но проходили дни, ночи, паруса висели, фрегат только качался почти на одном месте, иногда довольно сильно, от крупной зыби, предвещавшей, по-видимому, ветер. Но это только слабое и отдаленное дуновение где-то, в счастливом месте, пронесшегося ветра. Появлявшиеся на горизонте тучки, казалось, несли дождь и перемену: дождь точно лил потоками, непрерывный, а ветра не было. Через час солнце блистало по-прежнему, освещая до самого горизонта густую и неподвижную площадь океана.

Покойно, правда, было плавать в этом безмятежном царстве тепла и безмолвия: оставленная на столе книга, чернильница, стакан не трогались; вы ложились без опасения умереть под тяжестью комода или полки книг; но сорок с лишком дней в море! Берег сделался господствующею нашею мыслью, и мы немало обрадовались, вышедши, 16-го февраля утром, из южного тропика. Рассчитывали на дующие около того времени ве́стовые ветры, но и это ожидание не оправдалось. В воздухе мертвая тишина, нарушаемая только хлопаньем грота. Ночью с 21 на 22 февраля я от жара ушел спать в кают-компанию и лег на диване, под открытым люком. Меня разбудил неистовый топот, вроде трепака, свист и крики. На лицо упало несколько брызг. «Шквал! — говорят,— ну, теперь задует!» Ничего не бывало, шквал прошел, и фрегат опять задремал в штиле.

Так дождались мы масленицы и провели ее довольно вяло, хотя Петр Александрович делал все, чтоб чем-нибудь напомнить этот веселый момент русской жизни. Он напек блинов, а икру заменил сардинами. Сливки, взятые в Англии в числе прочих презервов, давно обратились в какую-то густую массу, и он убедительно просил принимать ее за сметану. Песни, напоминавшие татарское иго, и буйные вопли quasi [1] веселья оглашали более нежели когда-нибудь океан. Унылые напевы казались более естественными, как выражение нашей общей скуки, порождаемой штилями. Нельзя же, однако, чтоб масленица не вызвала у русского человека хоть одной улыбки,

---

[1] мнимого (*лат.*).

будь это среди знойных зыбей Атлантического океана. Так и тут, задумчиво расхаживая по юту, я вдруг увидел какое-то необыкновенное движение между матросами: это не редкость на судне; и я думал сначала, что они тянут какой-нибудь брас. Но что это? совсем не то: они возят друг друга на плечах около мачт. Празднуя масленицу, они не могли не вспомнить катанья по льду и заменили его ездой друг на друге удачнее, нежели Петр Александрович икру заменил сардинами. Глядя, как забавляются, катаясь друг на друге, и молодые и усачи с проседью, расхохочешься этому естественному, национальному дурачеству: это лучше льняной бороды Нептуна и осыпанных мукой лиц.

В этой, по-видимому, сонной и будничной жизни выдалось, однако ж, одно необыкновенное, торжественное утро. 1-го марта, в воскресенье после обедни и обычного смотра команде, после вопросов: всем ли она довольна, нет ли у кого претензии, все, офицеры и матросы, собрались на палубе. Все обнажили головы: адмирал вышел с книгой и вслух прочел морской устав Петра Великого.

Потом опять все вошло в обычную колею, и дни текли однообразно. В этом спокойствии, уединении от целого мира, в тепле и сиянии, фрегат принимает вид какой-то отдаленной степной русской деревни. Встанешь утром, никуда не спеша, с полным равновесием в силах души, с отличным здоровьем, с свежей головой и аппетитом, выльешь на себя несколько ведер воды прямо из океана и гуляешь, пьешь чай, потом сядешь за работу. Солнце уж высоко; жар палит: в деревне вы не пойдете в этот час ни рожь посмотреть, ни на гумно. Вы сидите под защитой маркизы на балконе, и все прячется под кров, даже птицы, только стрекозы отважно реют над колосьями. И мы прячемся под растянутым тентом, отворив настежь окна и двери кают. Ветерок чуть-чуть веет, ласково освежая лицо и открытую грудь. Матросы уж отобедали (они обедают рано, до полудня, как и в деревне, после утренних работ) и группами сидят или лежат между пушек. Иные шьют белье, платье, сапоги, тихо мурлыча песенку; с бака слышатся удары молотка по наковальне. Петухи поют, и далеко разносится их голос среди ясной тишины и безмятежности. Слышатся еще какие-то фантастические звуки, как будто отдаленный, едва уловимый ухом звон колоколов... Чуткое воображение, полное грез и ожиданий, создает среди безмолвия эти звуки, а на фоне этой синевы небес какие-то отдаленные образы...

Выйдешь на палубу, взглянешь и ослепнешь на минуту от нестерпимого блеска неба, моря; от меди на корабле, от железа отскакивают снопы лучей; палуба и та нестерпимо блещет и уязвляет глаз своей белизной. Скоро обедать; а что будет за обедом? Кстати, Тихменев на вахте: спросить его. «Что сегодня, Петр Александрович?» Он только было разинул

рот отвечать, как вышел капитан и велел поставить лиселя. Ему показалось, что подуло немного посвежее. «На лисель-фалы!» — командует Петр Александрович детским басом и смотрит не на лисель-фалы, а на капитана. Тот тихонько улыбается и шагает со мной по палубе. Вот капитан заметил что-то на баке и пошел туда. «Что ж за обедом?» — спросил я Петра Александровича, пользуясь отсутствием капитана. «Суп с катышками,— говорит Петр Александрович.— Вы любите этот суп?» — «Да, ничего, если зелени побольше положить»,— отвечаю я. «Рад бы душой,— продолжает он с свойственным ему чувством и красноречием,— поверьте, я бы всем готов пожертвовать, сна не пожалею, лишь бы только зелени в супе было побольше, да не могу, видит бог, не могу... Ну, так и быть, для вас... Эй, вахтенный! поди скажи Карпову, чтоб спросил у Янцева еще зелени и положил в суп. Видите, это для вас,— сказал он,— пусть бранят меня, если недостанет зелени до мыса Доброй Надежды!» Я с чувством пожал ему руку. «А еще что?» — нежно спросил я, тронутый его добротой. «Еще... курица с рисом...» — «Опять!» — горестно воскликнул я. «Что делать, что мне делать — войдите в мое положение: у меня пяток баранов остался, три свиньи, пятнадцать уток и всего тридцать кур: изо ста тридцати — подумайте! ведь мы с голоду умрем!» Видя мою задумчивость, он не устоял. «Завтра, так и быть, велю зарезать свинью...» — «На вахте не разговаривают: опять лисель-спирт хотите сломать!» — вдруг раздался сзади нас строгий голос воротившегося капитана. «Это не я-с, это Иван Александрович!» — тотчас же пожаловался на меня Петр Александрович, приложив руку к козырьку. «Поправь лисель-фал!» — закричал он грозно матросам. Капитан опять отвернулся. Петр Александрович отошел от меня. «Вы не досказали!» — заметил я ему. Он боязливо поглядел во все стороны. «Жаркое — утка,— грозно шипел он через ют, стараясь не глядеть на меня,— пирожное... » Белая фуражка капитана мелькнула близ юта и исчезла. «Пирожное — оладьи с инбирным вареньем... Отстаньте от меня: вы всё в беду меня вводите!» — с злобой прошептал он, отходя от меня как можно дальше, так что чуть не шагнул за борт. «Десерта не будет,— заключил он почти про себя,— Зеленый и барон по ночам все поели, так что в воскресенье дам по апельсину да по два банана на человека». Иногда и не спросишь его, но он сам не утерпит. «Сегодня я велел ветчину достать,— скажет он,— и вынуть горошек из презервов» и т. д. доскажет снисходительно весь обед.

После обеда, часу в третьем, вызывались музыканты на ют, и мотивы Верди и Беллини разносились по океану. Но после обеда лениво слушали музыку, и музыканты вызывались больше для упражнения, чтоб протверживать свой репертуар. В этом климате сьеста необходима; на севере в самый жаркий

день вы легко просидите в тени, не устанете и не изнеможете, даже займетесь делом. Здесь, одетые в легкое льняное пальто, без галстука и жилета, сидя под тентом, без движения, вы потеряете от томительного жара силу, и как ни бодритесь, а тело клонится к дивану, и вы во сне должны почерпнуть освежение организму.

Природа между тем доживала знойный день: солнце клонилось к горизонту. Смотришь далеко, и все ничего не видно вдали. Мы прилежно смотрели на просторную гладь океана и молчали, потому что нечего было сообщить друг другу. Выскочит разве стая летучих рыб и, как воробьи, пролетит над водой: мгновенно все руки протянутся, глаза загорятся: «Смотрите, смотрите!» — закричат все, но все и без того смотрят, как стадо бонитов гонится за несчастными летуньями, играя фиолетовой спиной на поверхности. Исчезнет это явление — и все исчезнет, и опять хоть шаром покати. Сон и спокойствие объемлют море и небо, как идеал отрадной, прекрасной, немучительной смерти, какою хотелось бы успокоиться измученному страстями и невзгодами человеку. Оттого, кажется, душа повергается в такую торжественную и безотчетно сладкую думу, так поражается она картиной прекрасного, величественного покоя. Картина оковывает мысль и чувство: все молчит и не колыхнется и в душе, как вокруг. «Что-то плывет!» — вдруг однажды сказал один из нас, указывая вдаль, и все стали смотреть по указанному направлению. Некоторые сбегали за зрительными трубами. «Да,— подтвердил другой,— я вижу черную точку». Молчание. Точка увеличивалась. «Ящик какой-то»,— говорят потом. «Ящик... боже мой! что в нем?» Дыхание замирает от ожидания. Воображение рисует бог знает что. Ящик все ближе и ближе. «Курятник!» — воскликнул один. Молчание. «Да, точно, курятник,— подтвердил другой, вглядевшись окончательно,—верно, на каком-нибудь судне вышли куры, вот и бросили курятник за борт».— «Позвольте,— заметил один скептик,— не от лимонов ли этот ящик?» — «Нет,— возразил другой наблюдатель,— видите, он с решеткой». И долго провожали мы глазами проплывший мимо нас курятник, догадываясь и рассуждая, брошенный ли это по необходимости ящик, или обломок сокрушившегося корабля.

Часу в пятом купали команду. На воду спускали парус, который наполнялся водой, а матросы прыгали с борта, как в яму. Но за ними надо было зорко смотреть: они все старались выпрыгнуть за пределы паруса и поплавать на свободе, в океане. Нечего было опасаться, что они утонут, потому что все плавают мастерски, но боялись акул. И так однажды с марса закричал матрос: «Большая рыба идет!» К купальщикам тихо подкрадывалась акула; их всех выгнали из воды, а акуле сначала бросили бараньи внутренности, которые она мгновенно проглотила, а потом кольнули ее острогой, и она ушла под

киль, оставив следом по себе кровавое пятно. Около нее, как змеи, виляли в воде всегда сопровождающие ее две или три рыбы, прозванные лоцманами. Петр Александрович во время купанья тоже являлся усердным действующим лицом. Как ротный командир, он носился по всем палубам и побуждал ленивых матросов лезть в воду. «Пошел, пошел,— кричал он,— что ты не раздеваешься? А где Витул, где Фаддеев? Марш в воду! позвать всех коков (поваров) сюда и перекупать их!»

В шестом часу, по окончании трудов и сьесты, общество плавателей выходило наверх освежиться, и тут-то широко распахивалась душа для страстных и нежных впечатлений, какими дарили нас невиданные на севере чудеса. Да, чудеса эти не покорились никаким выкладкам, цифрам, грубым прикосновениям науки и опыта. Нельзя записать тропического неба и чудес его, нельзя измерить этого необъятного ощущения, которому отдаешься с трепетной покорностью, как чувству любви. Где вы, где вы, Владимир Григорьевич? Плывите скорей сюда и скажите, как назвать этот нежный воздух, который, как теплые волны, омывает, нежит и лелеет вас, этот блеск неба в его фантастическом неописанном уборе, эти цвета, среди которых утопает вечернее солнце? Океан в золоте или золото в океане, багровый пламень, чистый, ясный, прозрачный, вечный, непрерывный пожар без дыма, без малейшей былинки, напоминающей землю. Покой неба и моря — не мертвый и сонный покой: это покой как будто удовлетворенной страсти, в котором небо и море, отдыхая от ее сладостных мучений, любуются взаимно в объятиях друг друга. Солнце уходит, как осчастливленный любовник, оставивший долгий, задумчивый след счастья на любимом лице.

На этом пламенно-золотом, необозримом поле лежат целые миры волшебных городов, зданий, башен, чудовищ, зверей — всё из облаков. Вот, смотрите, громада исполинской крепости рушится медленно, без шума; упал один бастион, за ним валится другой; там опустилась, подавляя собственный фундамент, высокая башня, и опять все тихо отливается в форму горы, островов, с лесами, с куполами. Не успело воображение воспринять этот рисунок, а он уже тает и распадается, и на место его тихо воздвигся откуда-то корабль и повис на воздушной почве; из огромной колесницы уже сложился стан исполинской женщины; плеча еще целы, а бока уже отпали, и вышла голова верблюда; на нее напирает и поглощает все собою ряд солдат, несущихся целым строем.

Изумленный глаз смотрит вокруг, не увидит ли руки, которая, играя, строит воздушные видения. Тихо, нежно и лениво ползут эти тонкие и прозрачные узоры в золотой атмосфере, как мечты тянутся в дремлющей душе, слагаясь в пленительные образы и разлагаясь опять, чтоб слиться в фантастической игре...

Пусть живописцы найдут у себя краски, пусть хоть назовут эти цвета, которыми угасающее солнце окрашивает небеса! Посмотрите: фиолетовая пелена покрыла небо и смешалась с пурпуром; прошло еще мгновение, и сквозь нее проступает темно-зеленый, яшмовый оттенок; он в свою очередь овладел небом. А замки, башни, леса, розовые, палевые, коричневые, сквозят от последних лучей быстро исчезающего солнца, как освещенный храм... Вы недвижны, безмолвны, млеете перед радужными следами солнца: оно жарким прощальным лучом раздражает нервы глаз, но вы погружены в тумане поэтической думы; вы не отводите взора; вам не хочется выйти из этого мления, из неги покоя. Очнувшись, со вздохом скажешь себе: ах, если б всегда и везде такова была природа, так же горяча и так величаво и глубоко покойна! Если б такова была и жизнь!.. Ведь бури, бешеные страсти не норма природы и жизни, а только переходный момент, беспорядок и зло, процесс творчества, черная работа — для выделки спокойствия и счастия в лаборатории природы...

Солнце не успело еще догореть, вы не успели еще додумать вашей думы, а оглянитесь назад: на западе еще золото и пурпур, а на востоке сверкают и блещут уже миллионы глаз: звезды и звезды, и между ними скромно и ровно сияет Южный Крест! Темнота, как шапка, накрыла вас: острова, башни, чудовища — все пропало. Звезды искрятся сильно, дерзко и как будто спешат пользоваться промежутком от солнца до луны; их прибывает все больше и больше, они проступают сквозь небо. Та же невидимая рука, которая чертила воздушные картины, поспешно зажигает огни во всех углах тверди, и — засиял вечерний пир! Новые силы, новые думы и новая нега проснулись в душе. Опять, как вчера, она ищет в огнях — разума, жадно читает огненные буквы и порывается туда...

Но вот луна: она не тускла, не бледна, не задумчива, не туманна, как у нас, а чиста, прозрачна, как хрусталь, гордо сияет белым блеском и не воспета, как у нас, поэтами, следовательно девственна. Это не зрелая, увядшая красавица, а бодрая, полная сил, жизни и строгого целомудрия дева, как сама Диана. Хлынул по морю и по небу ее пронзительный свет; она усмирила дерзкое сверканье звезд и воцарилась кротко и величаво до утра. А океан, вы думаете, заснул? Нет; он кипит и сверкает пуще звезд. Под кораблем разверзается пучина пламени, с шумом вырываются потоки золота, серебра и раскаленных углей. Вы ослеплены, объяты сладкими творческими снами... вперяете неподвижный взгляд в небо: там наливается то золотом, то кровью, то изумрудной влагой Конопус, яркое светило корабля Арго, две огромные звезды Центавра. Но вы с любовью успокоиваетесь от нестерпимого блеска на четырех звездах Южного Креста: они сияют скромно и, кажется, смотрят на вас так пристально и умно, Южный

Крест... Случалось ли вам (да как не случалось поэту!) вдруг увидеть женщину, о красоте, грации которой долго жужжали вам в уши, и не найти в ней ничего поражающего? «Что же в ней особенного? — говорите вы, с удивлением всматриваясь в женщину,— она проста, скромна, ничем не отличается...» Всматриваетесь долго, долго и вдруг чувствуете, что любите уже ее страстно! И про Южный Крест, увидя его в первый, второй и третий раз, вы спросите: что в нем особенного? Долго станете вглядываться и кончите тем, что, с наступлением вечера, взгляд ваш будет искать его первого, потом, обозрев все появившиеся звезды, вы опять обратитесь к нему и будете почасту и подолгу покоить на нем ваши глаза.

Наступает за знойным днем душно-сладкая долгая ночь, с мерцаньем в небесах, с огненным потоком под ногами, с трепетом неги в воздухе. Боже мой! Даром пропадают здесь эти ночи: ни серенад, ни вздохов, ни шепота любви, ни пенья соловьев! Только фрегат напряженно движется и изредка простонет, да хлопнет обессиленный парус или под кормой плеснет волна — и опять все торжественно и прекрасно-тихо!

Смотрите вы на все эти чудеса, миры и огни, и, ослепленные, уничтоженные величием, но богатые и счастливые небывалыми грезами, стоите, как статуя, и шепчете задумчиво: «Нет, этого не сказали мне ни карты, ни англичане, ни американцы, ни мои учители; говорило, но бледно и смутно, только одно чуткое, поэтическое чувство; оно таинственно манило меня еще ребенком сюда и шептало:

Вот Азия, мир праотца Адама,
Вот юная Колумбова земля!
И ты свершишь плавучие наезды
В те древние и новые места,
Где в небесах другие блещут звезды,
Где свет лиет созвездие Креста...[1]

Берите же, любезный друг, свою лиру, свою палитру, свой роскошный, как эти небеса, язык, язык богов, которым только и можно говорить о здешней природе, и спешите сюда,— а я винюсь в своем бессилии и умолкаю!

*Март 1853 года.*
*Атлантический океан.*

---

[1] В послании Бенедиктова к Гончарову. (*Прим. И. А. Гончарова.*)

## IV

## НА МЫСЕ ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ

*Приход в Falsebay*[1]*. — Саймонсбей и Саймонстоун.— Поправки на фрегате.— Капштат.— Welch's hotel*[2]*. — Столовая гора, Львиная гора и Чертов пик.— Ботанический сад.— Клуб.— Англичане, голландцы, малайцы, готтентоты и негры. — Краткий исторический очерк Капской колонии и войн с кафрами. — Поездка по колонии. — Соммерсет. — Стелленбош. — Ферма Эльзенборг.— Паарль.— Веллингтон.— Мистер Бен. — Тюрьмы и арестанты. — Дороги. — Ущелье. — Устер. — Минеральные ключи. — Обратный путь. — Змеиная горка. — Птица секретарь. — Винберг. — Кафрский предводитель Сейоло. — Отплытие.*

*С 10 марта по 12 апреля 1853.*

Хотя наш плавучий мир довольно велик, средств незаметно проводить время было у нас много, но все плавать да плавать! Сорок дней с лишком не видали мы берега. Самые бывалые и терпеливые из нас с гримасой смотрели на море, думая про себя: скоро ли что-нибудь другое? Друг на друга почти не глядели, перестали заниматься, читать. Всякий знал, что подадут к обеду, в котором часу тот или другой ляжет спать, даже нехотя заметишь, у кого сапог разорвался или панталоны выпачкались в смоле.

Я писал вам, что нас захватили штили в южном тропике; после штилей, наконец, засвежело, да ведь как! Опять пошло свое: ни ходить, ни сидеть, ни лежать порядком! Это было в четверг, в начале марта. Не стану повторять, о чем уже писал, о качке. Только это нагнало на меня такую хандру, что море, казалось, опротивело мне навсегда. Хотя это продолжалось

---

[1] Фальсбей *(англ.)*.
[2] Гостиница госпожи Вельч *(англ.)*.

всего дней пять, но меня не обрадовал и берег, который мы увидели в понедельник. Море к берегу вдруг изменилось: из синего обратилось в коричнево-зеленоватое, как ботвинье. Это от морских растений, от капусты, трав, животных и т. п. В одну из ночей оно необыкновенно блистало фосфорическим светом. Какой вид! Когда обливаешься вечером, в темноте, водой, прямо из океана, искры сыплются, бегут, скользят по телу и пропадают под ногами, на палубе. Это мелкие животные, называемые, кажется, медузами. Море уже отзывалось землей, несло на себе ее следы; бешено кидаясь на берега, оно оставляет рыб, ракушки и уносит песок, землю и прочее. А какая бездна невидимых и неведомых человеку тварей движется и кипит в этой чаше, переполненной жизнью! Тут пока преприлежно изведывали их альбатросы, чайки и морские ласточки, летавшие низко над водой. Эти птицы одни оживляют море: мы видели их иногда на расстоянии 500 миль от ближайшего берега. Между ними много так называемых у нас «глупышей», больших птиц, с тонкими, стройными пегими крыльями, с тупой головой и с крепким носом. В самом деле у них глуповата физиономия. Они безвкусны, жестки, летают над самым кораблем и часто зацепляют крыльями за паруса.

7-го или 8-го марта, при ясной, теплой погоде, когда качка унялась, мы увидели множество какой-то красной массы, плавающей огромными пятнами по воде. Наловили ведра два — икра. Недаром видели стаи рыбы, шедшей незадолго перед тем тучей под самым носом фрегата. Я хотел продолжать купаться, но это уже были не тропики: холодно, особенно после свежего ветра. Фаддеев так с радости и покатился со смеху, когда я вскрикнул, лишь только он вылил на меня ведро.

9-го мы думали было войти в Falsebay, но ночью проскользнули мимо и очутились миль за пятнадцать по ту сторону мыса. Исполинские скалы, почти совсем черные от ветра, как зубцы громадной крепости, ограждают южный берег Африки. Здесь вечная борьба титанов — моря, ветров и гор, вечный прибой, почти вечные бури. Особенно хороша скала Hanglip. Вершина ее нагибается круто к средине, а основание выдается в море. Вершины гор состоят из песчаника, а основание из гранита. Наконец 10 марта, часу в шестом вечера, идучи снизу по трапу, я взглянул вверх и остолбенел: гора так и лезет на нас. «Мы на мели?» — спросил я деда. «Что вы! Бог с вами: типун бы вам на язык — на якорь становимся!» В самом деле скомандовали: «Из бухты вон!», потом: «Отдай якорь!» Раздался минутный гром рвануvшейся цепи, фрегат дрогнул и остановился. Мы стали в полутора верстах от берега, но он состоял из горы, и она показалась мне так высока, что скрадывала расстояние, подавляя высотой домы и церкви Саймонстоуна. А после, когда я увидел Столовую гору, эта мне показалась пригорком. К нам наехали, по обыкновению, разные лица, с рекомендатель-

ными письмами от датских, голландских и прочих кораблей, портные, прачки мужеского пола и т. п.

Саймонсбей — это небольшой, укромный уголок большой бухты Фальсбей. В нее надо войти умеючи, а то как раз стукнешься о каменья, которые почему-то называются «римскими», или о «Ноев ковчег», большой, плоский, высовывающийся из воды камень у входа в залив, в нескольких саженях от берега, который тоже весь усеян более или менее крупными каменьями. Начиная с апреля, суда приходят сюда; и те, которые стоят в Столовой бухте, на зиму переходят сюда же, чтобы укрыться от сильных юго-западных ветров. Саймонская бухта защищена со всех сторон горами.

Лишь только мы стали на якорь, одна из гор, с правой стороны от города, накрылась облаком, которое плотно, как парик, легло на вершину. А по другому, самому высокому утесу медленно ползало тоже облако, спускаясь по обрыву, точно слой дыма из исполинской трубы. У самого подножия горы лежат домов до сорока английской постройки; между ними видны две церкви, протестантская и католическая. У адмиралтейства английский солдат стоит на часах, в заливе качается английская же эскадра. В одном из лучших домов живет начальник эскадры, коммодор Тальбот.

Скудная зелень едва смягчает угрюмость пейзажа. Сады из кедров, дубов, немножко тополей, немножко виноградных трельяжей, кое-где кипарис и мирт да заборы из колючих кактусов и исполинских алоэ, которых корни обратились в древесину,— вот и все. Голо, уединенно, мрачно. В городе, однако ж, есть несколько весьма порядочных лавок; одну из них, помещающуюся в отдельном домике, можно назвать даже богатою.

Спутники мои беспрестанно съезжали на берег, некоторые уехали в Капштат, а я глядел на холмы, ходил по палубе, читал было, да не читается, хотел писать — не пишется. Прошло дня три-четыре, инерция продолжалась. Однажды наши, приехав с берега, рассказывали, что на пристани к ним подошел старик и чисто по-русски сказал: «Здравия желаю, ваше благородие».— «Кто ты такой? откуда?»— спросил наш офицер. «Русский,— отвечал он,— в 1814 году взят французами в плен, потом при Ватерлоо дрался с англичанами, взят ими, завезен сюда, женился на черной, имею шестерых детей».— «Откуда ты родом?»— «Из Орловской губернии». Но от него трудно было добиться других сведений — так дурно говорил он уже по-русски. Наш фрегат обнажили, спустили рангоут, сняли ванты — и закипела работа. Шлюпки беспрестанно ездили на берег и обратно. П. А. Тихменев, успевший облечься в желтенькое пальто и соломенную шляпу с голубой лентой, ежедневно уезжал в пустой шлюпке и приезжал, или, лучше сказать, приезжала шлюпка с мясом, зеленью, фруктами и с

ним. Соломенная шляпа, как цветок, видна была между бычачьей ногой и арбузами.

«Где мы?»— спросил я однажды, скуки ради, Фаддеева. Он косо и подозрительно поглядел на меня, предвидя, что вопрос сделан недаром. «Не могу знать»,— говорил он, оглядывая с своим равнодушием стены. «Это глупо не знать, куда приехал». Он молчал. «Говори же».— «Почем я знаю?»— «Что ж ты не спросишь?»— «На что мне спрашивать?»— «Воротишься домой, спросят, где был; что ты скажешь? Слушай же: я тебе скажу, да смотри помни. Откуда мы приехали сюда?» Он устремил на меня глаза с намерением во что бы ни стало понять, чего я хочу, и по возможности удовлетворить меня; а мне хотелось навести его на какое-нибудь соображение. «Откуда приехали?»— повторил он вопрос. «Ну да?»— «Из Англии».— «А Англия-то где?» Он еще больше косо стал смотреть на меня. Я вижу, что мой вопрос темен для него. «Где Франция, Италия?»—«Не могу знать».— «Ну, где Россия?» — «В Кронштадте»,— проворно сказал он. «В Европе,— поправил я,— а теперь мы приехали в Африку, на южный ее край, на мыс Доброй Надежды».— «Слушаю-с».— «Помни же!»

И географический урок Фаддееву был развлечением среди гор, песков, в захолустье. На фрегате сильно работали: везде лежали снасти, реи; прохода нет. Только на юте и можно было ходить; там по временам играла музыка. Мы лорнировали берег, удили рыбу, и, между прочим, вытащили какую-то толстенькую рыбу, с круглой головкой, мягкую, без чешуи; брюхо у ней желтое, а спина вся в пятнах. Ее посадили в кадку. Приехал кто-то из англичан и, увидев ее, торопливо предупредил, чтоб не ели. «Это ядовитая,— сказал он,— от нее умирают через пять, десять минут. Были примеры: однажды отравилось несколько человек с голландского судна. Свиньи иногда едят ее, выброшенную на берег, повертятся, повертятся, потом и околеют». Вытаскивали много отличной, вкусной рыбы, похожей видом на леща; еще какой-то красной, потом плоской; разнообразие рыбьих пород неистощимо. Еще нам к столу навезли превосходного винограду, весьма посредственных арбузов и отличных крупных огурцов.

На четвертый день и я собрался съехать на берег с нашими докторами и с бароном Криднером. Первые собрались ботанизировать, а мы с бароном Криднером — мешать им. По берегам кое-где были разбросаны каменья, но такие, что из каждого можно построить препорядочный домик. Когда я собрался ехать, и Фаддеев явился ко мне: «Позвольте и мне с вами, ваше высокоблагородие»,— сказал он. «Куда?» — «Да в Африку-то», отвечал он, помня мой урок. «Что ты станешь там делать?»— «А вон на ту гору охота влезть!»

Ступив на берег, мы попали в толпу малайцев, негров и *африканцев*, как называют себя белые, родившиеся в Африке.

Одни работали в адмиралтействе, другие праздно глядели на море, на корабли, на приезжих или просто так, на что случится. За нами шли наши слуги; кто нес ружье, кто сетку ловить насекомых, кто молоток — разбивать каменья. «Смотрите,— говорили мы друг другу,— уже нет ничего нашего, начиная с человека; все другое: и человек, и платье его, и обычай». Плетни устроены из кустов кактуса и алоэ: не дай бог схватиться за куст — что наша крапива! Не только честный человек, но и вор, даже любовник, не перелезут через такой забор: миллион едва заметных глазу игл вонзится в руку. И камень не такой, и песок рыжий, и травы странные: одна какая-то кудрявая, другая в палец толщиной, третья бурая, как мох, та дымчатая. Пошли за город, по мелкому и чистому песку, на взморье: под ногами хрустели раковинки. «Все не наше, не такое»,— твердили мы, поднимая то раковину, то камень. Промелькнет воробей — гораздо наряднее нашего, франт, а сейчас видно, что воробей, как он ни франти. Тот же лёт, те же манеры, и так же копается, как наш, во всякой дряни, разбросанной по дороге. И ласточки и вороны есть; но не те: ласточки серее, а ворона чернее гораздо. Собака залаяла, и то не так, отдает чужим, как будто на иностранном языке лает. По улицам бегали черномазые, кудрявые мальчишки, толпились черные или коричневые женщины, малайцы, в высоких соломенных шляпах, похожих на колокола, но с более раздвинутыми или поднятыми несколько кверху полями. Только свинья так же неопрятна, как и у нас, и так же неистово чешет бок об угол, как будто хочет своротить весь дом, да кошка, сидя в палисаднике, среди мирт, преусердно лижет лапу и потом мажет ею себе голову. Мы прошли мимо домов, садов, по песчаной дороге, миновали крепость и вышли налево за город.

Нас предупреждали, чтоб мы не ходили в полдень близ кустов: около этого времени выползают змеи греться на солнце; но мы не слушали, шевелили палками в кустах, смело прокладывая себе сквозь них дорогу. Змеи, кажется, еще более остерегаются людей, нежели люди их. Я видел только ящерицу, хотел прижать ее тростью на месте, но зеленая тварь с непостижимым проворством скользнула в норку. По одной дороге с нами шли три черные женщины. Я спросил одну, какого она племени: «Финго!— сказала она,— мозамбик,— закричала потом,— готтентот!» Все три начали громко хохотать. Не раз случалось мне слышать этот наглый хохот черных женщин. Если пройдете мимо — ничего; но спросите черную красавицу о чем-нибудь, например о ее имени или о дороге, она соврет, и вслед за ответом раздастся хохот ее и подруг, если они тут есть. «Бичуан! Кафр!»— продолжала кричать нам баба. В самом деле — баба. Одета, как наши бабы: на голове платок, около поясницы что-то вроде юбки, как у сарафана, и сверху рубашка; и иногда платок на шее, иногда нет. Некоторые женщины, из коричневых племен,

поразительно сходны с нашими загорелыми деревенскими старухами; зато черные ни на что не похожи: у всех толстые губы, выдавшиеся челюсти и подбородок, глаза как смоль, с желтым белком, и ряд белейших зубов. Улыбка на черном лице имеет что-то страшное и злое.

Мы нашли целый музеум между каменьями, в которые яростно бьет прибой: раковин, моллюсков, морских ежей и раков. Слизняки так прирастают к каменьям, что нет возможности отодрать их. Они эластичны: только пожмешь, из них фонтанами брызжет вода. Морской еж — это полурастение, полуживотное: он растет и, кажется, дышит. Это комок травянистого тела, которому основанием служит зелененькая, травянистая же чашечка. Весь он усеян иглами и ярко блещет красками. Наш любитель-натуралист набрал их множество, сверх того, цветов, прутьев, листьев, раковин. Раковины, однако ж, были так себе, простоваты. Между тем в отеле я видел великолепные, разноцветные и огромные раковины. «Это здешние?»— спросил я. «Нет,— отвечали мне,— с острова Святого Маврикия». Я заметил, что, куда ни приедешь, найдешь что-нибудь замечательное; спросишь, откуда оно, всегда укажут дальше, вперед, а иногда назад. В Капштате я увидел в табачном магазине футлярчики для спичек, точеные из красивого, двухцветного дерева. Я сейчас же купил несколько на память о мысе Доброй Надежды. Я спросил, как зовут дерево? «Бокс»,— сказал англичанин. «А откуда оно?» — «Из Англии»,— отвечал он. На острове Святого Маврикия, пожалуй, скажут, что раковины из Парижа. Впрочем, здесь, как в целом мире, есть провинциальная замашка выдавать свои товары за столичные. Что ни спросишь: шляпу, сапоги — это из Лондона!— отвечают вам. Я вспомнил наши уездные города и надписи на бледно-синей доске: «Портной из Нижнего». Табачник думал, что бог знает как утешит меня, выдав свой товар за английский.

Воротясь с прогулки, мы зашли в здешнюю гостиницу Fountain hotel: дом голландской постройки, с навесом в виде балкона, с чисто убранными комнатами, в которых полы были лакированы. Потолок в комнатах был из темного дерева, привозимого с восточного берега, из порта Наталь. Доставка его изнутри колонии обходится дорого, оттого дерево употребляется только на мебель и другие, самые необходимые поделки. Зато камень нипочем: все домы каменные. Мы видели даже несколько очень бедных рыбачьих хижин, по дороге от Саймонстоуна до Капштата, построенных из костей выброшенных на берег китов и других животных. Мы сели у окна за жалюзи, потому что хотя и было *уже* (у нас бы надо сказать *еще*) 15 марта, но день был жаркий, солнце пекло, как у нас в июле или как здесь в декабре.

На камине и по углам везде разложены минералы, раковины, чучелы птиц, зверей или змей, вероятно все «с острова Святого

Маврикия». В камине лежало множество сухих цветов, из породы *иммортелей*, как мне сказали. Они лежат, не изменяясь по многу лет: через десять лет так же сухи, ярки цветом и так же ничем не пахнут, как и несорванные. Мы спросили инбирного пива и констанского вина, произведения знаменитой Констанской горы. Пиво мальчик вылил все на барона Криднера, а констанское вино так сладко, что из рук вон. Оно напоминает вкусом немного малагу, но только слаще. На стенах были плохие картинки — неизбежная принадлежность станций и трактиров всего земного шара, как я убедился теперь. Без них скучно на станции: это большое развлечение для путешественника. Припомните, сколько раз вам пришлось улыбнуться, рассматривая на наших станциях, пока запрягают лошадей, простодушные изображения лиц и событий? И тут то же самое. Вот, например, на одной картинке представлена драка солдат с контрабандистами: герои режут и колют друг друга, а лица у них сохраняют такое спокойствие, какого в подобных случаях не может быть даже у англичан, которые тут изображены, что и составляет истинный комизм такого изображения. На других картинках представлена скачка с препятствиями: лошади вверх ногами, люди по горло в воде. По этим картинкам я заключил, не видав еще хозяев, что гостиница английская. У голландцев скачек не изображается, зато везде увидишь охоту за тиграми или лисицами, потом портреты королей и королев. И там пленяешься своего рода несообразностями: барс схватил зубами охотника за ногу, а охотник, лежа в тростнике, смотрит в сторону и смеется. Вообще можно различать английские и голландские гостиницы с первого взгляда. У англичан везде виден комфорт или претензия на него, у голландцев — патриархальность, проявляющаяся в старинной, почерневшей от времени, но чисто содержимой мебели, особенно в деревянных пузатеньких бюро и шкафах, с дедовским фарфором, серебром и т. п. По состоянию одних этих гостиниц безошибочно можете заключить, что голландцы падают, а англичане возвышаются в здешней стороне. У первых все смотрит скучно, запущенно; у последних весело, ново и свежо. Мы провели с час, покуривая сигару и глядя в окно на корабли, в том числе на наш, на дальние горы; тешились мыслью, что мы в Африке. «А ведь это самый южный трактир отсюда по прямому пути до полюса,— сказал мне товарищ,— внесите это в вашу записную книжку». Я не знал, к какому роду знаний отнести это замечание, и обещал поместить его особо.

Я никак не ожидал, чтоб Фаддеев способен был на какуюнибудь любезность, но, воротясь на фрегат, я нашел у себя в каюте великолепный цветок: горный тюльпан, величиной с чайную чашку, с розовыми листьями и темным, коричневым мхом внутри, на длинном стебле. «Где ты взял?»— спросил я. «В Африке, на горе достал»,— отвечал он.

Мы собрались всемером в Капштат, но с тем, чтоб сделать поездку подальше, в колонию. И однажды утром, взяв по чемоданчику с бельем и платьем да записные книжки, пустились в двух экипажах, то есть фурах, крытых с боков кожей.

От Саймонсбея до Капштата всего 24 английских мили, или 36 верст. Дорога, первые 12 миль, идет по берегу, то у подошвы утесов, то песками, или по ребрам скал, всё по шоссе; дорога невеселая, хотя море постоянно в виду, а над головой теснятся утесы, усеянные кустарниками, но все это мрачно, голо. Верхушки утесов резко оттеняются своим темно-серым цветом песчаника от покрытого травой гранита. Мы видели высоко в ущельях гор пасущихся коров: они казались снизу букашками. В одном месте, направо, есть озерко пресной воды. Кое-где одиноко стоят рыбачьи хижины; две-три дачи под горой да маленькая гостиница — вот и все. Жизни мало; только чайки плавно носятся по прибрежью да море вечно и неумолкаемо шумит и плещет. На половине дороги другая гостиница, так и называется *Halfway* (половина пути). Наш кучер остановился тут, отпряг лошадей и предложил нам потребовать refreshment, то есть закусить. На дворе росло огромное кедровое дерево; главный флигель строился, а гостиница помещалась в другом, маленьком. Мы заказали завтрак и пошли в сад. При входе крупными буквами написано, чтобы ничего не трогали в саду без позволения садовника. Но трогать было нечего, кроме разве незрелых фиг да кукурузы, которую убирал негр. Прочее все давно снято. Хотя погода была жаркая, но уж не летняя здесь. Листья летели с деревьев и усыпали дорожки. Сад был порядочный, он же и огород. Тут посажены были, кроме фиговых деревьев, бананы, виноград, капуста и огурцы. Видно было много цветов. Завтрак состоял из яичницы, холодной и жесткой солонины, из горячей и жесткой ветчины. Яичница, ветчина и картинки в деревянных рамах опять напомнили мне наши станции. Тут, впрочем, было богатое собрание птиц, чучелы зверей; особенно мила головка маленького оленя, с козленка величиной; я залюбовался на нее, как на женскую (благодарите, mesdames), да по углам красовались еще рога диких буйволов, огромные, раскидистые, ярко выполированные, напоминавшие тоже головы, конечно не женские...

Остальная половина дороги, начиная от гостиницы, совершенно изменяется: утесы отступают в сторону, мили на три от берега, и путь, веселый, оживленный, тянется между рядами дач, одна другой красивее. Въезжаешь в аллею из кедровых, дубовых деревьев и тополей: местами деревья образуют непроницаемый свод; кое-где другие аллеи бегут в сторону от главной, к дачам и к фермам, а потом к Винбергу, маленькому городку, который виден с дороги. Налево видна знаменитая по своему вину Констанская гора. Рядом с ней идет хребет вплоть до Столовой горы. По дороге то обгоняли нас, то встречались фуры,

кабриолеты, кареты, всадники. Из аллеи неприметно въезжаешь в Капштат. При въезде берут по 8 пенсов с экипажа за шоссе; при выезде из Саймонсбей столько же. По дороге еще есть красивая каменная часовня в полуготическом вкусе, потом, в стороне под горой, на берегу, выстроено несколько домиков для приезжающих на лето брать морские ванны. Есть рыбачья слобода, с рощей вокруг.

### КАПШТАТ

Задолго до въезда в город глазам нашим открылись три странные массы гор, непохожих ни на одну из виденных нами. Одна предлинная, довольно отлогая, с углублением в средине, с возвышенностями по концам; другая высокая, ровная и одинаково широкая и в основании, и наверху. Вершины нет: она как будто срезана, и гора оканчивается кверху площадью, почти равною основанию. К ней прислонилась третья гора, вся в рытвинах, более первых заросшая зеленью: «Что это?» — спросил я кучера малайца, указывая на одну гору. «Tablemountain»,— сказал он (Столовая гора). «А это?» — «Lion's head» (Львиная гора). «А это?» — «Deavilspick» (Чертов пик).

Столовая гора названа так потому, что похожа на стол, но она похожа и на сундук, и на фортепиано, и на стену — на что хотите, всего меньше на гору. Бока ее кажутся гладкими, между тем в подзорную трубу видны большие уступы, неровности и углубления; но они исчезают в громадности глыбы. Эти три горы, и между ними особенно Столовая, недаром приобрели свою репутацию.

Обливают ли их солнечные лучи, лежит ли густой туман на них, или опоясывают облака — во всех этих уборах они прекрасны, оригинальны и составляют вечно занимательное и грандиозное зрелище для путешественника. Три странные формы, как три чудовища, облегли город. Столовая гора, мрачная, серая, как все горы, окаймляющие южный берег Африки, состоит из песчаника, почерневшего от солнца и воздуха. Кое-где зеленеет травка, да кустарниковые растения забрались в промытые дождем рытвины. По подошве кучками разбросаны рощицы и сады, с дачами и виноградниками. С вида кажется невозможным войти в эту стену; между тем там проложены тропинки, и любопытные, с проводниками, беспрестанно отправляются туда. И некоторые из наших ходили: пошли в сапогах, а воротились босые. Вершина горы, сказывали они, плоская, поросшая кустарником во всю площадь. Львиная гора похожа, говорят, на лежащего льва: продолговатый холм в самом деле напоминает хребет какого-то животного, но конический пик, которым этот холм примыкает к Столовой горе, вовсе не похож на львиную голову. Зато коронка пика образует совершенно пра-

вильную фигуру спящего львенка. Товарищи мои заметили то же самое: нельзя нарочно сделать лучше; так и хочется снять ее и положить на стол, как presse papier.

Любуясь на горы, мы незаметно очутились у широкого крыльца двухэтажного дома: это Welch's hotel. У подъезда, на нижней ступеньке, встретил нас совсем черный слуга; потом слуга малаец, не совсем черный, но и не белый, с красным платком на голове; в сенях — служанка, англичанка, побелее; далее, на лестнице — девушка лет 20, красавица, положительно белая, и наконец — старуха, хозяйка, nec plus ultra[1] белая, то есть седая. Мы вошли в чистые, круглые, освещенные сверху сени, с прекрасной деревянной лестницей и выходом прямо на дворик, с балконом. Около дворика кругом шла шпалера из виноградных лоз, и кисти ягод висели везде, зрелые и крупные, янтарного цвета. Двери направо в гостиную и налево в столовую были отворены настежь, с полуоткрытыми жалюзи и окнами. Везде сумрак и прохлада. В сенях мы встретили своих, которые накануне уехали. Они шли гулять; мы сдали вещи слугам и присоединились к ним. Слуга спросил меня и барона, будем ли мы обедать. Чересчур жесткая солонина и слишком мягкая яичница в Halfway еще были *присущи* у меня в памяти или в желудке, и я отвечал: «Не знаю».— «Будем, будем!» — торопливо за себя и за меня решил барон. На лестнице служанка подошла к нам и спросила, будем ли мы обедать? «Не знаю...»— начал было я, но барон не дал мне договорить. Пока мы сдавали вещи, наши спутники толпой теснились у буфета. Я продрался посмотреть, что они делают. Вот что: из темной комнаты буфета в светлые сени выходило большое окно; в нем, как в рамке, вставлена была прекрасная картинка: хорошенькая девушка, родственница m-rs Welch, Кэролейн, то есть Каролина, та самая, которую мы встретили на лестнице. Она была прекрасного роста, с прекрасной талией, с прекрасными глазами и предурными руками — прекрасная девушка! Сквозь белую, нежную кожу сквозили тонкими линиями синие жилки; глаза большие, темно-синие и лучистые; рот маленький и грациозный, с вечной, одинаковой для всех улыбкой. Я после видел, как она обрезала палец и заплакала: лоб у ней наморщился, глаза выразили страдание, а рот улыбался: такова сила привычки. Как грациозно подавала она каждому счет, написанный хотя дурной рукой, но прекрасным почерком! Как мило говорила: «Thank you!»[2], когда взамен счета ей подавали кучку фунтов. А что за прелесть, когда она, как сильфида, неслышными шагами идет по лестнице, вдруг остановится посредине ее, обопрется на перила и, обернувшись, бросит на вас убийственный взгляд. Она-то привлекала всех к окну: там было постоянное сборище. Она,

---

[1] до крайнего предела (*лат.*).
[2] Благодарю вас! (*англ.*)

то во весь рост, то сидя, рисовалась на темном фоне комнаты. Сзади, как дополнение, аксессуар комнаты, сидела на диване довольно грузная старушка, m-rs Welch. Предоставив Каролине улыбаться и разговаривать с гостями, она постоянно держалась на втором плане, молча принимала передаваемые ей Каролиной фунты и со вздохом опускала в карман. Увидя нас, новоприезжих, обе хозяйки в один голос спросили, будем ли мы обедать. Этот вопрос занимал весь дом.

День был удивительно хорош: южное солнце, хотя и осеннее, не щадило красок и лучей; улицы тянулись лениво, домы стояли задумчиво в полуденный час и казались вызолоченными от жаркого блеска. Мы прошли мимо большой площади, называемой *Готтентотскою*, усаженной большими елями, наклоненными в противоположную от Столовой горы сторону по причине знаменитых ветров, падающих с этой горы на город и залив.

На площади учатся обыкновенно войска; но их теперь нет: они еще воюют с кафрами. В конце площади биржа — низенькое, не представляющее ничего замечательного здание голландской постройки. В нем большая зала, увешанная тысячами печатных уведомлений о продаже, о покупке, да множество столов с газетами. Рядом в комнате помещается библиотека. Мы видели много улиц и площадей, осмотрели английскую и католическую церкви, миновав мечеть, помещающуюся в доме, который ничем не отличается от других. Но куда ни взглянешь, везде взгляд упирается то в зеленеющие бока лежащего Льва, то в Столовую гору, то в Чертов пик. Город как будто сдавлен ими, только к юго-западу раздвигается безграничный простор: там море сливается с небом.

Мы в конце одной улицы заметили темную аллею и поворотили туда. Это была длинная, совсем закрытая вершинами елей дорога для пешеходов, убитая, впрочем, довольно острыми камешками. Пройдя несколько сажен, мы подошли ко входу в ботанический сад, в который вход дозволен за деньги по подписке; но для путешественников он открыт во всякое время безденежно. Что за наслаждение этот сад! Он не велик: едва ли составит половину петербургского Летнего сада, но зато в нем собраны все цветы и деревья, растущие на Капе и в колонии. Все рассажено в порядке, посемейно. Мы обошли кругом сада, не пропуская ни одного растения. Сначала идут деревья: померанцевые, фиговые и другие, потом кусты. Миртовые всевозможных пород, кипарисные, и между ними миллионы мелких цветов, ярких, блестящих. Я припоминал наши роскошные дачи и цветники, где все это стоит или под стеклом, или в кадках, а на зиму прячется. Здесь круглый год все зеленеет и цветет. По местам посажено было чрезвычайно красивое и не виданное у нас дерево, называемое по-английски broomtree. Broom значит *метла*; дерево названо так потому, что у него нет листьев, а есть только

тонкие и чрезвычайно длинные зеленые прутья, которые висят, как кудри, почти до земли. Они видом немного напоминают плакучие ивы, но гораздо красивее их. Какая богатая коллекция георгин! Вот семейство алоэ; особенно красивы зеленые листья с двумя широкими желтыми каймами. Семья кактусов богаче всех: она занимает целую лужайку. Что за разнообразие, что за уродливость и что за красота вместе! Я мимо многих кустов проходил с поникшей головой, как мимо букв неизвестного мне языка. Посредине главной аллеи растут, образуя круг, точно дубы, огромные грушевые деревья, с большими, почти с голову величиною, грушами, но жесткими, годными только для компота.

С одного места из сада открывается глазам вся Столовая гора. Меня опять поразила эта громада, когда мы были у ее подошвы. Солнце обливало ее лучами; наверху прилипло в одном месте облако и лежало там покойно, не шевелясь, как глыба снегу. Зеленеющие бока Льва казались еще зеленее. На крестце его вертелся телеграф, разговаривая с судами. Я вглядывался в рытвины Столовой горы, промытые протоками и образующие видом так называемые «ножки стола». На этом расстоянии то, что издали казалось мхом, травкой, являлось целыми лесами кустов и деревьев. Вся гора, взятая нераздельно, кажется какой-то мрачной, мертвой, безмолвной массой, а между тем там много жизни: на подошву ее лезут фермы и сады; в лесах гнездятся павианы (большие черные обезьяны), кишат змеи, бегают шакалы и дикие козы. Гора не высока, всего 3500 футов над морем, но громоздка, широка. Вообще все три горы кажутся покинутыми материалами от каких-то громадных замыслов и недоконченных нечеловеческих работ.

Обошедши все дорожки, осмотрев каждый кустик и цветок, мы вышли опять в аллею и потом в улицу, которая вела в поле и в сады. Мы пошли по тропинке и потерялись в садах, ничем не огороженных, и рощах. Дорога поднималась заметно в гору. Наконец забрались в чащу одного сада и дошли до какой-то виллы. Мы вошли на террасу и, усталые, сели на каменные лавки. Из дома вышла мулатка, объявила, что господ ее нет дома, и по просьбе нашей принесла нам воды.

Город открылся нам весь оттуда, город чисто английский, с немногими исключениями: высокие двухэтажные домы, с магазинами внизу; улицы пересекаются под прямым углом. Кругом далеко видны загородные домы и прячущиеся в зелени фермы. Зелень, то есть деревья, за исключением мелких кустов, только и видна вблизи ферм, а то всюду голь, все обнажено и иссушено солнцем, убито неистовыми, дующими с моря и с гор ветрами. Взгляд далеко обнимает пространство и ничего не встречает, кроме белоснежного песку, разноцветной и разнообразной травы да однообразных кустов, потом неизбежных гор, которые группами беспорядочно стоят, как люди, на огромной

площади, то в кружок, то рядом, то лицом или спинами друг к другу.

Дорогой навязавшийся нам в проводники малаец принес нам винограду. Мы пошли назад всё по садам, между огромными дубами, из рытвины в рытвину, взобрались на пригорок и, спустившись с него, очутились в городе. Только что мы вошли в улицу, кто-то сказал: «Посмотрите на Столовую гору!» Все оглянулись и остановились в изумлении: половины горы не было.

Облако, о котором я говорил, разрослось, пока мы шли садами, и густым слоем, точно снегом, покрыло плотно и непроницаемо всю вершину и спускалось по бокам ровно: это *стол накрывался скатертью*. Мы шли улицей, идущей скатом, и беспрестанно оглядывались: скатерть продолжала спускаться с неимоверной быстротой, так что мы не успели достигнуть середины города, как гора была закрыта уже до половины. Я ждал, не будет ли бури, тех стремительных ветров, которые наводят ужас на стоящие на рейде суда; но жители капштатские говорят, что этого не бывает. Столовая гора может хоть вся закутаться в саван — они не боятся. Беда, когда *лев накинет чепчик!* Я после сам имел случай поверить это собственным наблюдением.

Я пристально всматривался в физиономию города: та же Англия, те же узенькие, высокие английские домы, крытые аспидом и черепицей, в два, редкие в три этажа. Внизу магазины. Только одно исключение допущено в пользу климата: это большие, во всю ширину дома веранды или балконы, где жители отдыхают по вечерам, наслаждаясь прохладой. Есть несколько домов голландской постройки, с одним и тем же некрасивым тяжелым фронтоном и маленькими окошками, с тонким переплетом в рамах и очень мелкими стеклами. Но остатки голландского владычества редки. Я почти не видал голландцев в Капштате, но язык голландский, однако ж, еще в большом ходу. Особенно на нем говорят все старики, слуги и служанки. На всяком шагу бросаются в глаза богатые магазины сукон, полотен, материй, часов, шляп; много портных и ювелиров, словом — это уголок Англии.

Здесь, как в Лондоне и Петербурге, дома стоят так близко, что не разберешь, один это или два дома; но город очень чист, смотрит так бодро, весело, живо и промышленно. Особенно любовался я пестрым народонаселением. Англичанин — барин здесь, кто бы он ни был: всегда изысканно одетый, холодно, с пренебрежением отдает он приказания черному. Англичанин сидит в обширной своей конторе, или в магазине, или на бирже, хлопочет на пристани, он строитель, инженер, плантатор, чиновник, он распоряжается, управляет, работает, он же едет в карете, верхом, наслаждается прохладой на балконе своей виллы, прячась под тень виноградника.

А черный? Вот стройный, красивый негр финго, или мозамбик, тащит тюк на плечах; это «кули» — наемный слуга, носильщик, бегающий на посылках; вот другой, из племени зулу, а чаще готтентот, на козлах ловко управляет парой лошадей, запряженных в кабриолет. Там третий, бичуан, ведет верховую лошадь; четвертый метет улицу, поднимая столбом красно-желтую пыль. Вот малаец, с покрытой платком головой по обычаю магометан, едет с фурой, запряженной шестью, восемью, до двенадцати быков и более. Вот идет черная старуха, в платке на голове, сморщенная, безобразная; другая, безобразнее, торгует какой-нибудь дрянью; третья, самая безобразная, просит милостыню. Толпа мальчишек и девчонок, от самых белых до самых черных включительно, бегают, хохочут, плачут и дерутся. Волосы у черных — как куча сажи. Мулаты, мулатки в европейских костюмах; далее пьяные английские матросы, махая руками, крича во все горло, в шляпах и без шляп, катаются в экипажах или толкутся у пристани. И между всем этим народонаселением проходят и проезжают прекрасные, нежные создания — английские женщины.

Мы пришли на торговую площадь; тут кругом теснее толпились дома, было больше товаров вывешено на окнах, а на площади сидело много женщин, торгующих виноградом, арбузами и гранатами. Есть множество книжных лавок, где на окнах, как в Англии, разложены сотни томов, брошюр, газет; я видел типографии, конторы издающихся здесь двух газет, альманахи, магазин редкостей, то есть редкостей для европейцев: львиных и тигровых шкур, слоновых клыков, буйволовых рогов, змей, ящериц.

В городе считается около 25 тысяч всех жителей, европейцев и цветных. Кроме черных и малайцев, встречается много коричневых лиц весьма подозрительного свойства, напоминающих не то голландцев, не то французов или англичан: это помесь этих народов с африканками. Собственно же коренных и известнейших племен: кафрского, готтентотского и бушменского, особенно последнего, в Капштате не видать, кроме готтентотов — слуг и кучеров. Они упрямо удаляются в свои дикие убежища, чуждаясь цивилизации и оседлой жизни. Впрочем, племя бушменов малочисленно; они гнездятся в землянках, вырытых среди кустов, оттого и названы бушменами (куст по-голландски *буш*), они и между собой живут не обществом, а посемейно, промышляют ловлей зверей, рыбы и воровством. Один из новых писателей о Капской колонии, Торнли Смит (Thornley Smith), находит у бушменов сходство с Плиниевыми троглодитами[1], которые жили в землянках, питались змеями и, вместо явственной

[1] Троглодиты (греч. troglodyti — жители пещер) — древнегреческое название племен, находящихся на низших ступенях развития. О них рассказывает в своей «Естественной истории» римский ученый и писатель Плиний Старший (23—79).

речи, издавали глухое ворчанье. Есть сходство, особенно когда послушаешь, как бушмены говорят: об этом скажу ниже.

Город посредством водопроводов снабжается отличной водой из горных ключей. За это платится жителями известная подать, как, впрочем, за все удобства жизни. Англичане ввели свою систему сборов, о чем также будет сказано в своем месте.

Устав и наглядевшись всего, мы часов в шесть воротились в гостиницу. Там в длинной столовой накрыт был большой стол. Мы разошлись по нумерам переодеться к обеду. Я осмотрел внимательно свой нумер: это длинная мрачная комната, с одним пребольшим окном, но очень высокая. В ней постель, по обыкновению преширокая, с занавесом; дрянной ореховый стол, несколько стульев, которые скликают друг друга; обои разодраны в некоторых местах; на потолке красуется пятно. В окне одно стекло разбито; на столике стояло маленькое зеркало, в простой рамке с ящиком. Я обошел комнату раза два, поглядел на свой не развязанный, туго набитый мешок с бельем и платьем и вздохнул из глубины души. «Фаддеев! Филипп! где вы?»— сорвалось у меня с языка воззвание к слугам. Я позвонил: явился мальчик лет двадцати, угреватый, подслеповатый, и в комнате вдруг запахло собакой. «Воды — бриться!» — сказал я. «Yes, sir» [1],— отвечал он и не принес. Я позвонил — и он явился с кружкой воды. «Щетку,— сказал я,—для платья!» То же «yes» в ответ и то же непослушание. Вдруг раздался звонок — это приглашение к обеду. Я сошел в сени. Малаец Ричард, подняв колокол с большой стакан величиной вровень с своим ухом и зажмурив глаза, звонил изо всей мочи на все этажи и нумера, сзывая путешественников к обеду. Потом вдруг перестал, открыл глаза, поставил колокол на круглый стол в сенях и побежал в столовую.

Там явились всё только наши да еще служащий в Ост-Индии английский военный доктор *Whetherhead*. На столе стояло более десяти покрытых серебряных блюд, по обычаю англичан, и чего тут не было! Я сел на конце; передо мной поставили суп, и мне пришлось хозяйничать.

Нас село за обед человек шестнадцать. *Whetherhead* сел подле меня. Я разлил всем суп, в том числе и ему, и между нами завязался разговор, сначала по-английски, но потом перешел на немецкий язык, который знаком мне больше. Мне казалось, что будто он умышленно затрудняется говорить по-немецки. Вскоре он стал говорить и со всеми. Он был очень умен, любезен и услужлив. Мое хозяйничанье на супе и окончилось. Ричард снял крышку с другого блюда: там задымился кусок ростбифа. Я трогал его длинным и, как бритва, острым ножом, то с той, то с другой стороны, стал резать, и нож ушел в глубину до половины куска. «Не портьте куска,— сказал мне барон,

---

[1] Да, сэр *(англ.)*.

млея перед этой горой мяса,— надо резать искусно». Я передвинул блюдо к доктору, и тот с уменьем, тонкими ломтями, начал отделять мясо и раскладывать по тарелкам. Но тут уже все стали хозяйничать. Почти перед всяким стояло блюдо с чем-нибудь. Перед одним кусок баранины, там телятина, и почти всё au naturel, как и любят англичане, жаркое, рыба, зелень и еще карри, подаваемое ежедневно везде, начиная с мыса Доброй Надежды до Китая, особенно в Индии; это говядина или другое мясо, иногда курица, дичь, наконец даже раки и особенно шримсы, изрезанные мелкими кусочками и сваренные с едким соусом, который составляется из десяти или более индийских перцев. Мало того, к этому подают еще какую-то особую, чуть не ядовитую сою, от которой блюдо и получило свое название. Как необходимая принадлежность к нему, подается особо вареный, в одной воде рис. Мы, не зная, каково это блюдо, брали доверчиво в рот; но тогда начинались различные затруднения: один останавливался и недоумевал, как поступить с тем, что у него во рту; иной, проглотив вдруг, делал гримасу, как будто говорил по-английски; другой поспешно проглатывал и метался запивать, а некоторые, в том числе и барон, мужественно покорились своей участи.

Как обыкновенно водится на английских обедах, один посылал свою тарелку туда, где стояли котлеты, другой просил рыбы, и обед съедался вдруг. Ричард метался, как угорелый, и отлично успевал подавать вовремя всякому, чего кто требовал. Он же приносил тому бутылку портвейна, другому хересу, а иным и стакан воды, но редко. Англичанам за обедом вода подается только для полосканья рта. Лишь кликнут: «Ричард!», да и кликать не надо: он не допустит, он глазами ловит взгляд, подбегает к вам, и вы — особенно с непривычки,— непременно засмеетесь прежде, а потом уже скажете, что вам нужно: такие гримасы делает он, приготовляясь слушать вас! Вы только намереваетесь сказать ему слово, он открывает глаза, как будто ожидая услышать что-нибудь чрезвычайно важное; и когда начнете говорить, он поворачивает голову немного в сторону, а одно ухо к вам; лицо все, особенно лоб, собирается у него в складки, губы кривятся на сторону, глаза устремляются к потолку. Редко можно встретить физиономию подвижнее этого лица, напоминающего наших татар.

Когда кончили обед, Ричард мгновенно потаскал прочь, одно за другим, блюда, потом тарелки, ножи, вилки, куски хлеба, наконец потащил скатерть. Я так и ждал, что он начнет таскать собеседников, хотя никто в этом надобности и не чувствовал. Он не дотронулся, однако ж, ни до одного стакана, ни до рюмки и особенно до бутылки. Потом стал расставлять перед каждым маленькие тарелки, маленькие ножи, маленькие вилки и с таким же проворством начал носить десерт: прекрупный янтарного цвета виноград и к нему большую хрустальную чашку

с водой, груши, гранаты, фиги и арбузы. Опять пошла такая же раздача: тому того, этому другого, нашим молодым людям всего. О пирожном я не говорю: оно то же, что и в Англии, то есть яичница с вареньем, круглый пирог с вареньем и маленькие пирожки с вареньем, да еще что-то вроде крема, без сахара, но, кажется... с вареньем. Наконец Ричард и это все утащил, но бутылки и рюмки опять оставил и скромно удалился. К удивлению его, мы удалились от бутылок еще скромнее, и кто постарше пошли в гостиную, а большинство — в буфет, к окну. Тут еще дали кому кофе, кому чаю и записали на каждого за все съеденное и выпитое, кроме вина, по четыре шиллинга: это за обед. Мне подали чаю; я попробовал и не знал, на что решиться, глотать или нет. Я стал припоминать, на что это похоже: помню, что в детстве, вместе с ревенем, мятой, бузиной, ромашкой и другими снадобьями, которыми щедро угощают детей, давали какую-то траву вроде этого чая. В Англии он казался мне дурен, а здесь ни на что не похож. Говорят, это смесь черного и зеленого чаев; но это еще не причина, чтоб он был так дурен; прибавьте, что к чаю подали вместо сахару песок сахарный, конечно, но все-таки песок, от которого мутный чай стал еще мутнее.

Мы пошли опять гулять. Ночь была теплая, темная такая, что ни зги не видать, хотя и звездная. Каждый, выходя из ярко освещенных сеней по лестнице на улицу, точно падал в яму. Южная ночь таинственна, прекрасна, как красавица под черной дымкой: темна, нема; но все кипит и трепещет жизнью в ней, под прозрачным флером. Чувствуешь, что каждый глоток этого воздуха есть прибавка к запасу здоровья; он освежает грудь и нервы, как купанье в свежей воде. Тепло, как будто у этой ночи есть свое темное, невидимо греющее солнце; тихо, покойно и таинственно; листья на деревьях не колышутся. Мы ходили до пристани и долго сидели там на больших камнях, глядя на воду. Часов в десять взошла луна и осветила залив. Вдали качались тихо корабли, направо белела низменная песчаная коса и темнели груды дальних гор.

Я воротился домой, но было еще рано; у окна буфета мистрис Вельч и Каролина, сидя друг подле друга на диване, зевали по очереди. Я что-то спросил, они что-то отвечали, потом м-с Вельч еще зевнула, за ней зевнула Каролина. Я хотел засмеяться и, глядя на них, сам зевнул до слез, а они засмеялись. Потом каждая взяла свечу, раскланялись со мной и, одна за другой, медленно пошли на лестницу. В сенях, на круглом столе, я увидел целый строй медных подсвечников и — о ужас, сальных свеч! Все это приготовлено для гостей. Меня еще в Англии удивило, что такой опрятный, тонкий и причудливый в житье-бытье народ, как англичане, да притом и изобретательный, не изобрел до сих пор чего-нибудь вместо дорогих восковых свеч. Стеариновые есть, но очень дурны; спермацетовые прекрасны, но дороже

восковых. «Мне нужна восковая или спермацетовая свечка»,— сказал я живо. Они обе посмотрели на меня с полминуты, потом скрылись в коридор; но Каролина успела обернуться и еще раз подарить меня улыбкой, а я пошел в свой 8-й номер, держа поодаль от себя свечу; там отдавало немного пустотой и сыростью.

Я сел было писать, но английский обед сморит сном хоть кого; да мы еще набегались вдоволь. Я только начал засыпать, как над правым ухом у меня раздалось пронзительное сопрано комара. Я повернулся на другой бок — над ухом раздался дуэт и потом трио, а там все смолкло и вдруг — укушение в лоб, не то в щеку. Вздрогнешь, схватишься за укушенное место: там шишка. Я думал прихлопнуть ночных забияк и не раз издали, тихонько целился ладонью в темноте: бац — больно — только не комару, и вслед за пощечиной раздавалось опять звонкое пение: комар юлил около другого уха и пел так тихо и насмешливо. Я затворил деревянную ставню, но от ветерка она ходила взад и вперед и постукивала. На другой день утром, часов в 8, кто-то стучит в дверь. «Кто там?»— забывшись, по-русски закричал я. «Who is there?»[1] — опомнившись, спросил я потом. «Чаю или кофе?»— «Чаю... если только это чай, что у вас подают». Я встал, отпер дверь и тотчас же пожаловался человеку, принесшему чай, на комаров, показывая ему следы укушений. Я попросил, чтоб поскорей вставили стекло. «Yes, sir»,— отвечал он. Но я знал уже, что значит это yes.

Только я собрался идти гулять, как раздался звонок Ричарда; я проворно сошел вниз узнать, что это значит. У окна буфета нет никого, и рамка пустая: картинка еще почивала. Только Ричард, стоя в сенях, закрыв глаза, склонив голову на сторону и держа на ее месте колокол, так и заливается звонит— к завтраку. Было всего 9 часов — какой же еще завтрак? «Ни я, никто из наших не завтракает»,— говорил я, входя в столовую, и увидел всех наших; других никого и не было. Стол накрыт, как для обеда; стоит блюд шесть и дымятся; на другом столе дымился чай и кофе. Я сел вместе с другими и поел рыбы — из любопытства, «узнать, что за рыба», по методе барона, да маленькую котлетку. «Чем же это не обед?— говорил я, принимаясь за виноград,— совершенный обед — только супу нет». После завтрака я не забыл пожаловаться м-с Вельч на комаров и просил вставить окно. «Yes, sir!» — отвечала она. И Каролине пожаловался, прося убедительно велеть к ночи вставить стекло. «Yes, o yes!»— сказала она, очаровательно улыбаясь.

Мы пошли по улицам, зашли в контору нашего банкира, потом в лавки. Кто покупал книги, кто заказывал себе платье, обувь, разные вещи. Книжная торговля здесь довольно значительна; лавок много; главная из них, Робертсона, помещается

[1] Кто там? (*англ.*)

на большой улице. Здесь есть своя самостоятельная литература. Я видел много периодических изданий, альманахов, стихи и прозу, карты и гравюры и купил некоторые изданные здесь сочинения, собственно о Капской колонии. В книжных лавках продаются и все письменные принадлежности. Устройство лавок, искусство раскладывать товар — все напоминает Англию. И здесь, как там, вы не обязаны купленный товар брать с собою: вам принесут его на дом. Другие магазины еще более напоминают Англию, только с легким провинциальным оттенком. Все попроще, нет зеркальных двухсаженных стекол, газу и роскошной мебели. Между тем здесь есть много своих фабрик и заводов: шляпных, стеклянных, бумажных и т. п., которые вполне удовлетворяют потребности края. Глядя на это множество разного рода лавок, я спрашивал себя: где покупатели? Жителей в Капштате от 25 до 30, а в колонии каких-нибудь 200 тысяч.

К полудню солнце начинало сильно печь. Окна закрылись наглухо посредством жалюзи; движение приутихло, то есть беготня собственно, но езда не прекращалась. Экипажи мчались изо всей мочи по улицам; быки медленно тащили тяжелые фуры с хлебом и другою кладью, а иногда и с людьми. В такой фуре я видел человек по пятнадцати. Посреди улиц, как в Лондоне, гуськом стояли наемные экипажи: кареты четырехместные, коляски, кабриолеты в одну лошадь и парой. Экипажи как будто сейчас из мастерской: ни одного нет даже старого фасона, все выкрашены и содержатся чрезвычайно чисто. Черные кучера ловят глазами ваш взгляд, но не говорят ни слова.

Мы где-то на перекрестке разошлись: кто пошел в магазин редкостей, кто в ванны или даже в бани, помещающиеся в одном доме, на торговой площади, кто куда. Я отправился опять в темную аллею и ботанический сад, который мне очень понравился, между прочим и потому, что в городе, собственно, негде гулять. Я с новым удовольствием обошел его весь, останавливался перед разными деревьями, дивился рогатым, неуклюжим кактусам и опять с любопытством смотрел на Столовую гору. Меня поразило пение множества птиц, которого вчера я не слыхал, вероятно потому, что было поздно. Теперь, напротив, утром, раздавалось столько веселых и незнакомых для северного уха голосов. Я искал глазами певиц, но они не очень дичились: из одного куста в другой беспрестанно перелетали стаи колибри, резвых и блестящих. Они шалили и кокетничали, вертясь на ветках довольно низких кустов и сверкая переливами всех возможных цветов. Только я подходил шагов на пять, как они дождем проносились под носом у меня и падали в ближайший шелковичный или другой куст.

В отеле в час зазвонили завтракать. Опять разыгрался один из существенных актов дня и жизни. После десерта все двинулись к буфету, где в черном платье, с черной сеточкой на голове, сидела Каролина и с улыбкой наблюдала, как смотрели на нее.

Я попробовал было подойти к окну, но места были ангажированы, и я пошел писать к вам письма, а часа в три отнес их сам на почту.

Я ходил на пристань, всегда кипящую народом и суетой. Здесь идут по длинной, далеко уходящей в море насыпи рельсы, по которым возят тяжести до лодок. Тут толпится всегда множество матросов разных наций, шкиперов и просто городских зевак.

Есть на что и позевать: впереди необъятный залив, со множеством судов; взад и вперед снуют лодки; вдали песчаная отмель, а за ней Тигровые горы. Оглянитесь назад: за вами три исполинские массы гор и веселый, живой город. Тут же, на плотине, застал я множество всякого цветного народа, особенно мальчишек, ловивших удочками рыбу. Ее так много, что не проходит минуты, чтоб кто-нибудь не вытащил.

В некоторых улицах видел я множество конюшен для верховых лошадей. В городе и за городом беспрестанно встречаешь всадников, иногда целые кавалькады. Лошади все почти средней величины, но красивы. Требование на них так велико, что в воскресенье, если не позаботишься накануне, не достанешь ни одной. В этот день все из города разъезжаются по дачам. Между прочим, в одном месте я встретил надпись: «Контора омнибусов»; спрашиваю: куда они ходят, и мне называют ближайшие места, миль за 40 и за 50 от Капштата. А давно ли туда ездили на волах, в сопровождении толпы готтентотов, на охоту за львами и тиграми? Теперь за львами надо отправляться миль за 400: города, дороги, отели, омнибусы, шум и суета оттеснили их далеко. Но тигры и шакалы водятся до сих пор везде, рыскают на окрестных к Капштату горах.

Пора, однако, обедать, солнце село: шесть часов. В отеле нас ожидал какой-то высокий, стройный джентльмен, очень благообразной наружности, с самыми приличными бакенбардами, украшенными легкой проседью, в голубой куртке, с черным крепом на шляпе, с постоянной улыбкой скромного сознания своих достоинств и с предлинным бичом в руках. «Вандик»,— рекомендовался он. У меня промелькнул целый поток соображений. Вандик — конечно, потомок знаменитого живописца:[1] дед или прадед этого, стоящего пред нами Вандика, оставил Голландию, переселился в колонию, и вот теперь это сын его. Он, конечно, пришел познакомиться с русскими, редкими гостями здесь, как и тот майор, адъютант губернатора, которого привел сегодня утром доктор Ведерхед... «Проводник ваш по колонии,— сказал Вандик,— меня нанял ваш банкир, с двумя экипажами и с осьмью лошадьми. Когда угодно ехать?» Мои соображения рассеялись. «Завтра пораньше»,— сказали мы ему.

[1] Гончаров имеет в виду выдающегося фламандского художника Антониса Ван-Дейка (или Вандика, 1599—1641).

Доктор Ведерхед за обедом опять был очень любезен. Тут пришли некоторые дамы, в том числе и его жена. Нехороша — бог с ней: лет тридцати, figure chiffonnée [1]. Про такие лица прибавляют обыкновенно: но очень мила; про эту нельзя сказать этого. Как кокетливо ни одевалась она, но впалые и тусклые глаза, бледные губы могли внушить только разве сострадание к ее болезненному состоянию. Из их нумера часто раздавались звуки музыки, иногда пение женского голоса. Играли на фортепиано прекрасно: говорят, это он.

Доктор этот с первого раза заставил подозревать, что он не англичанин, хотя и служил хирургом в полку в ост-индской армии. Он был чрезвычайно воздержан в пище, вина не пил вовсе и не мог нахвалиться нами, что мы почти тоже ничего не пили. «Я все с большим и большим удовольствием смотрю на вас»,— сказал он, кладя ноги на стол, заваленный журналами, когда мы перешли после обеда в гостиную и дамы удалились. «Чем мы заслужили это лестное внимание?»— «Скромность, знание приличий...»— и пошел. «Покорно благодарим. А разве вы ожидали противного?..»— «Нет: я сравниваю с нашими офицерами,— продолжал он,— на днях пришел английский корабль, человек двадцать офицеров съехали сюда и через час поставили вверх дном всю отель. Прежде всего они напились до того, что многие остались на своих местах, а другие и этого не могли, упали на пол. И каждый день так. Ведь вы тоже пробыли долго в море, хотите развлечься, однако ж никто из вас не выпил даже бутылки вина: это просто удивительно!»

Такой отзыв нас удивил немного: никто не станет так говорить о своих соотечественниках, да еще с иностранцами. «Неужели в Индии англичане пьют так же много, как у себя, и едят мясо, пряности?»— спросили мы. «О да, ужасно! Вот вы видите, как теперь жарко: представьте, что в Индии такая зима; про лето нечего и говорить; а наши, в этот жар, с раннего утра отправятся на охоту; чем, вы думаете, они подкрепят себя перед отъездом? Чаем и водкой! Приехав на место, рыщут по этому жару целый день, потом являются на сборное место к обеду, и каждый выпивает по нескольку бутылок портера или элю и после этого приедут домой как ни в чем не бывало; выкупаются только и опять готовы есть. И ничего им не делается,— отчасти с досадой прибавил он,— ровно ничего, только краснеют да толстеют; а я вот совсем не пью вина, ем мало, а должен был удалиться на полгода сюда, чтоб полечиться».

«Но это даром не проходит им,— сказал он, помолчав,— они крепки до времени, а в известные лета силы вдруг изменяют, и вы увидите в Англии многих индийских героев, которые сидят по углам, не сходя с кресел, или таскаются с одних минеральных вод на другие».— «Долго ли вы пробудете здесь?»—

---

[1] лицо в морщинках (*франц.*).

спросили мы доктора. «Я взял отпуск на год,— отвечал он,— мне осталось всего до пенсии года три. Надо прослужить семнадцать лет. Не знаю, зачтут ли мне этот год. Теперь составляются новые правила о службе в Индии; мы не знаем, что еще будет». Мы спросили, зачем он избрал мыс Доброй Надежды, а не другое место для отдыха. «Ближайшее,— отвечал он,— и притом переезд дешевле, нежели куда-нибудь. Я хотел ехать в Австралию, в Сидней, но туда стало много ездить эмигрантов и места на порядочных судах очень дороги. А нас двое: я и жена; жалованья я получаю всего от 800 до 1000 ф. стерл.» (от 5000 до 6000 р.).— «Куда же отправитесь, выслужив пенсию?»— «И сам не знаю; может быть, во Францию...»— «А вы знаете по-французски?»— «О да...»— «В самом деле?» И мы живо заговорили с ним, а до тех пор, правду сказать, кроме Арефьева, который отлично говорит по-английски, у нас рты были точно зашиты. Доктор говорил по-французски прекрасно, как не говорит ни один англичанин, хоть он живи сто лет во Франции. «Да он жид, господа!»— сказал вдруг один из наших товарищей. Жид — какая догадка! Мы пристальнее всмотрелись в него: лицо бледное, волосы русые, профиль... профиль точно еврейский — сомнения нет. Несмотря, однако ж, на эту догадку, у нас еще были скептики, оспаривавшие это мнение. Да нет, все в нем не английское: не смотрит он, вытараща глаза; не сжата у него, как у англичан, и самая мысль, суждение, в какие-то тиски; не цедит он ее неуклюже, сквозь зубы, по слову. У этого мысль льется так игриво и свободно: видно, что ум не задавлен предрассудками; не рядится взгляд его в английский покрой, как в накрахмаленный галстук: ну, словом, все, как только может быть у космополита, то есть у жида. Выдал ли бы англичанин своих пьяниц?.. Догадка о его национальности оставалась все еще без доказательств, и доктор мог надеяться прослыть за англичанина или француза, если б сам себе не нанес решительного удара. Не прошло получаса после этого разговора, говорили о другом. Доктор расспрашивал о службе нашей, о чинах, всего больше о жалованье, и вдруг, ни с того ни с сего, быстро спросил: «А на каком положении живут у вас жиды?» Все сомнения исчезли.

Кто бы он ни был, если и жид, но он был самый любезный, образованный и обязательный человек. «Вам скучно по вечерам,— сказал он однажды,— здесь есть клуб: вам предоставлен свободный вход. Вы познакомитесь с здешним обществом, почитаете газету, выкурите сигару: все лучше, нежели одним сидеть по нумерам. Да вот не хотите ли теперь? Пойдемте!»

Мы пошли. Клуб, как все клубы: ряд освещенных комнат, кучи журналов, толпа лакеев и буфет. Но, видно, было еще рано: комнаты пусты, только в бильярдной собралось человек пятнадцать. Пятеро, без сюртуков, в одних жилетах, играли; прочие молча смотрели на игру. Между играющими обращал на

себя особенное внимание пожилой, невысокого роста человек, с проседью, одетый в красную куртку, в синие панталоны, без галстука. «Заметьте этого джентльмена»,— сказал нам доктор и тотчас же познакомил нас с ним. Тот пожал нам руки, хотел что-то сказать, но голоса три закричали ему: «Вам, вам играть!» — и он продолжал игру. «Кто ж это?» — спросили мы доктора. Он замялся несколько. «Игрок, если хотите»,— сказал он. «Ну, спасибо за знакомство»,— подумал я. Доктор как будто угадал мою мысль. «Я познакомил вас с ним потому,— прибавил он,— что это замечательный человек умом, образованием, приключениями и также счастьем в игре. Вам любопытно будет поговорить с ним: он знает все. У него огромный кредит здесь, в Китае, в Австралии, и его векселя уважаются, как банкирские. А этот молодой человек,— продолжал доктор, указывая на другого джентльмена, недурного собой, с усиками,— замечателен тем, что он очень богат, а между тем служит в военной службе просто из страсти к приключениям».

Мне, однако ж, неинтересно казалось смотреть на катанье шаров, и я, предоставив своим товарищам этих героев, сел в угол. Мне становилось скучно, я помышлял, как бы уйти. Зову их — нейдут: «Сейчас, да погодите». Я ушел потихоньку один, но дома было тоже невесело. Там остался наш доктор, еще натуралист да молодой Зеленый. Все они легли спать; натуралист, если и не спал, то копался с слизняками, раками или букашками; он чистил их, сушил и т. п. Но я придумал средство вызвать товарищей из клуба. Они после обеда просили м-с Вельч и Каролину пить чай en famille[1], вместе, как это делается у нас в России. Так, романтизм! Но те и понять не могли, зачем это, и уклонились. На этом основал я свою хитрость и отправился в клуб. Игрок говорил с бароном, Посьет с английским доктором. Долго я ловил свободную минуту, наконец улучил и сказал самым небрежным тоном, что я был дома и что старуха Вельч спрашивала, куда все разбежались. «А ей что?»— спросил Посьет. «Да не знаю,— равнодушно отвечал я,— вы просили, кажется, Каролину чай разливать...»

«Это не я, а барон,— перебил меня Посьет. «Ну, не знаю, только Каролина сидит там за чашками и ждет». Я оставил Посьета и перешел к барону. «Вы, что ли, просили старуху Вельч и Каролину чай пить вместе...» — «Нет, не я, а Посьет,— сказал он,— а что?»— «Да чай готов, и Каролина ждет...» Я хотел обратиться к Посьету, чтоб убедить его идти, но его уже не было. «А этот господин игрок, в красной куртке, вовсе не занимателен,— заметил, зевая, барон.— Лучше гораздо идти лечь спать». Мы пошли и застали Посьета в комнате у хозяек: обе они зевали — старуха со всею откровенностью, Каролина силилась прикрыть зевоту улыбкою. О чае ни тот, ни другой не

[1] в семейном кругу (*франц.*).

спросили ни меня, ни их: они поняли все. Мы вышли на крыльцо, которое выходит на двор, сели под виноградными листьями и напились чаю одни-одинехоньки. Добрый Посьет стал уверять, что он ясно видел мою хитрость, а барон молчал и только на другой день сознался, что вчера он готов был драться со мной.

Утром опять явился Вандик спросить, готовы ли мы ехать; но мы не были готовы: у кого платье не поспело, тот деньги не успел разменять. Просили приехать в два часа. Вандик, с неизменной улыбкой, поклонился и ушел. В два часа явились перед крыльцом две *кареты*; каждая запряжена была четверкой, по две в ряд. И малаец Ричард, и другой, черный слуга, и белый, подслеповатый англичанин, наконец сама м-с Вельч и Каролина, все вышли на крыльцо провожать нас, когда мы садились в экипажи. «Good journey, happy voyage!»[1],— говорили они. Моросил дождь, когда мы выехали за город и, обогнув Столовую гору и Чертов пик, поехали по прекрасному шоссе, в виду залива, между ферм, хижин, болот, песку и кустов. Если б не декорация гор впереди и по бокам, то хоть спать ложись. Но нам было не до спанья: мы радовались, что, по обязательности адмирала, с помощию взятых им у банкиров Томсона и К° рекомендательных писем, мы увидим много нового и занимательного.

Я припоминал все, что читал еще у Вальяна о Мысе и у других: описание песков, зноя, сражений со львами, о фермерах, и не верилось мне, что я еду по тем самым местам, что я в 10 000 милях от отечества. Я ласкал глазами каждый куст и траву, то крупную, сочную, то сухую, как веник. Мы проехали мимо обсерватории, построенной на луговине, на берегу залива, верстах в четырех от города. Я думал, что Гершель здесь делал свои знаменитые наблюдения над луной и двойными звездами, но нам сказали, что его обсерватория была устроена в местечке Винберг, близ Констанской горы, а эта принадлежит правительству. Дождь переставал по временам, и тогда на кустах порхало множество разнообразных птиц. Я заметил одну, синюю, с хвостом более четверти аршина длиной. Она называется sugarbird (сахарная птица) оттого, что постоянно водится около так называемого сахарного кустарника. Дикие канарейки, поменьше немного, погрубее цветом цивилизованных и не так ярко окрашенные в желтый цвет, как те, стаями перелетали из куста в куст; мелькали еще какие-то зеленые, коричневые птицы. Кроме их, медленными кругами носились в воздухе коршуны; близ жилых мест появлялись и вороны, гораздо ярче колоритом наших: черный цвет был на них чернее и резко оттенялся от светлых пятен. Около домов летали капские пегие голуби, ласточки и воробьи. В колонии считается более пород птиц, нежели во всей Европе, и именно до шестисот. Кусты местами

---

[1] Доброго пути, счастливого путешествия! *(англ.)*

были так часты, что составляли непроходимый лес; но они малорослы, а за ними далеко виднелись или необработанные песчаные равнины, или дикие горы, у подошвы которых белели фермы, с яркой густой зеленью вокруг.

## КАПСКАЯ КОЛОНИЯ

Скажите, положа руку на сердце: знаете ли вы хорошенько, что такое Капская колония? Не сердитесь, ни за этот вопрос, ни за сомнение. Я уверен, что вы знаете историю Капа и колонии, немного этнографию ее, статистику, но все это за старое время. А знаете ли вы современную историю, нравы, все, что случилось в последние тридцать, сорок лет? Я уверен, что не совсем, или даже совсем не знаете, кроме только разве того, что колония эта принадлежит англичанам. Я не помню, чтоб в нашей литературе являлись в последнее время какие-нибудь сведения об этом крае, не знаю также ничего замечательного и на французском языке. По-английски большинство нашей публики почти не читает, между тем в Англии, а еще более здесь, в Капе, описание Капа и его колонии образует почти целую, особую литературу. Имена писателей у нас неизвестны, между тем сочинения их — подвиги в своем роде; подвиги потому, что у них не было предшественников, никто не облегчал их трудов ранними труженическими изысканиями. Они сами должны были читать историю края на песках, на каменных скрижалях гор, где не осталось никаких следов минувшего. Каких трудов стоила им всякая этнографическая ипотеза, всякое филологическое соображение, которое надо было основывать на скудных, почти нечеловеческих звуках языков здешних народов! А между тем нашлись люди, которые не испугались этих неблагодарных трудов: они исходили взад и вперед колонию и, несмотря на скудость источников, под этим палящим солнцем, написали целые томы. Кто ж это? Присяжные ученые, труженики, герои науки, жертвы любознания? Нет, просто любители, которые занялись этим мимоходом, сверх своей прямой обязанности: миссионеры и военные. Одни шли с крестом в эти пустыни, другие с мечом. С ними проникло пытливое знание и перо. Сочинения Содерлендов, Барро, Смитов, Чезов и многих, многих других о Капе образуют целую литературу, исполненную бескорыстнейших и добросовестнейших разысканий, которые со временем послужат основным камнем полной истории края.

Что же такое Капская колония? Если обратишься с этим вопросом к курсу географии, получишь в ответ, что пространство, занимаемое колониею, граничит к северу рекою Кейскамма, а в газетах, помнится, читал, что граница с тех пор во второй или третий раз меняет место, и обещают, что она не раз

отодвинется дальше. На карте показано, что от такого-то градуса и до такого живут негры того или другого племени, а по новейшим известиям оказывается, что это племя оттеснено в другое место. Если прибегнешь за справками к путешественникам, найдешь у каждого ту же разноголосицу показаний, и все они верны, каждое своему моменту, именно моменту, потому что здесь все изменяется не по дням, а по часам.

Здесь все в полном брожении теперь: всеодолевающая энергия человека борется почти с неодолимою природою, дух — с материей, жадность приобретения — с скупостью бесплодия. Но осадка еще мало, еще нельзя определить, в какую физиономию сложатся эти неясные черты страны и ее народонаселения. Дело мало двинуто вперед, и наблюдатель, из настоящего положения, не выведет верного заключения о будущей участи колонии. Ему остается только следить, собирать факты и строить целый мир догадок. В материалах недостатка нет: настоящий момент — самый любопытный в жизни колонии. В эту минуту обработываются главные вопросы, обусловливающие ее существование, именно о том, что ожидает колонию, то есть останется ли она только колониею европейцев, как оставалась под владычеством голландцев, ничего не сделавших для черных племен, и представит в будущем незанимательный уголок европейского народонаселения, или черные, как законные дети одного отца, наравне с белыми, будут разделять завещанное и им наследие свободы, религии, цивилизации? За этим следует второй, также важный вопрос: принесет ли европейцам победа над дикими и природой то вознаграждение, которого они вправе ожидать за положенные громадные труды и капиталы, или эти труды останутся только бескорыстным подвигом, подъятым на пользу человечества? На эти вопросы пока нет ответа — так мало еще европейцы сделали успеха в цивилизации страны, или, лучше сказать, так мало страна покоряется соединенным усилиям ума, воли и оружия. В других местах, куда являлись белые с трудом и волею, подвиг вел за собой почти немедленное вознаграждение: едва успевали они миролюбиво или силой оружия завязывать сношение с жителями, как начиналась торговля, размен произведений, и победители, в самом начале завоевания, могли удовлетворить по крайней мере своей страсти к приобретению. Даже в Восточной Индии, где цивилизация до сих пор встречает почти неодолимое сопротивление в духе каст, каждый занятый пришельцами вершок земли немедленно приносил им соразмерную выгоду богатыми дарами почвы. В Южной Африке нет и этого: почва ее неблагодарна, произведения до сих пор так скудны, что едва покрывают издержки хлопот. Виноделие, процветающее на морских берегах, дает только средства к безбедному существованию небольшому числу фермеров и скудное пропитание нескольким тысячам черных. Прочие промыслы, как, например, рыбная и звериная ловля, незначительны и не

в состоянии прокормить самих промышленников; для торговли эти промыслы едва доставляют несколько неважных предметов, как то: шкур, рогов, клыков, которые не составляют общих, отдельных статей торга. Самые важные промыслы — скотоводство и земледелие; но они далеко еще не достигли того состояния, в котором можно было бы ожидать от них полного вознаграждения за труд.

А между тем каких усилий стоит каждый сделанный шаг вперед! Черные племена до сих пор не поддаются ни силе проповеди, ни удобствам европейской жизни, ни очевидной пользе ремесл, наконец ни искушениям золота, словом не признают выгод и необходимости порядка и благоустроенности.

Местность страны — неограниченные пустые пространства— дает им средства противиться силе оружия. Каждый шаг выжженной солнцем почвы омывается кровью; каждая гора, куст представляют естественную преграду белым и служат защитой и убежищем черных. Наконец европеец старается склонить черного к добру мирными средствами: он протягивает ему руку, дарит плуг, топор, гвоздь — все, что полезно тому; черный, истратив жизненные припасы и военные снаряды, пожимает протянутую руку, приносит за плуг и топор слоновых клыков, звериных шкур и ждет случая угнать скот, перерезать *врагов* своих, а после этой трагической развязки удаляется в глубину страны — до новой комедии, то есть до заключения мира.

Долго ли так будет? скоро ли европейцы проложат незаметаемый путь в отдаленные убежища дикарей и скоро ли последние сбросят с себя это постыдное название? Решением этого вопроса решится и предыдущий, то есть о том, будут ли вознаграждены усилия европейца, удастся ли, с помощью уже недиких братьев, извлечь из скупой почвы, посредством искусства, все, что может только она дать человеку за труд? усовершенствует ли он всеми средствами, какими обладает цивилизация, продукты и промыслы? возведет ли последние в степень систематического занятия туземцев? откроет ли, или привьет новые отрасли, до сих пор чуждые стране?

Теперь на мысе Доброй Надежды, по берегам, европейцы пустили глубоко корни; но кто хочет видеть страну и жителей в первобытной форме, тот должен проникнуть далеко внутрь края, то есть почти выехать из колонии, а это не шутка: граница отодвинулась далеко на север и продолжает отодвигаться все далее и далее.

Природных черных жителей нет в колонии как граждан своей страны. Они тут слуги, рабочие, кучера, словом наемники колонистов, и то недавно наемники, а прежде рабы. Сильные и наиболее дикие племена, теснимые цивилизациею и войною, углубились далеко внутрь; другие, послабее и посмирнее, теснимые первыми изнутри и европейцами от берегов, поддались не цивилизации, а силе обстоятельств и оружия, и идут в услу-

жение к европейцам, разделяя их образ жизни, пищу, обычаи и даже религию, несмотря на то, что в 1834 г. они освобождены от рабства и, кажется, могли бы выбрать сами себе место жительства и промысел. По-видимому, им и в голову не приходит о возможности пользоваться предоставленными им правами свободного состояния и сравняться некогда с своими завоевателями. Путешественник почти совсем не видит деревень и хижин диких, да и немного встретит их самих: все занято пришельцами, то есть европейцами и малайцами, но не теми малайцами, которые заселяют индийский архипелаг: африканские малайцы распространились будто бы, по словам новейших изыскателей, из Аравии или из Египта до мыса Доброй Надежды. Этот важный этнографический вопрос еще не решен. Судя по чертам лиц их, имеющих много общего с лицами обитателей ближайшего к нам Востока, не задумаешься ни минуты причислить их к северо-восточным племенам Африки. Недавно только отведена для усмиренных кафров целая область, под именем Британской Кафрарии, о чем сказано будет ниже, и предоставлено им право селиться и жить там, но под влиянием, то есть под надзором английского колониального правительства. Область эта окружена со всех сторон британскими владениями: как и долго ли уживутся беспокойные племена под ферулой европейской цивилизации и оружия, сблизятся ли с своими победителями и просветителями — эти вопросы могут быть разрешены только временем.

Нужно ли говорить, кто хозяева в колонии? конечно, европейцы, и из европейцев, конечно, англичане. Голландцам принадлежит второстепенная роль, и то потому только, что они многочисленны и давно обжились в колонии. Должно ли жалеть об утраченном владычестве голландцев и пенять на властолюбие или, вернее, корыстолюбие англичан, воспользовавшихся единственно правом сильного, чтоб завладеть этим местом, которое им нужно было как переходный пункт на пути в Ост-Индию? Если проследить историю колонии со времени занятия ее европейцами в течение двухвекового голландского владычества и сравнить с состоянием, в которое она поставлена англичанами с 1809 года, то не только оправдаешь насильственное занятие колонии англичанами, но и порадуешься, что это случилось так, а не иначе.

Здесь предлагается несколько исторических, статистических и других сведений о Капской колонии, извлеченных частью из официальных колониальных источников, частью из прекрасной немецкой статьи: «Das Cap der Guten Hoffnung»[1], помещенной в 4-м томе «Gegenwart[2], энциклопедического описания новейшей истории». Эта статья составляет систематическое и подробное

---

[1] «Мыс Доброй Надежды» (*немецк.*).
[2] «Современности...» (*немецк.*)

описание колонии в историческом, естественном и других отношениях.

Мыс Доброй Надежды открыт был в блистательную эпоху мореплавания, в 1493 году, португальцем Диазом (Diaz), который назвал его *Мысом Бурь*.

Но португальский король Иоанн II, радуясь открытию нового, ближайшего пути в Индию, дал Мысу Бурь нынешнее его название. После того посещали Мыс в 1497 году Васко де Гама, а еще позже бразильский вице-король Франциско де Альмейда, последний — с целью войти в торговые сношения с жителями. Но люди его экипажа поссорились с черными, которые умертвили самого вице-короля и около 70 человек португальцев.

Голландцы, на пути в Индию и оттуда, начали заходить на Мыс и выменивали у жителей провизию. Потом уже голландская Ост-Индская компания, по предложению врача фон Рибека, заняла Столовую бухту.

В 1652 году голландцы заложили там крепость, и таким образом возник Капштат. Они быстро распространились внутрь края, произвольно занимая впусте-лежащие земли и оттесняя жителей от берегов. Со стороны диких сначала они не встречали сопротивления. Последние, за разные европейские изделия, но всего более за табак, водку, железные орудия и тому подобные предметы, охотно уступали им не только земли, но и то, что составляло их главный промысел и богатство,— скот.

Голландские фермеры до сих пор владеют большими пространствами земли: это произошло от системы произвольной раздачи ее поселенцам. Всякий из них брал столько земли во владение, сколько мог окинуть взглядом. От этого многие фермы и теперь отстоят на сутки езды одна от другой. Фермеры, удаляясь от центра управления колонии, почувствовали себя как бы независимыми владельцами и не замедлили подчинить своей власти туземцев, и именно готтентотов. Распространяясь далее к востоку, голландцы встретились с кафрами, известными под общим, собирательным именем *амакоза*. Последние вели кочевую жизнь и, в эпоху основания колонии, прикочевали с севера к востоку, к реке Кей, под предводительством знаменитого вождя Тогу (Toguh), от которого многие последующие вожди и, между прочим, известнейшие из них, Гаика и Гинца, ведут свой род.

Кафры, или амакоза, продолжали распространяться к западу, перешли большую Рыбную реку (Fishriver) и заняли нынешнюю провинцию Альбани, до Воскресной реки.

Голландцы продолжали распространяться внутрь, не встречая препятствий, потому что кафры, кочуя по пустым пространствам, не успели еще сосредоточиться в одном месте. Им даже нравилось соседство голландцев, у которых они могли воровать скот, по наклонности своей к грабежу и к скотоводству, как к промыслу, свойственному всем кочующим народам,

Гористая и лесистая местность Рыбной реки и нынешней провинции Альбани способствовала грабежу и манила их селиться в этих местах. Здесь возникли первые неприязненные стычки с дикими, вовлекшие потом белых и черных в нескончаемую доселе вражду. Всякий, кто читал прежние известия о голландской колонии, конечно помнит, что они были наполнены бесчисленными эпизодами о схватках поселенцев с двумя неприятелями, кафрами и дикими зверями, которые нападали с одной целью: похищать скот.

Нельзя не отдать справедливости неутомимому терпению голландцев, с которым они старались, при своих малых средствах, водворять хлебопашество и другие отрасли земледелия в этой стране; как настойчиво преодолевали все препятствия, сопряженные с таким трудом, на новой, нетронутой почве.

Они целиком перенесли сюда все свое голландское хозяйство и, противопоставив палящему солнцу, пескам, горам, разбоям и грабежам кафров почти одну свою фламандскую флегму, достигли тех результатов, к каким только могло их привести, за недостатком положительной и живой энергии, это отрицательное и мертвое качество, то есть хладнокровие. Они посредством его, как другие посредством военных или административных мер, достигли чего хотели, то есть заняли земли, взяли в невольничество, сколько им нужно было, черных, привили земледелие, добились умеренного сбыта продуктов и зажили, как живут в Голландии, тою жизнью, которою жили столетия тому назад, не задерживая и не подвигая успеха вперед. Они до сих пор еще пашут тем же тяжелым, огромным плугом, каким пахали за двести лет, впрягая в него до двенадцати быков; до сих пор у них та же неуклюжая борона. Плодопеременное хозяйство им неизвестно. Английские земледельческие орудия кажутся им чересчур легкими и хрупкими. Скотоводство распространилось довольно далеко во внутренность края, и фермеры, занимающиеся им, зажиточны, но образ жизни их довольно груб и грязен. Недостаток в воде, ощущаемый внутри края, заставляет их иногда кочевать с места на место.

Лучшие и богатейшие из голландцев — винопроизводители. Виноделие введено в колонию французскими эмигрантами, удалившимися сюда по случаю отмены Нантского эдикта [1]. В колонии, а именно в западной части, на приморских берегах, производится большое количество вина почти от всех сортов французских лоз, от которых удержались даже и названия. Вино, кроме потребления в колонии, вывозится в значительном

---

[1] Нантский эдикт — законодательный акт, изданный во французском городе Нанте в 1598 году и завершивший религиозные войны между католиками и гугенотами (протестантами). Предоставлял гугенотам свободу вероисповедания и богослужения. В 1685 году Нантский эдикт был отменен, и гугеноты, спасаясь от преследований, массами покидали Францию.

количестве в Европу, особенно в Англию, где оно служит к замену хереса и портвейна, которых Испания и Португалия не производят достаточно для снабжения одной Англии.

Эмигранты, вместе с искусством виноделия, занесли на Мыс свои нравы, обычаи, вкус и некоторую степень роскоши, что все привилось и к фермерам. Близость к Капштату поддержала в западных фермерах до сих пор эту утонченность нравов, о которой не имеют понятия восточные, скотопромышленные хозяева.

Но влияние эмигрантов тем и кончилось. Сами они исчезли в голландском народонаселении, оставив по себе потомкам своим только французские имена.

Между фермерами, чиновниками и другими лицами колонии слышатся фамилии Руже, Лесюер и т. п.; всматриваешься в них, ожидая встретить что-нибудь напоминающее французов, и видишь чистейшего голландца. Есть еще и доселе в западной стороне целое местечко, населенное потомками этих эмигрантов и известное под названием French Hoek[1], или Hook.

Голландцы многочисленны, сказано выше: действительно так, хотя они уступили первенствующую роль англичанам, то есть почти всю внешнюю торговлю, навигацию, самый Капштат, который из Капштата превратился в Кэптоун, но большая часть местечек заселена ими, и фермы почти все принадлежат им, за исключением только тех, которые находятся в некоторых восточных провинциях Альбани, Каледон, присоединенных к колонии в позднейшие времена и заселенных английскими, шотландскими и другими выходцами.

Говоря о голландцах, остается упомянуть об отдельной, независимой колонии голландских так называемых *буров* (boer — крестьянин), то есть тех же фермеров, которую они основали в 1835 году, выселившись огромной толпой за черту границы. Вот как это случилось. Прежде, однако ж, следует напомнить вам, что в 1795 году колония была занята силою оружия англичанами, которые воспользовались случаем завладеть этим важным для них местом остановки на пути в Индию. По Амьенскому миру, в 1802 г., колония возвращена была Голландии, а в 1806 г. снова взята Англиею, за которою и утверждена окончательно венским трактатом 1815 г.

Голландцы терпеливо покорились этому трактату потому только, что им оставили их законы и администрацию. Но в 1827 г. обнародован был свод законов в английском духе и произошли многие важные перемены в управлении. Это раздражило колонистов. Некоторые из них тогда же начали мало-помалу выселяться из колонии, далее от берегов. Потом, по заключении в 1835 г. мира с кафрами, английское правительство не позаботилось оградить собственность голландских колонистов от нападения и грабежа кафров, имея все средства к тому, и наконец вне-

---

[1] Французское селение (*голланд.*).

запным освобождением невольников нанесло жестокий удар благосостоянию голландцев. Правительство вознаградило их за невольников по вест-индским ценам, тогда как в Капской колонии невольники стоили вдвое. Деньги за них высылались из Англии, с разными вычетами, в Капштат, куда приходилось многим фермерам ездить нарочно за несколько сот миль. Все это окончательно восстановило голландцев, которых целое народонаселение двинулось массой к северу и, перешедши реку Вааль, заняло пустые, но прекрасные, едва ли не лучшие во всей Южной Африке, пространства. Движение это было так единодушно, что многие даже из соседних к Капштату голландцев бросили свои фермы, не дождавшись продажи их с аукциона, и удалились с своими соотечественниками. Они заняли пространства в 350 миль к северу от реки Вааль, захватив около полутора градуса южного тропика, крайний предел, до которого достигла колонизация европейцев в Африке.

Они хотели иметь свои законы, управление и надеялись, что сумеют, без помощи англичан, защититься против врагов. И не обманулись. Страна их, по отзывам самих англичан, находится в цветущем положении. Буры разделили ее на округи, построили города, церкви и ведут деятельную, патриархальную жизнь, не уступая, по свидетельству многих английских путешественников, ни в цивилизации, ни в образе жизни жителям Капштата. Они управляются народным советом (Volksraad), имеют училища и т. п. Страна чрезвычайно плодородна, способна к земледелию, виноделию, скотоводству и производит множество плодов. Ей предстоит блистательная торговая будущность, по соседству ее с английским портом Наталь и занятым англичанами пространством, известным под названием: «Orange river sovereignty» [1].

Английское правительство умело оценить независимость и уважить права этого тихого и счастливого уголка и заключило с ним в январе 1852 г. договор, в котором, с утверждением за бурами этих прав и независимости, предложены условия взаимных отношений их с англичанами и также образа поведения относительно цветных племен, обеспечения торговли, выдачи преступников и т. п., как заключаются обыкновенно договоры между соседями.

Водворяя в колонии свои законы и администрацию, англичане рассчитывали, конечно, на быстрый и несомненный успех, какого достигли у себя дома. Пролагая путь внутрь края оружием, а еще более торговлею, они скоро отодвинули границу, которая до них оканчивалась Рыбною рекою, далее. Английские губернаторы, сменившие голландских, окруженные бóльшим блеском и более богатыми средствами, обнаружили и более влияния на дикие племена, вступили в деятельные сношения

---

[1] «Государство Оранжевой реки» (*англ.*).

с кафрами и, то переговорами, то оружием, вытеснили их из пределов колонии. По окончании неприязненных действий с дикими в 1819 г., англичане присоединили к колонии значительную часть земли, которая составляет теперь одну из лучших ее провинций, под именем Альбани.

Из Англии и Шотландии между тем прибыли выходцы и в бухте Альгоа (Algoabay) завели деятельную торговлю с кафрами, вследствие которой на реке Кейскамма учредилась ярмарка.

Кафры приносили слоновую кость, страусовые перья, звериные кожи и взамен, кроме необходимых полевых орудий, разных ремесленных инструментов, одежд, получали, к сожалению, порох и крепкие напитки. Новые пришельцы приобрели значительные земли и посвятили себя особой отрасли промышленности — овцеводству. Они облагородили грубую туземную овцу: успех превзошел ожидания, и явилась новая, до тех пор неизвестная статья торговли— шерсть. Еще до сих пор не определено, до какой степени может усилиться шерстяная промышленность, потому что нельзя еще, по неверному состоянию края, решить, как далеко может быть она распространена внутри колонии. Но по качествам своим эта шерсть стоит наравне с австралийскою, а последняя высоко ценится на лондонском рынке и предпочитается ост-индской. Вскоре возник в этом углу колонии город Грем (Grahamstown) и порт Елизабет, через который преимущественно производится торговля шерстью.

У англичан сначала не было положительной войны с кафрами, но между тем происходили беспрестанные стычки. Может быть, англичане успели бы в самом начале прекратить их, если б они в переговорах имели дело со всеми или по крайней мере со многими главнейшими племенами; но они сделали ошибку, обратясь в сношениях своих к предводителям одного главного племени, Гаики. Это возбуждало зависть в мелких племенах, которые соединялись между собою и действовали совокупными силами против англичан и вместе против союзного с ними племени Гаики.

Во всяком случае, с появлением англичан деятельность загорелась во всех частях колонии, торговая, военная, административная. Вскоре основали на Кошачьей реке (Katriver) поселение из готтентотов; в самой Кафрарии поселились миссионеры. Последние, однако ж, действовали не совсем добросовестно: они возбуждали и кафров и готтентотов к восстанию, имея в виду образовать из них один народ и обеспечить над ним свое господство. Колониальное правительство принуждено было между тем вытеснить некоторые наиболее враждебные племена, сильно тревожившие колонию своими мелкими набегами и грабежом, из занятых ими мест. Все это повело к первой, вспыхнувшей в 1834 году, серьезной войне с кафрами.

Сверх провинции Альбани, англичане приобрели для колонии два новые округа и назвали их Альберт и Виктория и еще

большое и богатое пространство земли между старой колониальной границей и Оранжевой рекой, так что нынешняя граница колонии простирается от устья реки Кейскаммы по прямой линии к северу, до 30°30′ ю. ш. по Оранжевой реке и, идучи по этой последней, доходит до Атлантического океана.

Вся колония разделена на 20 округов, имеющих свои мелкие подразделения. Каждый округ вверен чиновнику, заведывающему судебною и финансовою частями. Для любопытных сообщаются здесь названия всех этих провинций или округов, заимствованные из капских официальных источников, Кап, Мельмсбери (Melmsbery), Стелленбош, Паарль, Устер (Worcester), Свеллендам, Каледон, Кленвильям, Джордж и Бофорт составляют западную часть, а Альбани, порт Бофорт, Грааф-Рейнет, Соммерсет, Кольсберг, Кредок, Уитенхаг (Uitenhage), порт Елизабет, Альберт и, наконец, Виктория — восточную.

С распространением владений колонии англичане постепенно ввели всю систему английского управления. Высшая власть вверена губернатору; но как губернатор в военное время имеет пребывание на границах колонии, то гражданская власть возложена на его помощника или наместника (lieutenant). Законодательная часть принадлежит так называемому *Законодательному совету* (Legislative Council), состоящему из пяти официальных и восьми приватных членов. Официальные состоят из самого губернатора, потом второго, начальствующего по армии, секретаря колонии, интенданта и казначея. Остальные выбираются губернатором из лиц колонии. Проект закона вносится дважды в совет: после первого прочтения он печатается в капштатских ведомостях, после второго принимается или отвергается. В первом случае он представляется на утверждение лондонского министерства. Исполнительною властью заведывает *Исполнительный совет* (Executive Council). Это род тайного совета губернатора, который, впрочем, сам не только не подчинен ни тому, ни другому советам, но он может даже пустить предложенный им закон в ход, хотя бы Законодательный совет и не одобрил его, и применять до утверждения английского колониального министра.

Наконец англичане ввели также свою систему податей и налогов. Может быть, некоторые из последних покажутся преждевременными для молодого, только что формирующегося гражданского общества, но они по большей части оправдываются значительностью издержек, которых требовало и требует содержание и управление колонии и особенно частые и трудные войны с кафрами. Впрочем, в 1837 году некоторые налоги были отменены, например налог с дохода, с слуг, также с некоторых продуктов. Многие ошибочно думают, что вообще колонии, и в том числе капская, доходами своими обогащают британскую казну; напротив, последняя сама должна была тратить огромные суммы. Единственная привилегия англичан состоит в том, что они

установили по 12% таможенной пошлины с иностранных привозных товаров и по 5% с английских. Но как весь привоз товаров в колонию простирался на сумму около $1^1/_2$ миллиона фунтов стерлингов и именно: в 1851 году через Капштат, Саймонстоун, порты — Елизабет и Восточный Лондон привезено товаров на 1 277 045 фунт. ст., в 1852 г. на 1 675 686 фунт. ст., а вывезено через те же места в 1851 г. на 637 282, в 1852 г. на 651 483 фунт. ст., и таможенный годовой доход составлял в 1849 г. 84 256, в 1850 г. 102 173 и в 1851 г. 111 260 фунт. ст., то нельзя и из этого заключить, чтобы англичане чересчур эгоистически заботились о своих выгодах, особенно если принять в соображение, что большая половина товаров привозится не на английских, а на иностранных судах.

Напротив, судя по расходам, каких требуют разные учреждения, работы и особенно войны с кафрами, надо еще удивляться умеренности налогов. Лучшим доказательством этой умеренности служит то, что колония выдерживает их без всякого отягощения.

Доход колонии незначителен: он не всегда покрывает ее расходы. В 1851 году дохода было 220 884 фунт. стерл., а расход составлял 223 115 фунт. ст. Пошлина, как в Англии, наложена почти на всё. Каждый мужчина и женщина, не моложе 16 лет, кроме коронных чиновников и их слуг, платят по 6 шиллингов в год подати. Таксой обложены также домы, экипажи, лошади, хлеб, вода, рынки, аукционы, вина. Все публичные акты подлежат гербовой пошлине. Даже и тот, кто пожелал бы оставить колонию, платит за это право пошлину. Значительный доход получается от продажи казенных земель, особенно в некоторых новых округах, например Виктории и других. Казенные земли приобретаются частными лицами, с платою по два шиллинга за акр, считая в моргене два акра. Если принять в соображение, что из этих доходов платится содержание чиновников, проводятся исполинские дороги через каменистые горы, устроиваются порты, мосты, публичные заведения, церкви, училища и т. п., то окажется, что взимание податей равняется только крайней необходимости. Все пространство, занимаемое колониею, составляет 118 356 кв. миль, а народонаселение простирается до 142 000 душ мужеского пола, а всего с женщинами 285 279 душ. Черных несколькими тысячами более против белых.

Таким образом, со времени владычества англичан приобретены три новые провинции, открыто на восточном берегу три порта: Елизабет, Наталь и Восточный Лондон, построено много фортов, служащих защитой и убежищем от набегов кафров. Далее по всем направлениям колонии проложены и пролагаются вновь шоссе, между портами учреждено пароходство; возникло много новых городов, которых имена приобретают в торговом мире более и более известности, Капштатский рынок каждую субботу наводняется привозимыми изнутри, то сухим путем, на

быках, то из порта Елизабет и Восточного Лондона, на судах, товарами для вывоза в разные места. Вывозимые произведения: *зерновой хлеб и мука*, *говядина и свинина*, *рыба*, *масло*, *свечи*, *кожи* (конские и бычачьи), *шкуры* (козьи, овечьи, морских животных), *водка*, *вина*, *шерсть*, *воск*, *сухие плоды*, *лошади*, *мулы*, *рога*, *слоновая кость*, *китовый ус*, *страусовые перья*, *алоэ*, *винный камень* и другие. Привозимые товары: *кофе*, *сахар*, *порох*, *рис*, *перец*, *крепкие напитки*, *чай*, *табак*, *дерево*, *вина*, также *рыба*, *мясо*, *крупичатая мука*, *масло*. Все привозные товары обложены различною таможенною пошлиною. До 600 кораблей увозят и привозят все эти товары.

Англичане, по примеру других своих колоний, освободили черных от рабства, несмотря на то, что это повело за собой вражду голландских фермеров и что земледелие много пострадало тогда, и страдает еще до сих пор, от уменьшения рук. До 30 000 черных невольников обработывали землю, но сделать их добровольными земледельцами не удалось: они работают только для удовлетворения крайних своих потребностей и затем уже ничего не делают.

Успеху англичан, или, лучше сказать, успеху цивилизации, противоборствуют до сих пор, кроме самой природы, два враждебные обстоятельства, первое: скрытая, застарелая ненависть голландцев к англичанам, как к победителям, к их учреждениям, успехам, торговле, богатству. Ненависть эта передается от отца к сыну, вместе с наследством. И хотя между двумя нациями нет открытой вражды, но нет и единодушия, стало быть и успеха в той мере, в какой бы можно было ожидать его при совокупных действиях. Второе обстоятельство — войны с кафрами. С одной стороны, эти войны оживляют колонию: присутствие войск и сопряженное с тем увеличение потребления разных предметов до некоторой степени усиливает торговое движение. Живущие далеко от границы фермеры радуются войне, потому что скорее и дороже сбывают свои продукты; но, с другой стороны, военные действия, сосредоточивая все внимание колониального правительства на защиту границ, парализуют его действия во многих других отношениях. Множество рук и денег уходит на эти неблагодарные войны, последствия которых, в настоящее время, не вознаграждают трудов и усилий ничем, кроме неверных, почти бесплодных побед, доставляющих спокойствие краю только на некоторое время.

Кафры, или амакоза, со времени беспокойств 1819 года, вели себя довольно смирно. Хотя и тут не обходилось без набегов и грабежей, которые вели за собой небольшие военные экспедиции в Кафрарию; но эти грабежи и военные стычки с грабителями имели такой частный характер, что вообще можно назвать весь период, от 1819 до 1830 года, если не мирным, то спокойным. Предводитель одного из главных племен, Гаика, спился и умер; власть его, по обычаю кафров, переходила

к сыну главной из жен его. Но как этот сын, по имени Сандилья, был еще ребенок, то племенем управлял старший сын Гаики, Макомо. Он имел пребывание на берегах Кошачьей реки, главного притока Большой Рыбной реки. Хотя этот участок в 1819 году был уступлен при Гаике колонии, но Макомо жил там беспрепятственно до 1829 года, а в этом году положено было его вытеснить, частью по причине грабежей, производимых его племенем, частью за то, что он, воюя с своими дикими соседями, переступал границы колонии. Может быть, к этому присоединились и другие причины, но дело в том, что племя было вытеснено хотя и без кровопролития, но не без сопротивления. На очистившихся местах поселены были мирные готтентоты, обнаружившие склонность к оседлой жизни. Это обстоятельство подало кафрам первый и главный повод к открытой вражде с европейцами, которая усилилась еще более, когда, вскоре после того, англичане расстреляли одного из значительных вождей, дядю Гаики, по имени Секо, оказавшего сопротивление при отнятии европейцами у его племени украденного скота. Смерть этого вождя привела диких в ярость; но они еще сдерживали ее. Макомо, с братом своим Тиали, перешел на берега Чуми, притока реки Кейскаммы, где племя Гаики жило постоянно, с согласия пограничных начальников. Но тут опять возникли жалобы на грабеж скота. Макомо старался взбунтовать готтентотских поселенцев против европейцев и был, в 1833 году, оттеснен с своим племенем за реку в то время, когда еще хлеб был на корню и племя оставалось без продовольствия. Английские миссионеры между тем, с своей стороны, как сказано выше, поджигали кафров к разрыву с европейцами, надеясь извлечь из этого свои выгоды. Война была неизбежна и вскоре вспыхнула.

Восстали четыре племени, составлявшие около 34 000 душ одних мужчин.

Европейцы никак не предполагали, чтоб кафры, после испытанных неудач в 1819 г., отважились на открытую войну, поэтому и не приняли никаких мер к отражению нападения, и толпы кафров, в декабре 1834 г., ворвались в границы колонии. Войск было так мало на границе, что они не могли противостать диким. Кафры умерщвляли поселенцев, миссионеров, оседлых готтентотов, забирали скот и жгли жилища. Они опустошили всю нынешнюю провинцию Альбани, кроме самого Гремстоуна, часть Винтерберга до моря, всего пространство на 100 миль в длину и около 80 в ширину, избегая, однако же, открытого и общего столкновения с неприятелем. Наконец, узнав, что тогдашний губернатор, сэр Бенджамен д'Урбан, прибыл с значительными силами в Гремстоун, они, в январе 1835 г., удалились в свои места, не забыв унести все награбленное. Полковник Смит и Соммерсет (первый был потом губернатором) с февраля начали свои действия. Они должны были отыскивать неприятеля в ущельях и кустарниках, почти недоступных для европейца,

Некоторые племена покорились тотчас же, объявив себя подданными английской короны и обещая содействовать к прекращению беспорядков на границе, другие отступали далее. Наконец и те и другие утомились: европейцы — потерей людей, времени и денег, кафры теряли свои места, их оттесняли от их деревень, которые были выжигаемы, и потому обе стороны в сентябре 1835 г. вступили в переговоры и заключили мир, вследствие которого кафры должны были возвратить весь угнанный ими скот и уступить белым значительный участок земли.

До 1846 г. колония была покойна, то есть войны не было; но это опять не значило, чтоб не было грабежей. По мере того как кафры забывали о войне, они делались все смелее; опять поднялись жалобы с границ. Губернатор созвал главных мирных вождей на совещание о средствах к прекращению зла. Вожди, обнаружив неудовольствие на эти грабежи, объявили, однако же, что они не в состоянии отвратить беспорядков. Тогда в марте 1846 г. открылась опять война.

Губернатором был только что поступивший вместо сэра Джорджа Нэпира сэр Перегрин Метлэнд. Кафры во множестве вторглись в колонию, по обыкновению убивая колонистов, грабя имущество и сожигая поселения. Эта война особенно богата кровавыми и трагическими эпизодами. Кафры избегали встречи с белыми в открытом поле и, одержав верх в какой-нибудь стычке, быстро скрывались в хорошо известной им стране, среди неприступных ущелий и скал, или, пропустив войска далее вперед, они распространяли ужасы опустошения позади в пределах колонии. Войск было мало: поселенцев приглашали к поголовному ополчению, но без успеха. Кафры являлись в числе многих тысяч, отрезывали подвоз провизии, и войска часто доходили до совершенного истощения сил. Иногда за стакан свежей воды платили по шиллингу, за сухарь — по шести пенсов, и то не всегда находили и то и другое. Негры племени финго, помогавшие англичанам, принуждены были есть свои щиты из буйволовой кожи, а готтентоты по нескольку дней довольствовались тем, что крепко перетягивали себе живот и этим заглушали голод. Ужас был всеобщий, так что в мае 1846 г. по всей колонии служили молебны, прося бога о помощи. Церкви были битком набиты; множество траурных платьев красноречиво свидетельствовали о том, в каком положении были дела. Метлэнда укоряли в недостатке твердости, искусства и в нераспорядительности.

В 1847 году вместо него назначен сэр Генри Поттинджер, а главнокомандующим армии на границе — сэр Джордж Берклей. Давно ощущалась потребность в разъединении гражданской и военной частей, и эта мера вскоре оказала благодетельные действия. Вообще в этой последней войне англичане воспользовались опытами прежней и приняли несколько благоразумных мер к обеспечению своей безопасности и доставки продовольствия,

Провиант и прочее доставлялось до сих пор на место военных действий сухим путем, и плата за один только провоз составляла около 170 000 фунт. ст. в год, между тем как все припасы могли быть доставляемы морем до самого устья Буйволовой реки, что, наконец, и приведено в исполнение, и Берклей у этого устья расположил свою главную квартиру.

Потом запрещен был всякий торг с кафрами как преступление, равное государственной измене, потому что кафры в этом торге, — факт, которому с трудом верится, — приобретали от англичан же оружие и порох.

Когда некоторые вожди являлись с покорностью, от них требовали выдачи оружия и скота, но они приносили несколько ружей и приводили, вместо тысяч, десятки голов скота, и когда их прогоняли, они поневоле возвращались к оружию и с новой яростью нападали на колонию. Так точно поступил Сандилья, которому губернатор обещал прощение, если он исполнит требуемые условия; но он не исполнил и, продолжая тревожить набегами колонию, наконец удалился в неприступные места. Голод принудил его, однако ж, сдаться: он, с некоторыми советниками и вождями, был отправлен в Гремстоун и брошен в тюрьму. Другие вожди удалились с племенами своими в горы, но полковник Соммерсет неутомимо преследовал их и принудил к сдаче.

Между тем губернатор Поттинджер был отозван в Мадрас и место его заступил отличившийся в войне 1834 и 1835 г. генерал-майор сэр Герри Смит, приобретший любовь и уважение во всей колонии. Он, по прибытии, созвал пленных кафрских вождей, обошелся с ними презрительно и сурово; одному из них, именно Макомо, велел стать на колени и объявил, что отныне он, Герри Смит, главный и единственный начальник кафров. После чего, положив ногу на голову Макомо, прибавил, что так будет поступать со всеми врагами английской королевы. Вскоре он издал прокламацию, объявляя, что все пространство земли от реки Кейскаммы до реки Кей он, именем королевы, присоединил к английским владениям, под названием «Британской Кафрарии». И тут же, назначив подполковника Мекиннока начальником этой области, объявил условия, на основании которых кафрские вожди Британской Кафрарии должны вперед управлять своими племенами под влиянием английского владычества.

Когда все вожди и народ, обнаружив совершенную покорность и раскаяние, дали торжественные клятвы свято блюсти обязательства, Герри Смит заключил с ними, в декабре 1847 г., мир. От сурового и презрительного обращения он перешел к кроткому и дружественному. Он уговаривал их сблизиться с европейцами, слушать учение миссионеров, учиться по-английски, заниматься ремеслами, торговать честно, привыкать к употреблению монеты, доказывая им, что все это, и одно только это,

то есть цивилизация, делает белых счастливыми, добрыми, богатыми и сильными.

Энергические и умные меры Смита водворили в колонии мир и оказали благодетельное влияние на самих кафров. Они, казалось, убедились в физическом и нравственном превосходстве белых и в невозможности противиться им, смирились и отдались под их опеку. Советы, или, лучше сказать, приказания, Смита исполнялись — но долго ли, вот вопрос! Была ли эта война последнею? К сожалению, нет. Это была только вторая по счету: в 1851 году открылась третья. И кто знает, где остановится эта нумерация?

После этого краткого очерка двух войн нужно ли говорить о третьей, которая кончилась в эпоху прибытия на Мыс фрегата «Паллада», то есть в начале 1853 года?

Началась она, как все эти войны, нарушением со стороны кафров обязательств мира и кражею скота. Было несколько случаев, в которых они отказались выдать украденный скот и усиливали дерзкие вылазки на границах. Вскоре в колонии убедились в необходимости новой войны. Но прежде нежели англичане подумали о приготовлении к ней, кафры поставили всю Британскую Кафрарию на военную ногу. У них оказалось множество прежнего, не выданного ими, по условию мира 1835 г., оружия, и, кроме того, несмотря на строгое запрещение доставки им пороха и оружия, привезено было тайно много и того и другого через Альгоабей. Губернатор стал принимать сильные меры, но не хотел, однако ж, первый начинать неприязненных действий. Он собрал все дружественные племена, уговаривая их поддержать сторону своей государыни, что они и обещали. К сожалению, он чересчур много надеялся на верность черных: и дружественные племена, и учрежденная им полиция из кафров, и, наконец, мирные готтентоты — все это обманывало его, выведывало о числе английских войск и передавало своим одноплеменникам, а те делали засады в таких местах, где английские отряды погибали без всякой пользы.

В декабре 1850 г., за день до праздника рождества Христова, кафры первые начали войну, заманив англичан в засаду, и после стычки, по обыкновению, ушли в горы. Тогда началась не война, а наказание кафров, которых губернатор объявил уже не врагами Англии, а бунтовщиками, так как они были великобританские подданные.

Поселенцы, по обыкновению, покинули свои места, угнали скот, и кто мог, бежал дальше от границ Кафрарии. Вся пограничная черта представляла одну картину общего движения. Некоторые из фермеров собирались толпами и укреплялись лагерем в поле или избирали убежищем укрепленную ферму.

Бесполезно утомлять ваше внимание рассказом мелких и незанимательных эпизодов этой войны: они чересчур однообразны. Кафры, после нападения на какой-нибудь форт или отряд,

одерживали временно верх и потом исчезали в неприступных убежищах. Но английские войска неутомимо преследовали их и принуждали сдаваться или оружием, или голодом. Все это длилось до тех пор, пока у мятежников не истощились военные и съестные припасы. Тогда они явились с повинной головой, согласились на предложенные им условия, и все вошло в прежний порядок.

Кеткарт, заступивший, в марте 1852 года, Герри Смита, издал, наконец, 2 марта 1853 года, в Вильямстоуне, на границе колонии, прокламацию, в которой объявляет, именем своей королевы, мир и прощение Сандильи и народу Гаики, с тем чтобы кафры жили, под ответственностью главного вождя своего Сандильи, в Британской Кафрарии, но только далее от колониальной границы, на указанных местах. Он должен представить оружие и отвечать за мир и безопасность в его владениях, за доброе поведение гаикского племени и за исполнение взятых им на себя обязательств, также повелений королевы.

Это прощение не простирается, однако ж, за пределы Британской Кафрарии, и всякий, преступивший извне границу колонии, будет предан суду.

Готтентотам тоже не позволено, без особого разрешения губернатора, селиться в Британской Кафрарии.

Выше сказано было, что колония теперь переживает один из самых знаменательных моментов своей истории: действительно оно так. До сих пор колония была не что иное, как английская провинция, живущая по законам, начертанным ей метрополиею, сообразно духу последней, а не действительным потребностям страны. Не раз заочные распоряжения лондонского колониального министра противоречили нуждам края и вели за собою местные неудобства и затруднения в делах.

Англичане одни заведовали управлением колонии. Англия назначала губернатора и членов Законодательного совета, так что закон, как объяснено выше, не иначе получал силу, как по утверждении его в Англии. Англичанам было хорошо: они были здесь как у себя дома, но голландцы, и без того недовольные английским владычеством, роптали, требуя для колонии законодательной власти независимо от Англии. Наконец этот ропот подействовал. Англия предоставляет теперь право избрания членов Законодательного совета самой колонии, которая таким образом получит самостоятельность в своих действиях, и дальнейшее ее существование может с этой минуты упрочиваться на началах, истекающих из собственных ее нужд. Но вместе с тем на колонию возлагаются и все расходы по управлению, а также предоставляется ей самой распоряжаться военными действиями с дикими племенами.

Событие весьма важное, которое обеспечивает колонии почти независимость и могущественное покровительство

Британии. Это событие еще не состоялось вполне; проект представлен в парламент и, конечно, будет утвержден[1], ибо, вероятно, все приготовления к этому делались с одобрения английского правительства.

---

Мы остановились на полчаса в небольшой гостинице, окруженной палисадником. Гостиницу называют по-английски Mitchel, а по-голландски Clauisriver, по имени речки. Первый встретил нас у дверей баран, который метил во всякого из нас рогами, когда мы проходили мимо его, за ним в дверях показался хозяин, голландец, невысокого роста, с беспечным лицом. «Да зачем же тут останавливаться?» — заметил Посьет, страстный охотник ехать вперед. «Немного отдохнуть и вам и лошадям»,— приятно улыбаясь, отвечал Вандик, отложивший уже лошадей. «Да нам не нужно, мы не устали». Тут я разглядел другого кучера: этот был небольшого роста, с насмешливым и решительным выражением в лице. Я ехал с бароном Криднером и Зеленым, в другом «карте» сидели Посьет, Вейрих и Гошкевич. Гляжу и не могу разглядеть, кто еще сидит с ними: обезьяна не обезьяна, но такое же маленькое существо, с таким же маленьким смуглым лицом, как у обезьяны, одетое в большое пальто и широкую шляпу. Это готтентот, мальчишка, которого зачем-то взял с собой Вандик.

Мы не успели еще расправить хорошенько ног, барон вошел уже в комнату и что-то заказывал хозяину и мальчишке негру. Мы занялись рассматриванием комнаты: в ней неизбежные — резной шкаф с посудой, другой с чучелами птиц; вместо ковра шкуры пантер, потом старинные массивные столы, массивные стулья. Все смотрело так мрачно; позолоченные рамки на зеркалах почернели; везде копоть. На картинах охота: слон давит ногой тигра, собаки преследуют барса. Темная, закоптелая комнатка, убранная по-голландски, смотрит, однако ж, на путешественника радушно, как небритый и немытый человек смотрит исподлобья, но ласковым взглядом. Так и в этой и подобных ей комнатах все приветливо и приютно.Тут и чашки на виду, пахнет корицей, кофе и другими пряностями — словом, хозяйством; камин должен быть очень тепел; не похоже на трактир, а скорее на укромный домик какой-нибудь бедной тетки, которую вы решились посетить в глуши. Правда, кресло жестковато, да не скоро его и сдвинешь с места; лак и позолота почти совсем сошли; вместо занавесок висят лохмотья, и сам хозяин смотрит так жалко, бедно, но это честная и притом гостеприимная бедность, которая вас всегда накормит, хотя и жесткой ветчиной, еще более жесткой солониной, но она отдаст последнее. Глядя на то, как патриархально подают там обед

[1] Он утвержден был в 1853 году. (*Прим. И. А. Гончарова.*)

и завтрак, не верится, чтобы за это взяли деньги: и берут их будто нехотя, по необходимости. Только что мы осмотрели все углы, чучел птиц и зверей, картинки, как хозяин пригласил нас в другую комнату, где уже стояли ветчина с яичницей и кофе. «Уже? опять?— сказал Вейрих, умеренный и скромный наш спутник, немец,— мы завтракали в Капштате». Однако сел и позавтракал с нами.

Часов в пять пустились дальше. Дорога некоторое время шла все по той же болотистой долине. Мы хотя и оставили назади, но не потеряли из виду Столовую и Чертову горы. Вправо тянулись пики, идущие от Констанской горы. Вскоре, однако ж, болота и пески заменились зелеными холмами, почва стала разнообразнее, дальние горы выказывались грознее и яснее; над ними лежали синие тучи и бегала молния: дождь лил довольно сильный. П. А. Зеленый пел во всю дорогу или живую плясовую песню, или похоронный марш на известные слова Козлова: «Не бил барабан перед смутным полком» и т. д. Мы с бароном курили или глубокомысленно молчали, изредка обращаясь с вопросом к Вандику о какой-нибудь горе или дальней ферме. Он был африканец, то есть родился в Африке, от голландских родителей, говорил по-голландски и по-английски и не затруднялся ответом. Он знал все в колонии: горы, леса, даже кусты, каждую ферму, фермера, их слуг, собак, но всего более лошадей. Покупать их, продавать, менять составляло его страсть и профессию. Это мы скоро узнали. Он раскланивался со всяким встречным, и с малайцем, и с готтентотом, и с англичанином; одному кивал, перед другим почтительно снимал шляпу, третьему просто дружески улыбался, а иному что-нибудь кричал, с бранью, грозно.

Дорога шла прекрасная. От Капштата горы некоторое время далеко идут по обеим сторонам, а милях в семидесяти стесняются в длинное ущелье, через которое предстояло нам ехать. Стало темнеть. Вандик придерживал лошадей. «Аппл!»— кричал он по временам. Мы не могли добиться, что это значит: собственное ли имя, или так только, окрик на лошадей, даже в каких случаях употреблял он его; он кричал, когда лошадь пятилась, или слишком рвалась вперед, или оступалась. Когда мы спрашивали об этом Вандика, он только улыбался.

Было часов восемь вечера, когда он вдруг круто поворотил с дороги и подъехал к одинокому, длинному, одноэтажному каменному зданию, с широким во весь дом крыльцом. «Что это значит? как? куда?»— «Ужин и ночлег!— кротко, но твердо заметил Вандик.— Лошади устали: мы сегодня двадцать миль сделали». Эта гостиница называется «Фоксандгоундс» (Fox and hounds), то есть «Лисица и собаки». «Да что же это?— протестовал, по обыкновению, пылкий Посьет, —это невозможно: поедемте дальше».— «Куда? ведь темно и дождь идет»,— возражали ему любители кейфа. «Нужды нет, мы все-таки

поедем».— «Зачем? ведь вы едете видеть что-нибудь, путешествуете, так сказать... Что же вы увидите ночью?» Но партия, помещавшаяся в другом карте и называемая нами «ученою», все возражала. Возникли несогласия. «Артистическая партия», то есть мы трое, вошли на крыльцо, а та упрямо сидела в экипаже. Между тем Вандик и товарищ его молча отпрягли лошадей, и спор кончился.

Барон ушел в комнаты, ученая партия нехотя, лениво вылезла из повозки, а я пошел бродить около дома. Я спросил, как называется это место.

«Ферст-ривер» по-английски, или «Эршт-ривер» (первая река) по-голландски»,— отвечал Вандик. Если считать от Капштата, то она действительно первая; но как река вообще она, конечно, последняя. Даже можно сомневаться, река ли это. «Где же тут река?»— спросил я Вандика. «А вот,— отвечал он, указывая на то место, где я стоял,— вы теперь стоите в реке: это все река». И он указал на далекое пространство вокруг. «Тут песок да камни»,— сказал я. «Теперь нет реки,— продолжал он, — или вон, пожалуй, она в той канаве, а зимой это все на несколько миль покрывается водой. Все реки здесь такие».

Я вошел в дом. Что это, гостиница? не совсем похоже. Первая комната имеет вид столовой какого-нибудь частного дома. Полы лакированы, стены оклеены бумажками, посредине круглый стол, по стенам два очень недурные дивана нового фасона. Тут лежали в куче на полу и на диванах наши вещи, а хозяев не было. Но я услышал голоса и через коридор прошел в боковую комнату. Это была большая, очень красиво убранная комната, с длинным столом, еще менее похожая на трактир. На столе лежала библия и другие книги, рукоделья, тетради и т. п., у стены стояло фортепиано. Нетрудно было догадаться, что хозяева были англичане: мебель новая, все свежо, и везде признаки комфорта. Никто не показывался, кроме молодого коренастого негра. Что у него ни спрашивали или что ни приказывали ему, он прежде всего отвечал смехом и обнаруживал ряд чистейших зубов. Этот смех в привычке негров. «Что ж, будем ужинать, что ли?»— заметил кто-то. «Да я уж заказал»,— отвечал барон. «Уже?— заметил Вейрих.— Что ж вы заказали?»— «Так, немного, безделицу: баранины, ветчины, курицу, чай, масла, хлеб и сыр».

После ужина нас повели в другие комнаты, без лакированных полов, без обоев, но зато с громадными, как катафалки, постелями. В комнатах пахло сыростью: видно, в них не часто бывали путешественники. По стенам даже ползали незнакомые нам насекомые, не родные клопы и тараканы, а какие-то длинные жуки со множеством ног. Зеленый, спавший в одной комнате со мной, не успел улечься и уснул быстро, как будто утонул. Я остался один бодрствующий, но ненадолго. Утром рано, мы не успели еще доспать, а неугомонный Посьет, взяв-

ший на себя роль нашего ментора, ходил по нумерам и торопил вставать и ехать дальше.

По холмам, по прекрасной дороге, в прекрасную погоду, мы весело ехали дальше. Все было свежо кругом после вчерашнего дождя. Песок не поднимался пылью, а лежал смирно, в виде глины. Горы не смотрели так угрюмо и неприязненно, как накануне; они старались выказать, что было у них получше, хотя хорошего, правду сказать, было мало, как солнце ни золотило их своими лучами. Немногие из них могли похвастать зеленою верхушкой или скатом, а у большей части были одинакие выветрившиеся серые бока, которые разнообразились у одной — рытвиной, у другой — горбом, у третьей — отвесным обрывом. Хотя я и знал по описаниям, что Африка, не исключая и южной оконечности, изобилует песками и горами, но воображение рисовало мне темные дебри, приюты львов, тигров, змей. Напрасно, однако ж, я глазами искал этих лесов: они растут по морским берегам, а внутри, начиная от самого мыса и до границ колонии, то есть верст на тысячу, почва покрыта мелкими кустами на песчаной почве да искусственно возделанными садами около ферм, а за границами, кроме редких оазисов, и этого нет. Но в это утро, в половине марта, кусты «протеа» глядели веселее, зелень казалась зеленее, так что немецкий спутник наш заметил, что тут должно быть много «скотства». В самом деле, скотоводство процветало здесь, как, впрочем, и во всей колонии. Лошади бежали бодрее, даже Вандик сидел ясен и свеж, как майский цветок, сказал бы я в северном полушарии, а по-здешнему надо сказать — сентябрьский.

Не сживаюсь я с этими противоположностями: все мне кажется, что теперь весна, а здесь готовятся к зиме, то есть к дождям и ветрам, говорят, что фрукты отошли, кроме винограда, все. Развернул я в книжной лавке, в Капштате, изданный там кипсек [1] — стихи и проза. Развертываю местами и читаю: «Прошли и для нее, этой гордой красавицы, дни любви и неги, миновал цветущий *сентябрь* и жаркий *декабрь* ее жизни; наступали грозные и суровые *июльские* непогоды» и т. д. А в стихах: «Гнетет ли меня палящее *северное* солнце, или леденит мою кровь холодное, суровое дуновение *южного* ветра, я терпеливо вынесу все, но не вынесу ни палящей ласки, ни холодного взора моей милой». Далее в одном описании какого-то разорившегося богача сказано: «Теперь он беден: жилищем ему служил маленький павильон, огражденный только колючими кустами кактуса и алоэ, да осененный насажденными когда-то им самим миндальными, абрикосовыми и апельсинными деревьями и густою чащею виноградных лоз. Пищей ему служили виноград, миндаль, гранаты и апельсины с этих же дерев или молоко единственной его коровы. Думал ли он, насаждая эти

---

[1] Кипсек — богато иллюстрированное издание книги или альбома.

деревья для забавы, что плодами их он будет утолять мучительный голод? Служил ему один старый и преданный негр...» Вот она какова, африканская бедность: всякий день свежее молоко, к десерту quatre mendiants[1] прямо с дерева, в услужении негр... Чего бы стоила такая бедность в Петербурге?

Если природа не очень разнообразила путь наш, то живая и пестрая толпа прохожих и проезжих всех племен, цветов и состояний дополняла картину, в которой без этого оставалось много пустого места. Бесконечные обозы тянулись к Капштату или оттуда, с людьми и товарами. Длинные фуры и еще более длинные цуги быков, запряженных попарно, от шести до двенадцати в каждую фуру, тянулись непрерывною процессией по дороге. Волы эти, кроме длинного бича, ничем не управляются. Готтентот-кучер сидит обыкновенно на козлах, и если надо ему взять направо, он хлопает бичом с левой стороны, и наоборот. Иногда волы еле-еле передвигают ноги, а в другой раз, образуя цугом своим кривую линию, бегут крупной рысью. При встрече с экипажами волы неохотно и довольно медленно дают дорогу; в таком случае из фуры выскакивает обыкновенно мальчик готтентот, которых во всякой фуре бывает всегда по несколько, и тащит весь цуг в сторону. Нам попадалось особенно много пестро и нарядно одетого народа, мужчин и женщин, пеших, верхами и в фурах, все малайцев. Головы у всех были обвязаны бумажными платками, больше красными, клетчатыми. Мы и накануне видели их много, особенно в фурах. Такая фура очень живописна: представьте себе длинную телегу сажени в три с круглым сводом из парусины, набитую до того этим магометанским народом, что некоторые мужчины и дети, не помещаясь под холстиной, едва втиснуты туда, в кучу публики, и торчат, как сверхкомплектные поленья в возах с дровами. Пары три волов медленно и важно выступают с этим зверинцем. По вечерам обозы располагались на бивуаках; отпряженные волы паслись в кустах, пламя трескучего костра далеко распространяло зарево и дым, путешественники группой сидели у дымящегося котла. Вандик объяснил нам, что малайцы эти возвращаются из местечка Крамати, милях в двадцати пяти от Капштата, куда собираются в один из этих дней на поклонение похороненному там какому-то своему пророку. Все эти караваны богомольцев напоминали немного таборы наших цыган, с тою только разницею, что малайцы честны, трудолюбивы и потому не голы и не дики на вид.

Кроме малайцев, попадались готтентоты и негры. Первые везли или несли тяжести, шли на работу в поденщики или с работы. Между неграми мы встречали многих с котомками на палках, но одетых хорошо. «А это что?»— спросил я у Вандика. «Это black people, черные, с войны идут домой». Война

---

[1] четыре разновидности плодов (*франц.*).

с кафрами только что кончилась; некоторые из негритянских племен участвовали в ней по приглашению английского правительства.

Много проезжало омнибусов, городских карет, фермеров верхами, ехавших или в город, или оттуда. Было довольно весело, так что П. А. Зеленый ни разу не затягивал похоронного марша, а пел все про любовь. Мы переговаривались с ученой партией, указывая друг другу то на красивый пейзаж фермы, то на гору или на выползшую на дорогу ящерицу; спрашивали название трав, деревьев и в свою очередь рассказывали про птиц, которых видели по дороге, восхищались их разнообразием и красотой. Ученые с улыбкой посматривали на нас и друг на друга, наконец объяснили нам, что они не видали ни одной птицы и что, конечно, мы так себе думаем, что если уж заехали в Африку, так надо и птиц видеть. Между тем птицы поминутно встречались, и мы удивлялись, как это они не видали ни одной. А дело было просто: мы ехали впереди, а они сзади; птицы улетали, как только приближался наш карт, так что второй не заставал их на месте.

Часов в десять утра мы приехали в местечко Соммерсет, длинным рядом построившееся у самой дороги, у подошвы горы. Все было зелено здесь: одноэтажные каменные голландские домики, с черепичными кровлями, едва были видны из-за дубов и сосен; около каждого был палисадник с олеандровыми и розовыми кустами, с толпой георгин и других цветов. Гора вдали, как декорация, зеленела сверху до подошвы. Весь этот пейзаж — как будто не африканский: слишком свеж, зелен, тенист и разнообразен для Африки. Мы пошли по местечку к горе. Едва сделали шагов сто, как спутник наш Вейрих идет с кем-то под руку и живо разговаривает. Это был немец, миссионер. Он советовал нам ехать по другой дороге, где в одном месте растет несколько камфарных деревьев, довольно редких здесь. Мы воротились к станции, к такому же, как и прочие, низенькому дому, с цветником.

Собираемся, ищем барона — нет; заглянули в одну комнату направо, род гостиной: там две какие-то путешественницы, а в столовой барон уже завтракает. Он бы не прочь и продолжать, но ученая партия на этот раз пересилила, и мы отправились проселком, по незавидной, изрытой вчерашним дождем дороге. Вскоре мы выбрались, однако ж, опять на шоссе и ехали по долине, мимо множества ферм. Сады их окаймляли дорогу тенистыми дубами, кустами алоэ, но всего более айвой, которая росла непроходимыми кустами, с желтыми фруктами. Вы знаете айву? Это что-то вроде крепкого, кисловатого яблока, с терпкостью, от которой вяжет во рту; его есть нельзя; из него делают варенье и т. п. Но Зеленый выскочил из карта, набрал целую шляпу и ел. Вандик нарвал и дал лошадям: те тоже ели — больше никто. На вопрос мой: «Хорошо ли?»—

Зеленый ничего не сказал. Он еще принадлежит к счастливому возрасту перехода от юношества к возмужалости, оттого в нем наполовину того и другого. Кое-что в нем окрепло и выработалось: он любит и отлично знает свое дело, серьезно понимает и исполняет обязанности, строг к самому себе и в приличиях — это возмужалость. Но беспечен насчет всего, что лежит вне его прямых занятий; читает, гуляет, спит, ест с одинаковым расположением, не отдавая ничему особого преимущества,— это остатки юношества. Возьмет книгу, все равно какую, и оставит ее без сожаления; ляжет и уснет где ни попало и когда угодно; ест все без разбора, особенно фрукты. После ананаса и винограда он съест, пожалуй, репу, виноград ест с шелухой, «чтоб больше казалось». Он очень мил; у него много природного юмора, и он мастерски владеет шуткой. Существо вечно поющее, хохочущее и рассказывающее, никогда никого не оскорбляющее и никем не оскорбляемое. Мы все очень любим его. Ему также все равно, где ни быть: придут ли в прекрасный порт, или станут на якорь у бесплодной скалы, гуляет ли он на берегу, или смотрит на корабле за работами — он или делает дело, тогда молчит и делает комически-серьезное лицо, или поет и хохочет. Он сию минуту уживается в быту, в который поставлен. Благодаря ему мы ни минуты не соскучились в поездке по колонии: это был драгоценный спутник.

День чудесный. Стало жарко. Лошади ленивой рысью тащились по песку; колеса визжали, жар морил; мы с бароном Криднером молчали. Вандик от нечего делать хлестал бичом по выползавшим на дорогу ящерицам. Зеленый сначала бил весело ногами о свою скамью: не в его натуре было долго и смирно сидеть на одном месте. Он пел долго: «Сени новые, кленовые», а потом мало-помалу прималчивал, задирая то меня, то барона шуткой. Но нас морили жар и тяжесть, и он, наскучив молчанием, сморщился и затянул: «Не бил барабан перед смутным полком». Мы молча слушали, отмахиваясь от мух, оводов и глядя по сторонам на большие горы, которые толпой как будто шли нам навстречу. Вдруг с левой стороны, из чащи кустов, шагах во ста от нас впереди, выскочило какое-то красивое, белое с черными пятнами, животное; оно одним махом перебросилось через дорогу и стало неподвижно. «Roe-buk! roe-buk!»— сказал Вандик, указывая кнутом. Налево, откуда выскочил козел, кусты тихо шевелились: там притаилось маленькое стадо диких коз, которые не смели следовать за козлом. И козел и козы, заметив нас, оставались в нерешимости. Козел стоял как окаменелый, в полуоборот; закинув немного рога на спину и навострив уши, глядел на нас. «Как бы поближе подъехать и не испугать их?»— сказали мы. «Надо вдруг всем закричать что есть мочи,— научил Вандик,— и они на несколько времени оцепенеют на месте». Зачем это он сказал! Боже мой, как мы заорали! особенно Зеленый не пожалел лег-

ких, и Вандик тоже. Но не успел затихнуть наш крик, как козел скакнул в кусты и вместе с козами бросился назад. Мы все вопросительно поглядели на Вандика. «Что ж ты, земляк, худо знаешь натуральную историю?»— заметил Зеленый. «Аппл!»— крикнул Вандик на лошадь, и мы поехали дальше. Но долго еще видели, как мчались козы в кустах, шевеля ветвями, и потом бросились бежать в гору, а мы спустились с горы. Местность значительно начала изменяться: горы всё ближе к нам; мы ехали по их отлогостям, то взбираясь вверх, то опускаясь.

К обеду мы подъехали к прекрасной речке, обстановленной такими пейзажами, что даже сам приличный и спокойный Вандик с улыбкой указал нам на один живописный овраг, осененный деревьями. «Very nice place!» (прекрасное место) — заметил он. Мы переехали речку через длинный каменный мост, с одной аркой, еще не совсем конченный. «Кто строит этот мост?» — спросил я. «Стелленбошский каретник»,— отвечал он. «Как так: где же он учился?» — «А нигде; он даже никуда не выезжал отсюда», Прямо с моста мы въехали как будто в сад. Нас с экипажами совсем поглотила зелень, тень и свежесть. Всё сады, сады, так что домов не видно: это местечко Стелленбош. Широкие-прешироки е улицы пересекались под прямыми углами. Красивее и больше дубов я нигде не видал: под ними прятались низенькие одноэтажные домы, голландской постройки. Улицы так длинны, что конца нет: версты две и более.

Мы долго мчались по этим аллеям и, наконец, в самой длинной и, по-видимому, главной улице остановились перед крыльцом. Белых жителей не видно по улицам ни души: еще было рано и жарко, только черные бродили кое-где или проезжали верхом да работали. Мы вошли в пустые, прохладные комнаты, убранные просто, почти бедно. Мы отворили дверь из залы и остановились на пороге перед оригинальной картиной фламандской школы. Комната была высокая, с деревянным полом, заставлена ветхими деревянными, совершенно почерневшими от времени шкафами и разной домашней утварью. У стены стоял диван, отчасти с провалившимся сиденьем; перед ним круглый стол, покрытый грубой скатертью; кругом стен простые скамьи и табуреты. На одной скамье сидела очень старая старуха, в голландском чепце, без оборки, и макала сальные свечки; другая, пожилая женщина, сидела за прялкой; третья, молодая девушка, с буклями, совершенно белокурая и совершенно белая, цвета топленого молока, с белыми бровями и светло-голубыми, с белизной, глазами, суетилась по хозяйству. Служанкой была плотная и высокая мулатка. Сросшиеся брови и маленький лоб не мешали ей кокетливо играть своими черными, как деготь, глазами. Все остановилось, как мы вошли. Все встали с мест. Хозяйки приветливой улыбкой отвечали на

наши поклоны и принялись суетиться, убирать свечи, прялку, всю утварь, очищая нам место сесть. «Что у вас есть к обеду?»— спросил барон. «Мы изготовим»,— отвечали они. «Есть говядина, баранина?»— «Говядины нет, а есть курица и свинина».— «А зелень есть?»— «И зелень есть».— «А фрукты,— спросил Зеленый,— виноград, например, апельсины, бананы?»— «Апельсинов и бананов нет, а есть арбузы и фиги».— «Хорошо, хорошо. Давайте арбузов и фиг, и еще нет ли чего?»

Поднялась возня: мы поставили вверх дном это мирное хозяйство. Дверцы шкафов пошли хлопать, миски, тарелки звенеть; на кухне затрещал огонь; женщины забегали взад и вперед. Я вышел на двор, на широкое крыльцо, густо осененное, как везде здесь, виноградными лозами. Кисти крупного, желтого винограда соблазнительно висели по трельяжу. Негр с лесенкой переходил от одной кисти к другой и резал лучшие нам к обеду. Черная, как поношенный атлас, старуха негритянка, с платком на голове, чистила ножи. Увидев меня, она высунула мне язык. За мной показался Зеленый: и ему тоже. Ему ужасно понравилось это, и он пригласил меня смотреть, как она будет приветствовать других наших товарищей, которые шли за нами. Хозяйка, заметив, как встречает нас арабка, показала на нее, потом на свою голову и поводила пальцем по воздуху взад и вперед, давая знать, что та не в своем уме. Маленький двор был дополнением этого хозяйства. Туда уже успел забраться Вандик с обоими экипажами. Он, с помощью мальчишки и другого кучера, отпряг лошадей и привязал их в тени, по разным углам. Хозяйство было небольшое, но полное у этой африканской Коробочки. Свиньи и домашние птицы ходили по двору, а рядом зеленел сад. Яркая зелень банана резко оттенялась на фоне темно-зеленых фиговых и грушевых деревьев. Из-за забора глядели красные цветы шиповника.

Мы с бароном пошли гулять на улицу. Везде зелено; всё сады да аллеи. Мы дошли до конца улицы и уперлись в довольно большую протестантскую церковь, с оградой. Направо стоял большой дом, казенный: дом здешнего правления; перед ним дубы достигли необыкновенного роста и объема. Вероятно, эти деревья ровесники местечку, а оно старше почти всех других в колонии: оно основано двести лет назад и названо в честь тогдашнего губернатора, по имени Стеллен, и жены его, урожденной Бош. Любуясь зеленью садов, мы повернули налево, в узенькую улицу и вышли за город. С одной стороны перед нами возвышалась гора, местами голая, местами с зеленью; кругом была долина, одна из самых обработанных; вдали фермы. Мы воротились в город и пошли по узенькому ручью, в котором черные бабы полоскали белье. По ручью стояли мазанки готтентотов и негров; кое-где мелочные лавочки. Улицы всё — шоссе. У одного дома европейской наружности,

по-видимому почтового, стояло несколько карет, колясок и карт; около них толпились путешественники обоих полов — всё англичане.

Мы застали уже накрытый стол, и хозяйки, стоя вокруг, приглашали нас сесть; мы не заставили долго просить себя. Они ласково смотрели на нас и походили в своих старинного покроя платьях, с бледными лицами и грустными взглядами, на полинявшие портреты добрых предков. Чего только не было наставлено на столе: это лавочка съестных припасов. Миски и тарелки разнокалиберные; у графинов разные пробки, а у судков и вовсе нет; перечница с отбитой головкой — бедность и радушие. Как много барон съел мяса и живности, Зеленый фруктов, я всего — и говорить нечего. Арбузы, продолговатые, формой похожие на дыни, были и красны и сладки, так что мы заказали себе их на дорогу.

Стелленбош славится в колонии своею зеленью, фруктами и здоровым воздухом. От этого сюда стекаются инвалиды и иностранцы, нанимают домы и наслаждаются тенью и прогулками. В неделю два раза ходят сюда из Капштата омнибусы; езды всего по прямой дороге часов пять. Окрестности живописны: всё холмы и долины. Почва состоит из глины, наносного ила, железняка и гранита. В самом Стелленбоше считается около четырех, а в округе около пяти тысяч жителей. Местечко замечательно еще школой, одной из лучших в колонии. Оттуда вышло несколько хороших учителей для других мест. Преподают все, что входит в круг классического воспитания. Кто знает, какой дуб учености вырастет со временем в этой старинной, но еще молодой и формирующейся на новый лад колонии? Может быть, стелленбошская коллегия будет со временем африканским Геттингеном или Оксфордом. «Молодая колония» — я сказал: да, потому что лет каких-нибудь тридцать назад здесь ни о дорогах, ни о страховых компаниях, ни об улучшении быта черных не думали. И нынче еще упорный в ненависти к англичанам голландский фермер, опустив поля шляпы на глаза, в серой куртке, трясется верст сорок на кляче верхом, вместо того чтоб сесть в омнибус, который, за три шиллинга, часа в четыре, привезет его на место. А фермеры эти не бедны: у некоторых хозяев от семи до восьми тысяч руб. сер. годового дохода. В Стелленбошском округе главное произведение все-таки вино, потом пшеница, дуб, картофель и т. п. предметы.

Часов в пять, когда жара спала, все оживилось: жалюзи открылись; на крыльцах появилось много добрых голландских фигур, мужских и женских. Я встретил нашего доктора и с ним двух, если не немцев, то из немцев. Два датчанина, братья, доктор и аптекарь, завели его к себе в дом, показывали сад. Я познакомился с ними, и мы пошли за город, к мосту, через мост по полю, и уже темным вечером, почти ощупью, воротились в город. Датчане завели нас к себе и

непременно хотели угостить главным капским произведением, вином. Это был для меня трудный подвиг: пить, да еще после обеда! А они подали три-четыре бутылки и четыре стакана: «Вот это фронтиньяк, это ривезальт»,— говорили они, наливая то того, то другого вина, и я нашел в одном сходство с chambertin: вино было точно из бургундских лоз. Хозяева сказали, что пришлют нам несколько бутылок вина в Капштат, в нашу гостиницу. Они проводили нас до нашей квартиры.

Тишина и теплота ночи были невыразимо приятны: ни ветерка, ни облачка; звезды так и глазели с неба, сильно мигая; на балконах везде люди и говор. Из нашей гостиницы неслись веселые голоса; из окон лился свет. Все были дома, сидели около круглого стола и пили микстуру с песком, то есть чай с сахаром. Это пародия на то, что мы пьем у себя под именем чая. За столом было новое лицо: пожилой полный человек, с румяным, добрым, смеющимся лицом. «Г. Ферстфельд, местный доктор»,— сказал нам Посьет. «Что ж он на нас так странно смотрит и откуда вы его взяли?» — спросил я. «Сам пришел: узнал, что русские приехали, пришел посмотреть; никогда, говорит, не видал».

Доктор и сам подтвердил это. Он порядочно говорил по-французски и откровенно объяснил, что он так много слышал и читал о русских, что не мог превозмочь любопытства и пришел познакомиться с нами. «Я занимаюсь немного естественными науками, геологией, и не естественными: френологией; люблю также этнографию. Поэтому мне очень интересно взглянуть на русский тип»,— говорил он, поглядывая с величайшим вниманием на барона Криднера, на нашего доктора Вейриха и на Посьета: а они все трое были не русского происхождения. «Так вот какой тип!» — говорил он, продолжая глядеть на них. Мы едва крепились от смеху. «А это какой тип?» — спросил я, указывая на Зеленого. «Это... — он серьезно и долго вглядывался в него,— это... монгольский». Мы было засмеялись, но доктор, кажется, прав: у Зеленого действительно татарские черты. «Ну, а этот?» — показывали мы на Гошкевича. Он долго думал. «Он десять лет жил в Китае»,— заметил кто-то про Гошкевича. «А ведь он похож на китайца!» — заметил Ферстфельд. Мы хохотали, и он с нами. Гошкевич был из малороссиян. Чисто русские были только Зеленый и я. «Да, русские сильны: о! о них много-много слуху!» — говорил он. Он ожидал, кажется, увидеть богатырей, а может быть, людей немного зверской наружности, и удивился, когда узнал, что Гошкевич занимается тоже геологией, что у нас много ученых, есть литература.

Это все так заняло его, что он и не думал уходить; а пора было спать. Вандик наотрез отказался ехать: «Дорога дурна»,— объявил он улыбаясь. Голландский доктор настаивал, чтоб мы непременно посетили его на другой день, и объявил, что сам

поедет проводить нас миль за десять и завезет в гости к приятелю своему, фермеру.

На ночь нас развели по разным комнатам. Но как особых комнат было только три, и в каждой по одной постели, то пришлось по одной постели на двоих. Но постели таковы, что на них могли бы лечь и четверо. На другой день, часу в восьмом, Ферстфельд явился за нами в кабриолете, на паре прекрасных лошадей.

Мы выехали по свежей утренней прохладе и проезжали по дороге между фермами, как между дачами, по зеленым холмам. Я забыл сказать, что накануне у одной дачи нам указали камфарное дерево. Мы вышли и нарвали себе несколько веток, с листьями и плодами, величиной с крупную горошину, от которых вдруг в экипажах разлился запах, напоминающий зубную боль и подушечки. Дерево не очень красиво; оно показалось мне похожим немного на нашу осину, только листья другие, продолговатые, толще и глаже; при трении они издавали сильный запах камфары. Ферстфельд останавливал наше внимание на живописных местах: то указывал холм, густо поросший кустарником, то белеющуюся на скате горы в рытвине ферму с виноградниками. Мы выходили из экипажей и бродили по сторонам, собирая кто каменья, кто травы или цветы. Между тем, приглядываясь к лошадям у нашего экипажа, я видел какую-то разницу, как будто одна лошадь не прежняя. «Это не прежняя лошадь»,— сказал я Вандику, который, в своей голубой куртке, в шляпе с крепом, прямо и неподвижно, с голыми руками, сидел на козлах. «Нет». — «Где ж та?» — «Променял». — «Разве эта лучше? Верно, она не ладит с другой, все шалит дорогой».— «Выгодно променял,— с улыбкой сказал Вандик.— Я хотел выменять еще беленькую лошадку, very nice horse!» (славная лошадка!)— прибавил потом. «Что ж не выменял?»— «Не отдают; да не уйдет она от меня!»

Эти шесть миль, которые мы ехали с доктором, большею частью по побочным дорогам, были истинным истязанием, несмотря на живописные овраги и холмы: дорогу размыло дождем, так что по горам образовались глубокие рытвины, и экипажи наши не катились, а перескакивали через них. Надо отдать справедливость Вандику: он в искусстве владеть вожжами стоит если не выше, то так же высоко, как его соименник в искусстве владеть кистью. Вот гора, и на ней три рытвины, как три ветви, идут в разные стороны, а между рытвинами значительный горб — это задача. Как бы, кажется, не поломать тут колес и даже ребер и как самым смирным лошадям не потерять терпение и не взбеситься, карабкаясь то на горб, то оступаясь в яму? Может быть, оно так бы и случилось у другого кучера, но Вандик заберет в руки и расположит все вожжи между полуаршинными своими пальцами и начнет играть ими, как струнами, трогая то первую, то третью или четвертую.

От этих искусных маневров две передние лошади идут по горбу, а рытвина остается между ними; если же они и спускаются в нее, то так тихо и осторожно, как будто пасутся на лугу. Иногда им приходится лепиться по косогору налево, а экипаж спускается с двумя другими лошадьми в рытвину направо и колышется, как челнок, на гладких, округленных волнах. И это поминутно. Когда мы стали жаловаться на дорогу, Вандик улыбнулся и, указывая бичом на ученую партию, кротко молвил: «А капитан хотел вчера ехать по этой дороге ночью!» Ручейки, ничтожные накануне, раздулись так, что лошади шли по брюхо в воде. Солнце всходило высоко; утренний ветерок замолкал; становилось тихо и жарко; кузнечики трещали, стрекозы начали реять по траве и кустам; к нам врывался по временам в карт овод или шмель, кружился над лошадьми и несся дальше, а не то так затрепещет крыльями над головами нашими большая, как птица, черная или красная бабочка и вдруг упадет в сторону, в кусты.

Зеленый только было запел: «Не бил барабан», пока мы взбирались на холм, но не успел кончить первой строфы, как мы вдруг остановились, лишь только въехали на вершину, и очутились перед широким крыльцом большого одноэтажного дома, перед которым уже стоял кабриолет Ферстфельда. Кругом нас расположены были строения, сараи и разные службы. Налево от дому, по холму, идет довольно большой сад, сзади дома виноградники и тоже сад, дальше дикие кусты. Это была голландская ферма Эльзенборг, принадлежащая приятелю доктора.

Ферстфельд пошел в дом, а мы остались у крыльца. Чрез минуту он возвратился с хозяином и приглашал нас войти. На пороге стоял высокий, с проседью, старик, с нависшими бровями, в длинной суконной куртке, закрывавшей всю поясницу, почти в таком же длинном жилете, в широких нанковых, падавщих складками около ног панталонах. От дома и от него так и повеяло Поль Поттером, Миерисом, Теньером[1]. Он, протянув руку, стоял, не шевелясь, на пороге, но смотрел так кротко и ласково, что у него улыбались все черты лица. На крыльце лежало бесчисленное множество тыкв; шагая между ними, мы добрались до хозяина и до его руки, которую потрясли все по очереди.

Наконец мы у голландского фермера в гостях, на Капе, в Африке! Сколько описаний читал я о фермерах, о их житье-бытье; как жадно следил за приключениями, за битвами их с дикими, со зверями, не думая, что когда-нибудь... Мы вошли в большую залу, из которой пахнуло на нас прохладой. В дверях гостиной встретили нас три новые явления: хозяйка в бе-

---

[1] Имеются в виду жанровые картины голландских художников Поля Поттера (1625—1654), Франа ван Миериса (1635—1681) и фламандского художника Теньера Давида — младшего (1610—1690).

лом чепце с узенькой оборкой, в коричневом платье; дочь, хорошенькая девочка лет тринадцати, глядела на нас так молодо, свежо, с детским застенчивым любопытством, в таком же костюме, как мать, и еще какая-то женщина, гостья или родственница. Они знаками пригласили нас войти в гостиную. Я не верил глазам: ужели это фермер, крестьянин? Гостиная была еще больше залы; в ней царствовал полумрак, как в модном будуаре; посреди стоял массивный, орехового дерева стол, заваленный разными редкостями, раковинами и т. п. предметами. По углам гнездились тяжелые, но красивые старинные диваны и кресла; посредине комнаты группировались крытые штофом козетки; не было уже шкафов и посуды. У окон и дверей висели плотные шелковые драпри из материй, каких не делают нынче; чистота была неимоверная: жаль было ступать ногами по этим лакированным полам. Я боялся сесть на козетку: на ней, кажется, никто никогда не сидел; видно, комнаты выметаются, чистятся, показываются гостям, потом опять выметаются и запираются надолго. Мы сначала молчали, разглядывая друг друга. Мы видели, что хозяева ни за что не начнут сами разговора.

Наконец Посьет заговорил по-голландски, извинялся в нечаянном и, может быть, нескромном посещении. Старик неторопливо, без уверений, без суеты, кротко возразил, что он «рад таким гостям, издалека». И видно, что в самом деле был рад. Боже мой! как я давно не видал такого быта, таких простых и добрых людей и как рад был бы подольше остаться тут! «Что ж они, дадут ли завтракать? — с любопытством шепнул мне барон, — этого требует гостеприимство». — «Да ведь вы завтракали». — «Вы кофе называете завтраком — это смешно, — возразил он, — я разумею бифштекс, котлеты, дичь. Здесь, верно, дичи много и «скотства» должно быть немало!» — заключил он, пародируя фразу нашего спутника Вейриха.

Из хозяев никто не говорил по-английски, еще менее по-французски. Дед хозяина и сам он, по словам его, отличались нерасположением к англичанам, которые «наделали им много зла», то есть выкупили черных, уняли и унимают кафров и другие хищные племена, учредили новый порядок в управлении колонией, провели дороги и т. п. Явился сын хозяина, здоровый, краснощекий фермер лет двадцати пяти, в серой куртке, серых панталонах и сером жилете. Он тоже молча перещупал нам всем руки. Отец с сыном предложили нам посмотреть ферму, и мы вышли опять на крыльцо. Тут только я заметил, каким великолепным виноградным деревом было оно осенено. Корень его уродливым, переплетшимся, как множество змей, стволом выходил из-под каменного пола и опутывал ветвями, как сетью, трельяж балкона, образуя густую зеленую беседку; листья фестонами лепились по решетке и стенам. Большие кисти винограда, как лампы, висели в разных местах потолка.

Мы загляделись на дерево. «Этому дереву около девяноста лет,— сказал хозяин,— оно посажено моим дедом в день его свадьбы».— «Зачем эта тыква здесь?»— спросили мы. «Это к обеду черным».— «А много их у вас?» — «Нет, теперь всего двадцать человек, а во время работ нанимаем до сорока; они дороги. Англичане избаловали их и приучили к праздности. Они выработают себе, сколько надо, чтоб прожить немного на свободе, и уходят; к постоянной работе не склонны, шатаются, пьянствуют, пока крайность не принудит их опять к работе».— «У старика до тысячи фунтов стерлингов доходу в год»,— шепнул нам Ферстфельд. Мы с бо́льшим вниманием стали смотреть на старика и его суконную куртку. «Времена не совсем хороши для нас,— продолжал старик,— сбыта мало. Вот только и хорошо, когда война, как теперь».— «Отчего же так?»— «Потребления больше: до двенадцати тысяч одного английского войска; хлеб и вино идут отлично; цены славные: все в два с половиной раза делается дороже».— «Сколько на хорошей ферме выделывается вина в год?» — спросил я. «Около двухсот пип»,— отвечал хозяин. (Пипу надо считать во 114 галлонов, а галлон — в 5 бутылок.) «Куда сбывается вино?» — «Больше в Англию да немного в самую колонию и на острова, на Маврикий». —«Но почти весь испанский херес и портвейн идут в Англию,— заметил я,— что же делают из здешнего?»— «Делают херес, портвейн,— сказал Ферстфельд,— потому что настоящего испанского вина недостает».— «Да ведь отсюда далеко возить, дорого обходится».— «От тридцати пяти до сорока дней на нынешних судах, особенно на паровых».

Несмотря на отдаленность, здешнее вино, и с процессом подделки под испанские вина, все-таки обходится англичанам дешевле тех.

Мы пошли в сад. Виноград рассажен был на большом пространстве и довольно низок ростом. Уборка уже кончилась. Мы шли по аллее из каштанов, персиковых и фиговых деревьев. Все было обнажено, только на миндальных деревьях кое-где оставались позабытые орехи. Хозяйский сын рвал их и подавал нам. Они были толстокорые, но зато вкусны и свежи. Какая разница с продающимся у нас, залежавшимся и высохшим миндалем! Проходя по двору, обратно в дом, я увидел, что Вандик и товарищ его распорядились уж распрячь лошадей, которые гуляли по двору и щипали траву.

Хозяева извинялись, что, по случаю раннего и кратковременного нашего посещения, не успеют угостить нас хорошенько, и просили отведать наскоро приготовленного сельского завтрака. Мы пришли в светлую, пространную столовую, на стене которой красовался вырезанный из дерева голландский герб. Посредине накрыт был длинный стол и уставлен множеством блюд с фруктами. У Зеленого глаза разбежались, а барон сделал гримасу. Тут дымились чайники, кофейники той формы,

как вы видите их на фламандских картинах. На блюдах лежал виноград нескольких сортов, фиги, гранаты, груши, арбузы. Потом маленькие булки, горячие до того, что нельзя взять в руку, и отличное сливочное масло. Тут же яйца, творог, картофель, сливки и несколько бутылок старого вина — все произведение фермы. Хозяева наслаждались, глядя, с каким удовольствием мы, особенно Зеленый, переходили от одного блюда к другому. Чрез полчаса стол опустошен был до основания. Вино было старый фронтиньяк, отличное. «Что это,— ворчал барон,— даже ни цыпленка! Охота таскаться по этаким местам!»

Мы распрощались с гостеприимными, молчаливыми хозяевами и с смеющимся доктором. «Я надеюсь с вами увидеться,— кричал доктор,— если не на возвратном пути, так я приеду в Саймонстоун: там у меня служит брат, мы вместе поедем на самый Мыс смотреть соль в горах, которая там открылась».

Дорога некоторое время шла дурная, по размытым дождями оврагам и буеракам, посреди яркой зелени кустов и крупной травы. Потом выехали мы опять на шоссе и покатились довольно быстро. Горы обозначались все яснее, и вскоре выдвинулись из-за кустов и холмов две громады и росли, по мере нашего приближения, все выше и выше. Дорога усажена была сплошной стеной айвы; наш молодой приятель и лошади опять поели ее. Мы подъехали к самым горам и к лежащему у подошвы их местечку Paarl по-голландски, а по-русски «перл». Это место действительно перл во всей колонии по красоте местоположения, по обилию и качеству произведений, особенно вина.

Взгляд не успевал ловить подробностей этой большой, широко раскинувшейся картины. Прямо лежит на отлогости горы местечко, с своими идущими частью правильным амфитеатром, частью беспорядочно перегибающимися по холмам улицами, с утонувшими в зелени маленькими домиками, с виноградниками, полями маиса, с близкими и дальними фермами, с бегущими во все стороны дорогами. Налево гора Паарль, которая картинною разнообразностью пейзажей, яркой зеленью не похожа на другие здешние горы. Полуденное солнце обливало ее всю ослепительным блеском. На покатости ее, недалеко от вершины, сверкали какие-то три светлые полосы. Сначала я принял их за кристаллизацию соли, потом за горный хрусталь, но мне показалось, что они движутся. Солнечные лучи так ярко играли в этих стальных полосах, что больно было глазам. «Что это такое?» — спросил я Вандика. «Каскады,— отвечал он,— теперь они чуть-чуть льются, а зимой текут потоками: very nice!»[1] Ну, для каскадов это не слишком грандиозно! Они напоминают те каскады, которые делают из стекла в столовых часах. На южной оконечности горы издалека был виден, как будто руками человеческими обточенный,

[1] очень мило! (*англ.*)

громадный камень: это diamond — *алмаз*, камень-пещера, в которой можно пообедать человекам пятнадцати. По горе, между густой зеленью, местами выбегали и опять прятались тропинки, по которым, казалось, могли бы ползать разве муравьи; а кое-где выглядывала угрюмо из травы кучка серых камней, образуя горб, там рытвина, заросшая кустами. Мы въехали в самое местечко, и я с сожалением оторвал взгляд от живописной горы.

Домики, что за домики — игрушки! Площадки, обвитые виноградом, палисадники, с непроницаемой тенью дубовых ветвей, с кустами алоэ, с цветами — всё, кажется, приюты счастья, мирных занятий, домашних удовольствий! Мы быстро мчались из одного сада в другой, то есть из улицы в улицу, переезжая с холма на холм. Деревья как будто кокетничали перед нами, рисуясь, что шаг, то новыми группами. «Мы остановимся здесь?» — спросил я Вандика, видя, что он гонит лошадей так, как будто хочет проехать местечко насквозь. Но Вандик и не слыхал моего вопроса: он устремил глаза на какой-то предмет. Я посмотрел, куда он так пристально глядит: внизу террасы, по которой мы ехали, на лугу паслась лошадь — вот и все. «Странно,— ворчал Вандик,— я не знаю, чья это лошадь». Мы проехали террасу и луг, а он привстал на козлах и оглядывался назад. «В прошедший раз ее не было здесь»,— продолжал он ворчать и, озабоченный, шибче погнал лошадей. «Какое большое местечко!» — сказал я опять. «Шесть миль занимает, — отвечал Вандик,— мы здесь остановимся,— продолжал он, как будто на мой прежний вопрос,— и я сбегаю узнать, чья это лошадь ходит там на лугу: я ее не видал никогда».— «Да разве ты знаешь всех лошадей?» — «О, yes! — с улыбкою отвечал он, десятка два я продал сюда и еще больше покупал здесь. А эта...» — говорил он, указывая бичом назад, на луг... «Аппл!» — вдруг крикнул он, видя, что одна из передних лошадей отвлекается от своей должности, протягивая морду к стоявшим по сторонам дороги деревьям.

В конце этой террасы, при спуске с горы, близ выезда из местечка, мы вдруг остановились у самого кокетливого домика и спешили скрыться от жары в отворенные настежь двери, куда манили сумрак и прохлада. Мы с бароном первые вбежали в комнату и перепугали внезапным появлением какую-то скромно одетую, не совсем красивую девушку, которая собиралась что-то доставать из шкафа. Она потупила глаза и робко стояла на месте. «Можно приготовить нам завтрак?» — спросил барон по-английски. «Yes»,— отвечала она. «А обед?» — «Yes». «Так прикажите приготовить обед, да... получше, побольше... всего».— «А постели нужно?» — спросила она. «Нет,—отвечали мы.— А у вас есть и комнаты для приезжих?» — «Plenty» (много). Девушка внезапно скрылась, и наши спутники и мы расположились кто в комнатах, кто на

балконе. Вандик отпряг лошадей и опрометью побежал с горы справляться, чья лошадь ходит по лугу.

Комнаты вовсе не показывали, чтоб это была гостиница. В первой, куда мы вошли, стоял диван, перед ним стол, кругом кресла. На стенах все принадлежности охоты: ружья, яхташи, кинжалы, рога, бичи. В следующей, куда мы сейчас же проникли, стояло фортепиано, круглый, крытый суконной салфеткой стол; на нем лежало множество хорошеньких безделок. По стенам висели картинки с видами мыса Доброй Надежды. Все не только чисто, прилично прибрано, но со вкусом и комфортом. «Кто же здесь живет, чем занимается?» —думали мы, глядя на все кругом. «Живет, конечно, англичанин»,— заключили сами же потом; занимается охотой, как видно, и, между прочим, содержит отель; или, пожалуй, содержит отель и, между прочим, занимается охотой. Но кто же эта девушка: дочь, служанка? Наши, то есть Посьет и Гошкевич, собрались идти на гору посмотреть виды, попытаться, если можно, снять их; доктор тоже ушел, вероятно искать немцев. Я и барон остались, и Зеленый остался было с нами, но спутники увели его почти насильно, навязав ему нести какие-то принадлежности для съемки видов. Чрез полчаса, однако ж, он, кинув где-то их, ушел тайком и воротился в гостиницу. Жар так и палил.

Не успели мы расположиться в гостиной, как вдруг явились, вместо одной, две и даже две с половиною девицы: прежняя, потом сестра ее, такая же зрелая дева, и еще сестра, лет двенадцати. Ситцевое платье исчезло, вместо его появились кисейные спенсеры, с прозрачными рукавами, легкие из муслин-де-лень юбки. Сверх того, у старшей была синева около глаз, а у второй на носу и на лбу по прыщику; у обеих вид невинности на лице. Напротив, маленькая девочка смотрела совсем мальчишкой: бойко глядела на нас, бегала, шумела. Сестры сказывали, что она, между прочим, водит любопытных проезжих на гору показывать «Алмаз», каскады и вообще пейзажи.

Девицы вошли в гостиную, открыли жалюзи, сели у окна и просили нас тоже садиться, как хозяйки не отеля, а частного дома. Больше никого не было видно. «А кто это занимается у вас охотой?» — спросил я. «Па»,— отвечала старшая. «Вы одни с ним живете?» — «Нет; у нас есть ма»,— сказала другая. Разговор остановился пока на этом. Девицы сидели, потупя глаза, а мы мучительно выработывали в голове английские фразы полюбезнее. Девицы, казалось, ожидали этого. «А обед скоро будет готов?»— вдруг спросил барон после долгого молчания. «Да».— «Спросите, есть ли у них виноград,— прибавил Зеленый,— если есть, так чтоб побольше подали; да нельзя ли бананов, арбузов?..» Меня занимали давно два какие-то красные шарика, которые я видел на столе, на блюдечке. «Что это такое?» — спросил я. «Яд»,— скромно отвечала одна. «Для кого вы держите его?» — «Па где-то достал; так...» — «Это вы

занимаетесь музыкой?» — «Да»,— отвечала старшая. «Нельзя ли спеть?» — стали мы просить. Она начала немного жеманиться, но потом села за фортепиано и пела много и долго: то шотландскую мелодию, то южный, полуиспанский, полуитальянский романс. Не спрашивайте, хорошо ли она пела. Скажу только, что барон, который сначала было затруднялся по просьбе хозяек петь, смело сел, и боже мой, как и что он пел! Только и позволительно петь так перед обедом, с голоду, и притом в Африке. К счастью, среди пения в гостиную заглянула черная курчавая голова и, оскалив зубы, сказала африканским барышням что-то по-голландски. Барон, нужды нет, что сидел спиной к дверям, сейчас догадался, что это значит. «Обед готов»,— сказал он. «Других еще нет»,— возразили мы. «Нужды нет, мы есть не станем, посмотрим только». Между множеством наставленных на столе жареных и вареных блюд, говядины, баранины, ветчины, свинины и т. п. привлекло наше внимание одно блюдо, с салатом из розового лука. Мы попробовали, да и не могли отстать: лук сладковатый, слегка едок и только напоминает запах нашего лука. Большой салатник вскоре опустел. «Еще салату!» — приказал барон, и когда наши воротились, мы принялись как следует за суп и своим порядком дошли опять до третьего салатника.

После обеда пробовали ходить, но жарко: надо было достать белые куртки. Они и есть в чемодане, да прошу до них добраться без помощи человека! «Нет, уж лучше пусть жарко будет!..»— заключили некоторые из нас.

Подле отеля был новый двухэтажный дом, внизу двери открыты настежь. Мы заглянули: магазин. Тут все: шляпы, перчатки, готовое платье и проч. Торгуют голландцы. В местечке учреждены банки и другие общественные заведения. Паарльский округ производит лучшее вино, после констанского, и много водки. Здесь делают также *карты*, то есть дорожные капские экипажи, в каких и мы ехали. Я видел щегольски отделанные, не уступающие городским каретам. Вандик купил себе новый карт, кажется за сорок фунтов. Тот, в котором мы ехали, еле-еле держался. Он сам не раз изъявлял опасение, чтоб он не развалился где-нибудь на косогоре. Однако ж он в новом нас не повез.

Здесь есть компания омнибусов. Омнибус ходит сюда два раза из Кэптауна. Когда вы будете на мысе Доброй Надежды, я вам советую не хлопотать ни о лошадях, ни об экипаже, если вздумаете посмотреть колонию: просто отправляйтесь с маленьким чемоданчиком в Longstreet [1] в Капштате, в контору омнибусов; там справитесь, куда и когда отходят они, и за четвертую часть того, что нам стоило, можете объехать вдвое больше.

---

[1] Лонг-стрит (*англ.*).

Часу в пятом мы распрощались с девицами и с толстой их *ма*, которая явилась после обеда получить деньги, и отправились далее, к местечку Веллингтону, принадлежащему к Паарльскому округу и отстоящему от Паарля на девять английских миль.

Оба эти места населены голландцами, оголландившимися французами и отчасти англичанами. Да где же народ — черные? где природные жители края? Напрасно вы будете искать глазами черного народонаселения, как граждан, в городах. О деревнях я не говорю: их вовсе нет, всё местечки и города; в немногих из них есть предместья, состоящие из бедных, низеньких мазанок, где живут нанимающиеся в городах чернорабочие. Я смотрел во все стороны в полях и тоже не видал нигде ни хижины, никакого человеческого гнезда на скале: всё фермы, на которых помещаются только работники, принадлежащие к ним. Оседлых черных жителей поблизости к Капштату нет. Они, вместе со зверями, удаляются все внутрь, как будто заманивая белых проникать дальше и дальше и вносить Европу внутрь Африки. Европейцы уже касаются тропиков. Мы, конечно, не доживем до той поры, когда одни из Алжира, а другие от Капштата сойдутся где-нибудь внутри; но нет сомнения, что сойдутся. Никакие львы и носороги, ни Абдель-Кадеры и Сандильи, ни даже — что хуже того и другого — сама Сахара не помешают этому. Уж о сю пору омнибусы ходят по колонии, водку дистиллируют; есть отели, магазины, барышни в буклях, фортепиано — далеко ли до полного успеха? Есть проект железной дороги внутрь колонии и послан на утверждение лондонского министерства; но боятся, что не окупится постройка: еще рано. До сих пор одни только готтентоты оказали некоторую склонность к оседлости, к земледелию и особенно к скотоводству, и из них составилась целая область. Там они у себя хозяева. Пашут хлеб, разводят скот и под защитой английских штыков менее боятся набегов кафров.

Мы ехали широкой долиной. На глазомер она простиралась верст на пять в ширину. Нельзя нарочно правильнее обставить горами, как обставлена эта долина. Она вся заросла кустами и седой травой, похожей на полынь. В одном месте подъехали к речке, порядочно раздувшейся от дождей. Надо было переправляться вброд; напрасно Вандик понукал лошадей: они не шли. «Аппл!» — крикнет он, направляя их в воду, но передние две только коснутся ногами воды и вдруг возьмут направо или налево, к берегу. Вандик крикнул что-то другому кучеру, и из другого карта выскочил наш коричневый спутник, мальчишка готтентот, засучил панталоны и потащил лошадей в воду; но вскоре ему стало очень глубоко, и он воротился на свое место, а лошади ушли по брюхо. Дно было усыпано мелким булыжником, и колеса производили такую музыку, что даже заставили замолчать Зеленого, который пел на всю Африку: «Ненаглядный ты мой, как люблю я тебя!» или «У Антона дочка» и т. д.

Весело и бодро мчались мы под теплыми, но не жгучими лучами вечернего солнца, и на закате, вдруг прямо из кустов, въехали в Веллингтон. Это местечко построено в яме, тесно, бедно и неправильно. С сотню голландских домиков, мазанок, разбросано между кустами, дубами, огородами, виноградниками и полями с маисом и другого рода хлебом. Здесь более, нежели где-нибудь, живет черных. Проехали мы через какой-то переулок, узенький, огороженный плетнем и кустами кактусов и алоэ, и выехали на большую улицу. На веранде одного дома сидели две или три девицы и прохаживался высокий, плотный мужчина, с проседью. «Вон и мистер Бен!» — сказал Вандик. Мы поглядели на мистера Бена, а он на нас. Он продолжал ходить, а мы поехали в гостиницу — маленький и дрянной домик, с большой, красивой верандой. Я тут и остался. Вечер был тих. С неба уже сходил румянец. Кое-где прорезывались звезды.

«Пойдемте к Бену с визитом», — сказал барон. «Да прежде надо спросить хозяина, что он даст нам ужинать». Кто же тут хозяин? Тут их было два: один вертелся на балконе, в переднике, не совсем причесанный и бритый англичанин, и давно распоряжался переноской наших вещей в комнаты. Другой, в пальто и круглой шляпе, на улице у крыльца принимал деятельное участие в нашем водворении в гостиницу. Кроме их, мальчишка негр и девчонка негритянка хлопотали около вещей. «Нет, мне не хочется к Бену, — отвечал я барону, — жаль оставить балкон. Теперь поздно: завтра утром».

Между тем ночь сошла быстро и незаметно. Мы вошли в гостиную, маленькую, бедно убранную, с портретами королевы Виктории и принца Альберта, в парадном костюме ордена Подвязки. Тут же был и портрет хозяина: я узнал таким образом, который настоящий: это — небритый, в рубашке и переднике; говорил в нос, топал, ходя, так, как будто хотел продавить пол. Едва мы уселись около круглого стола, как вбежал хозяин и объявил, что г. Бен желает нас видеть.

Мы отдали ему рекомендательное письмо от нашего банкира из Капштата. Он прочел и потом изъявил опасение, что нам, по случаю воскресенья, не удастся видеть всего замечательного. «Впрочем, ничего, — прибавил он, — я постараюсь кое-что показать вам».

Разговор зашел о геологии, любимом его занятии, которым он приобрел себе уже репутацию в Англии и готовился, неизданными трудами, приобрести еще более громкое имя. «Я покажу вам свою геологическую карту», — сказал он и ушел за ней домой. Через четверть часа он воротился с огромной и великолепной картой, где подробно означены формации всех гор, от самого Мыса до внутренних границ колонии. Карта начерчена изящно. Трудился один Бен; помощников в этой глуши у него не было. Он работал около пятнадцати лет над этим трудом и послал копию в Лондон. Вся почва гор в колонии со-

стоит из глинистого сланца, гранита и песчаника. Мы залюбовались картой и выпросили ее оставить у нас до утра. «Она, вероятно, уже печатается ученым обществом,— сказал Бен,— и вы, по возвращении, найдете ее готовою».

Вторая специальность Бена — открытие и описание ископаемых животных колонии, между которыми встречается много двузубых змей. Он нам показывал скелеты этих животных и несколько их подарил. Третья и главная специальность его — прокладывание дорог. Он гражданский инженер и заведывает целым округом.

Бен замечательный человек в колонии. Он с ранних лет живет в ней и четыре раза то один, то с товарищами ходил за крайние пределы ее, за Оранжевую реку, до 20° широты, частью для геологических исследований, частью из страсти к путешествиям и приключениям. Он много рассказывал о встречах со львами и носорогами. О тиграх он почти не упоминал: не стоит, по словам его. Только рассказывал один анекдот, как тигр таскал из-за загородки лошадей и как однажды устроили ему в заборе такой проход, чтоб тигр, пролезая, дернул веревку, привязанную к ружейному замку, а дуло приходилось ему прямо в лоб. Но тигр смекнул, что проход, которого накануне не было, устроен недаром: он перепрыгнул через забор, покушал и таким же образом переправился обратно. О львах Бен говорил с уважением, хвалил их за снисходительность. Однажды он, с тремя товарищами, охотился за носорогом, выстрелил в него — зверь побежал; они пустились преследовать его и вдруг заметили, что в стороне, под деревьями, лежат два льва и с любопытством смотрят на бегущего носорога и на мистера Бена с товарищами, не трогаясь с места. Охотники с большим уважением прошли мимо лесных владык.

Еще страннее происшествие случилось с Беном. Он, с товарищами же, ходил далеко внутрь на большую охоту и попал на племя, которое воевало с другим. Начальник принял его очень ласково и угощал несколько дней. А когда Бен хотел распроститься, тот просил его принять участие в войне и помочь ему завладеть неприятелем. Бен отвечал, что он, без разрешения своего правительства, сделать этого не может. «Ну, так все твои ружья, быки и телеги — мои»,— отвечал дикий. Все убеждения были напрасны, и Бен отправился на войну. К счастью, она недолго продолжалась. Обе сражавшиеся стороны не имели огнестрельного оружия, и неприятели, при первых выстрелах, бежали, оставив свои жилища в руках победителей. «Вам, вероятно, очень неприятно было стрелять в несчастных?» — спросили мы. «Нет, ничего,— отвечал Бен,— ведь я стрелял холостыми зарядами. Никому и в голову не пришло поверить меня. Они не умеют обращаться с ружьями».

Бен высокого роста, сложен плотно и сильно; ходит много, шагает крупно и твердо, как слон, в гору ли, под гору ли —все

равно. Ест много, как рабочий, пьет еще больше; с лица красноват и лыс. Он от ученых разговоров легко переходит к шутке, поет так, что мы хором не могли перекричать его. Если б он не был гражданский инженер и геолог, то, конечно, был бы африканский Рубини: у него изумительный фальцетто. Он нам пел шотландские песни и баллады. Ученая партия овладела им совсем, и Посьет, конечно, много дополнит в печати беседу нашу с г. Беном.

Пока мы говорили с ним, барон исчез. Вскоре хозяин тихонько подошел ко мне и гнусливо что-то сказал на ухо. Я не понял. «Вас зовут»,— повторил он. «Кто? где?» — «На улице».— «Это что за новость? у меня здесь знакомых нет». Однако пошел. На улице темнота, как сажа в трубе: я едва нашел ступени крыльца. Из глубины мрака вышел человек, в шляпе и пальто, и взял меня за руку. Это второй, подставной хозяин. От него сильно пахло водкой. «Что вам надо?» — спросил я. «Пойдемте, пойдемте, я покажу вам бал». «Какой бал? — думал я, идучи ощупью за ним,— и отчего он показывает его мне?» Он провел меня мимо трех-четырех домов по улице и вдруг свернул в сторону. «Stop, stop: [1] ничего не вижу»,— говорил я, упираясь ногами. «Идите, тут ничего нет, только канава... вот она». И мы оба прыгнули: он знал куда, я — нет, но остался на ногах. Меня поразили звуки музыки, скрипки и еще каких-то духовых инструментов. Мы подошли к толпе, освещенной фонарями, висевшими на дверях. Толпа негров и готтентотов, мужчин и женщин, плясала. Вот и бал. Все были пьяны и неистово плясали, но молча. Посреди их стоял наш главный артист, барон. «Что вы тут делаете?» — спросил я, продравшись к нему. «Изучаю нравы,— отвечал он,— n'est ce pas que c'est pittoresque?» [2] «Гм! pittoresque,— думалось мне,— да, пожалуй, но собственного, местного, негритянского тут было только: черные тела да гримасы, все же прочее... Да это кадриль или что-то вроде: шень, балансе». Мы долго смотрели, как веселились, после трудного рабочего дня, черные. Из дома, кажется питейного, слышались нестройные голоса. Я молча, задумавшись о чем-то, смотрел на пляску. «Ужинать пора», — сказал вдруг барон, и мы пошли.

Подойдя к гостинице, я видел, что *кто-то* в темноте по улице преследует *кого-то*. Оба, преследующий и преследуемый, вбежали на крыльцо. Оказалось, что это сам хозяин загоняет свою девчонку негритянку домой, как отставшую овцу. «Что это вы делаете? зачем ее гоните?» — спросил я. «Негодная девчонка,— отвечал он,— все вертится на улице по вечерам, а тут шатаются бушмены и тихонько вызывают мальчишек и девчонок, воруют с ними вместе и делают разные другие про-

---

[1] Остановитесь, остановитесь (*англ.*).
[2] не правда ли, это очень живописно? (*франц.*)

казы».— «Нельзя ли поймать где-нибудь бушмена? мне давно хочется посмотреть это племя».— «Нет, не поймаешь, хотя их тут много прячется по ночам,— сказал хозяин с досадой, грозя на поля и огороды,— они, с закатом солнечным, выползают из своих нор и делают беспорядки».

Наши еще разговаривали с Беном, когда мы пришли. Зеленый, по обыкновению, залег спать с восьми часов и проснулся только поесть винограду за ужином. Мы поужинали и легли. Здесь было немного комнат, и те маленькие. В каждой было по две постели, каждая для двоих.

Утром явился г. Бен и торопил ехать, чтоб засветло проехать ущелье. Он, как был вчера — в зеленом сюртуке, нанковых панталонах, в черном жилете, с лорнеткой на ленточке и в шляпе, без перчаток,— так и пустился с нами в дорогу. Он сел с ученой партией. «Ну, трогай, земляк!» — сказал Зеленый Вандику. У Вандика опять перемена: вместо чалой запряжена пегая лошадь. «А чалую променял?»— спросил я. «Yes»,— с улыбкой отвечал он. «Зачем же: разве та не годилась?» — «О нет, я ее на обратном пути опять куплю, а эту, пегую, я променяю с барышом в Устере».

Славная дорога, славные места! Как мы въехали из кустов в Веллингтон, так и выехали из него прямо в кусты. Тут уже начиналось создание Бена — шоссе. Налево была гора Гринберг, зеленая не по одному названию. Она очень красива, с большими отлогостями, живописными холмами и оврагами. Она похожа на гору, какие есть везде. Это общее место по части гор. Зато бывшие впереди горы уже ни на что не походили. Громады все росли перед нами, выставляя, одна за другой, дикие, голые вершины. Они, казалось, все более и более жались друг к другу; и когда подъедешь к ним вплоть, они смыкаются сплошной стеной, как будто толпа богатырей, которые стеснились, чтоб дать отпор нападению и не пускать сквозь. «Как же мы проедем через плеча этих великанов?» — думал я, видя, что мы едем прямо на эту массу. «Где дорога?» — спросил я Вандика. Он молча показал на тропинку и бичом провел по воздуху извилину параллельно ей. Эта дорога для экипажей — невероятно! Тропинка бежала кругом горы, пропадала, потом вдруг являлась выше, пропадала опять и так далее.

Мы стали подниматься: лошади пошли не такой крупной рысью, какой ехали по долине. Они было пытались идти и шагом, но грозный «аппл» и хлопанье бича заставляли их постоянно бежать. Зеленый затянул: «Близко города Славянска, на верху крутой горы». Мы ехали пока еще по горам довольно отлогим, вроде Гринберг. Дорога прорезана в глинистом сланце. Справа у нас глиняная стена отвесно стояла над головой, слева внизу зияли овраги, но эти пропасти еще не были грозны: они как будто улыбались нам. На дне их текли ручьи, росла густая зелень, в которой утопал глаз. Особенно я помню

один живописный овраг, весь заросший лесом. Внизу, в самой глубине его, в группе деревьев, прятался белый домик. Во все стороны по горам шли тропинки и одна конная дорога. Домик этот — прежняя квартира мистера Бена. Он жил тут с семейством года три и каждый день, пешком и верхом, пускался в горы, когда еще дорога только что начиналась.

Мы всё поднимались, но это заметно было для глаз и почти вовсе незаметно для лошадей — так дорога идет раскидисто и отлого; лошади не переставали бежать легкой рысью. По дороге могли проехать два экипажа, но это пространство размерено с такою точностью, что сверх этого и мыши негде было бы пройти. Края пропастей уставлены каменьями, расположенными близко один от другого. Каменья эти, на взгляд, казались не велики, так что Зеленый брался каждый из них легко сбросить с места. «И что за пропасти: совсем нестрашные,—говорил он,— этаких у нас, в Псковской губернии, сколько хочешь!» День был жаркий и тихий. По дороге никакого движения, нигде ни души. Дорога не совсем кончена и открыта для публики два дня в неделю.

Хотя горы были еще невысоки, но чем более мы поднимались на них, тем заметно становилось свежее. Легко и отрадно было дышать этим тонким, прохладным воздухом. Там и солнце ярко сияло, но не пекло. Наконец мы остановились на одной площадке. «Здесь высота над морем около 2000 футов»,— сказал Бен и пригласил выйти из экипажей.

Мы вышли, оглянулись назад и остановились неподвижно перед открывшейся картиной: вся паарльская долина лежала перед нами, местами облитая солнечным блеском, а местами прячущаяся в тени гор. Веллингтон лежал как будто у ног наших, несмотря на то, что мы были милях в пяти от него. Далее белелись из-за зелени домики Паарля, на который гора бросала исполинскую тень; кругом везде фермы. Кусты казались травой, а большие дубы ферм — мелкими кустами. Мы стояли молча и неподвижно. Саженях в пятидесяти от нас плавно проплыл в воздухе, не шевеля крыльями, орел; махнув раза три мерно крыльями над торчавшими голыми вершинами, он как камень ринулся вниз и пропал между скал.

Тут Гошкевич расположился снять фотографические виды и взять несколько образчиков камней. Бен в первый раз только спросил об имени каждого из нас, и мы тут же, на горе, обменялись с ним карточками. Барон и Зеленый, с мешком и молотком, полезли на утесы. Но прежде Зеленый попробовал, с разрешения мистера Бена, столкнуть который-нибудь из камней в бездну, но увидел, что каждый камень чуть не больше его самого. Посьет пустился в длинную беседу с Беном, а я пошел вперед, чтоб расправить ноги, уставшие от постоянного сиденья в экипаже. Я долго шел, поминутно останавливаясь посмотреть на долину. Вскоре она заслонилась утесом, и я

шел среди мертвой тишины по шоссе. Дорога все еще шла сквозь глинистые горы.

Чрез полчаса нагнали меня наши экипажи. Я было хотел сесть, но они, не обращая на меня внимания, промчались мимо, повернули за утес направо, и чрез пять минут стук колес внезапно прекратился. Они где-то остановились.

Я обогнул утес, и на широкой его площадке глазам представился ряд низеньких строений, обнесенных валом и решетчатым забором,— это тюрьма. По валу и на дворе ходили часовые, с заряженными ружьями, и не спускали глаз с арестантов, которые, с скованными ногами, сидели и стояли, группами и поодиночке, около тюрьмы. Из тридцати — сорока преступников, которые тут были, только двое белых, остальные все черные. Белые стыдливо прятались за спины своих товарищей.

Здесь была полная коллекция всех племен, населяющих колонию. Черный цвет, от самого черно-бархатного с глянцем, как лакированная кожа, переходил, постепенными оттенками, до смугло-желтого. Самые черные были негры племен финго, мозамбик, бичуанов и сулу. У этих племен лицо большею частью круглое, с правильными чертами, с выпуклым лбом и щеками, с толстыми губами; волосы, сравнительно с другими, длинны, хотя и курчавы. Негры все здорового телосложения; мускулы у них правильны и красивы— это африканские Адонисы; зрачки у них подернуты желтоватою влагою и покрыты сетью жилок. Кафры, не уступая им в пропорциональности членов, превышают их ростом. Это самое рослое племя — атлеты. Но лицом они не так красивы, как первые; у них лоб и виски плоские, скулы выдаются; лицо овальное, взгляд выразительный и смелый; они бледнее негров; цвет более темно-шоколадный, нежели черный. Готтентоты еще бледнее. Они коричневого цвета; впрочем, как многочисленное племя, они довольно разнообразны. Я видел готтентотов тусклого, но совершенно черного цвета. У них, как у кафров, лоб вдавлен, скулы, напротив, выдаются; нос у них больше, нежели у других черных. Вообще лицо измято, обильно перерезано глубокими чертами; вид старческий, волосы скудны. Они малорослы, худощавы, ноги и руки у них тонкие, так, тряпка тряпкой, между тем это самый деятельный народ. Они отличные земледельцы, скотоводы, хорошие слуги, кучера и чернорабочие.

Толпа окружила нас и с бóльшим любопытством глядела на нас, нежели мы на нее. Особенно негры и кафры смотрели открыто, бойко и смело, без запинки отвечали на вопросы. Нередко дружный хохот раздавался между ними от какой-нибудь шутки, и чтó за зубы обнаруживались тогда! «Есть ли у вас бушмены?» — спросил я. «Трое»,— отвечал смотритель. «Нельзя ли посмотреть?» Он что-то крикнул: в углу, у забора, кто-то пошевелился. Смотритель закричал громче: в углу зашевелилось сильнее. Между черными начался говор, смех.

Двое или трое пошли в угол и вытащили оттуда бушмена. Какое жалкое существо! Он шел тихо, едва передвигая скованные ноги, и глядел вниз; другие толкали его в спину и подвели к нам. Насмешки сыпались градом; смех не умолкал. Перед нами стояло существо, едва имевшее подобие человека, ростом с обезьяну. Желто-смуглое старческое лицо имело форму треугольника, основанием кверху, и покрыто было крупными морщинами. Крошечный нос на крошечном лице был совсем приплюснут; губы, нетолстые, неширокие, были как будто раздавлены. Он казался каким-то юродивым стариком, облысевшим, обеззубевшим, давно пережившим свой век и выжившим из ума. Всего замечательнее была голова: лысая, только покрытая редкими клочками шерсти, такими мелкими, что нельзя ухватиться за них двумя пальцами. «Как тебя зовут?» — спросил смотритель. Бушмен молчал. На лице у него было тупое, бессмысленное выражение. Едва ли он имел, казалось, сознание о том, где он, что с ним делают. Смотритель повторил вопрос. Бушмен поднял на минуту глаза и опустил опять. Я давно слышал, что язык бушменов весь состоит из смеси гортанных звуков с прищелкиванием языка и потому недоступен для письменного выражения. Мне хотелось поверить это, и я просил заставить его сказать что-нибудь по-бушменски. «Как *отец* по-вашему?» — спросил смотритель. Бушмен поднял глаза, опустил и опять поднял, потом медленно раскрыл рот, показал бледно-красные челюсти, щелкнул языком и издал две гортанные ноты. «А *мать*?» — спросил смотритель. Бушмен опять щелкнул и издал две уже другие ноты. Вопросы продолжались. Ответы изменялись или в нотах, или в способе прищелкиванья. Совершенно звериный способ объясняться! «И это мой *брат*, *ближний*!» — думал я, болезненно наблюдая это какое-то недосозданное, жалкое существо. «Они, должно быть, совсем без смысла,— сказал я,— ум у них, кажется, вовсе не развит». — «Нельзя сказать,— отвечал смотритель,— они дики и нелюдимы, потому что живут в своих землянках посемейно, но они очень смышлены, особенно мастера слукавить и стащить что-нибудь. Кроме того, они славно ловят зверей, птиц и рыбу. Зверей они убивают ядовитыми стрелами. Вообще они проворны и отважны, но беспечны и не любят работы. Если им удастся приобрести несколько штук скота кражей, они едят без меры; дни и ночи проводят в этом; а когда все съедят, туго подвяжут себе животы и сидят по неделям без пищи».

Вывели и прочих бушменов: точно такие же малорослые, загнанные, с бессмысленным лицом, старички, хотя им было не более как по тридцати лет.

Чем больше я вглядывался в готтентотов и бушменов, тем больше убеждался, что они родня между собой. Готтентоты отрекаются от этого родства, но черты лица, отчасти язык, цвет

кожи— все убеждает, что они одного корня. Одним, вероятно, благоприятствовали обстоятельства, и они приучились жить обществом, заниматься честными и полезными промыслами, словом, быть порядочными людьми; другие остаются в диком, почти в скотском состоянии, избегают даже друг друга и ведут себя негодяями. Сколько и в семьях, среди цивилизованного общества, встречается примеров братьев, жизнь которых сложилась так, что один — образец порядочности, другой — отверженец семьи! «За что они содержатся?» — спросил я. «За воровство, как и большая часть арестантов»,— отвечал смотритель. «Подолгу ли содержат их в тюрьме?» — «От трех до пятнадцати лет».— «Что они делают, чем их занимают?» — «А дорогу-то, по которой вы едете,— сказал мистер Бен,— кто ж делает, как не они? Вот завтра вы увидите их за работой».

Мы заглянули в длинный деревянный сарай, где живут преступники. Он содержится чисто. Окон нет. У стен идут постели рядом, на широких досках, устроенных, как у нас полати в избах, только ниже. Там мы нашли большое общество сидевших и лежавших арестантов. Я спросил, можно ли, как это у нас водится, дать денег арестантам, но мне отвечали, что это строго запрещено.

Мы поблагодарили смотрителя и г. Бена за доставленное нам печальное удовольствие и отправились далее. «Это еще не последнее удовольствие: впереди три»,— сказал мистер Бен. «Напрасно мы не закусили здесь! — говорил барон,— ведь с нами есть мясо, куры...» Но мы уже ехали дальше. Зеленый громко пел: «Зачем, зачем обворожила, коль я душе твоей не мил...» Потом вдруг пускался рассказывать то детскую шалость, отрывок из воспитания, то начертит чей-нибудь портрет, характер или просто передразнит кого-нибудь. Мы любили слушать его. Память у него была баснословная, так что он передавал малейшие детали происшествия. Вот барон Криднер, напротив, ничего не помнил, ни местности, ни лиц, и тоже никогда не смотрел вперед. Он жил настоящим мгновением, зато уж жил вполне. Никто скорее его не входил в чужую идею, никто тоньше не понимал юмора и не сочувствовал картине, звуку, всякому артистическому явлению.

Мы стали въезжать в самое ущелье. Зеленые холмы и овраги сменились дикими каменными утесами, черными или седыми. Дорога прорублена была по окраинам скал. Горы близко теснились через ущелье друг к другу. Солнце не достигало до нас. Мы с изумлением смотрели на угрюмые громады, которые висели над нами. В пустыне царствовало страшное безмолвие, так что и Зеленый перестал петь. Мы изредка менялись между собою словом и с робостью перебегали глазами от утеса к утесу, от пропасти к пропасти. Мы как будто попали в западню, хотя нам ничего не угрожало.

Представьте себе над головой сплошную каменную стену гор, которая заслоняет небо, солнце и которой не видать вершины. По этим горам брошены другие, меньшие горы; они, упав, раздробились, рассыпались и покатились в пропасти, но вдруг будто были остановлены на пути и повисли над бездной. То видишь точно целый город, с обрушившимися от какого-нибудь страшного переворота башнями, столбами и основаниями зданий, то толпы слонов, носорогов и других животных, которые дрались в общей свалке и вдруг окаменели. Там, кажется, сидят группой изваяния великанов. Здесь, на горе, чуть-чуть держится скала, цепляясь за гору одним углом, и всем основанием висит над бездной. Далее и далее всё стены гор и всё разбросанные на них громадные обломки, похожие на монастыри, на исполинские надгробные памятники, точно следы страшного опустошения.

Кажется, довольно одного прикосновения к этим глыбам, чтоб они полетели вниз, между тем здесь Архимедов рычаг бессилен. Нужно по крайней мере землетрясение или мистера Бена, чтоб сдвинуть их с места.

Внизу зияют пропасти, уже не с зелеными оврагами и чуть-чуть журчащими ручьями, а продолжение тех же гор, с грудами отторженных серых камней и с мутно-желтыми стремительными потоками или мертвым и грязным болотом на дне. Едешь по плечу исполинской горы и, несмотря на всю уверенность в безопасности, с невольным смущением глядишь на громады, которые как будто сдвигаются все ближе и ближе, грозя раздавить путников. Взглянешь вниз, в бездну, футов на 200, на 300, и с содроганием отвернешься; взглянешь наверх, а там такие же бездны опрокинуты над головой. Все эти массы истерзаны как будто небесным гневом и разбросаны по прихоти нечеловеческой фантазии. «Что,— спросил я у Зеленого,— есть в Псковской губернии такие пропасти?» — «Страшновато!» — шептал он с судорожным, нервическим хохотом, косясь пугливо на бездну. Потом вдруг, чтоб ободрить себя и показать, что ему нипочем, горланил: «Люди добрые, внемлите...» Но потом морщился и уныло затягивал: «Не бил барабан...» — и постепенно затихал.

Мы проехали через продолбленный насквозь и лежащий на самой дороге утес, потом завернули за скалу и ждали, что там будет: мы очутились над бездной, глубже и страшнее всех, которые миновали. Вдобавок к этому дорога здесь была сделана пока только для одного экипажа; охранительных каменьев по сторонам не было, и лошади шли по самой окраине. «Вы всю... грусть мою... поймите»,— запел было, но уже вполголоса, Зеленый и смолк. По узенькой недоделанной дороге, по которой еще кое-где валялись приготовленные для работ каменья и воткнут был заступ, надо было заворотить налево. «Что ж вы не поете?» — спросил я. «Постойте, дайте проехать, вы видите...»

С мучительным ощущением проехали мы поворот и вздохнули свободно, когда дорога опять расширилась. «Есть ли здесь животные?» — спросил я Вандика. «О, много!» — «Каких же?» — «Бабуанов (павианов, больших черных обезьян). Я удивляюсь,— прибавил Вандик, оглядываясь по сторонам,— что их нет сегодня: они стадами скачут по скалам и, лишь завидят людей и лошадей, поднимают страшный крик». — «Может быть, оттого нет, что сегодня воскресенье,— заметил Зеленый.— Слава богу, впрочем, что нет. Если б хоть одна лошадь испугалась и зашалила, так нам пришлось бы плохо». — «Есть еще волки, тигры»,— сказал Вандик. «Волки — здесь? быть не может! Волки — северное животное»,— заметили мы. «Знаю,— с улыбкою отвечал Вандик,— но здесь так называют гиен, а я, по привычке, назвал их волками». Вандик был образованный кучер.

Мистер Бен после подтвердил слова его и прибавил, что гиен и шакалов водится множество везде в горах, даже поблизости Капштата. Их отравляют стрихнином. «И тигров тоже много,— говорил он,— их еще на прошлой неделе видели здесь в ущелье. Но здешние тигры мелки, с большую собаку». Это видно по шкурам, которые продаются в Капштате.

Скоро мы подъехали к живописному месту. Горы вдруг раздвинулись на минуту, и образовался поперечный разрез. Солнце тотчас воспользовалось этим и ярко осветило глубокий овраг до дна. Дно и бока оврага заросли травой и кустами. Внизу тек ручей. От утеса к утесу через разрез вел мост — чудо инженерного искусства. Он, как скала, плотно сложен из квадратных плит песчаника. Длиной он футов сорок, а вниз опускался сплошной каменной стеной, футов на семьдесят, и упирался в дно оврага. Налево от моста, в ущелье, заросшем зеленью, журчал каскад и падал вниз. Мы остановились и пошли по уступу скалы — кто пить, кто ловить насекомых и собирать травы. Во всем ущелье, простирающемся на четырнадцать английских миль, сделано до сорока каменных мостов и мостиков; можно судить, сколько употреблено тут дарования, соображений и физического труда! Каменья надо было таскать сверху или снизу; многие скалы рвать порохом. Бен нам показывал следы таких взрывов и обещал показать на возвратном пути и самые взрывы.

За мостом ущелье в некоторых местах опять сжималось, но уже заметно было, что оно должно скоро кончиться. Здесь природа веселее; по горам росла обильная зелень. Даже брошенные по скатам каменья обросли кустами и травой, со множеством цветов. Много попадалось птиц, жужжали миллионы насекомых; на камнях часто видели мы разноцветных ящериц, которые выползали на солнце погреться. В одном месте прямо из скалы, чуть-чуть, текла струя свежей, холодной воды; под ней вставлен был арестантами железный желобок. «Зимой это

большой каскад,— сказал Бен,— их множество тут; вон там, тут!» — говорил он, указывая рукой в разные места. Сколько грандиозна была та часть ущелья, которую мы миновали, столько же улыбалась природа здесь. Тут были живописные уклонения скал в сторону, образующие тенистые уголки, природные гроты.

Вскоре мы подъехали к самому живописному месту. Мы только спустились с одной скалы, и перед нами представилась широкая расчищенная площадка, обнесенная валом. На площадке выстроено несколько флигелей. Это другая тюрьма. В некотором расстоянии, особо от тюремных флигелей, стоял маленький домик, где жил сын Бена, он же смотритель тюрьмы и помощник своего отца. Кругом теснились скалы, выглядывая одна из-за другой, как будто вставали на цыпочки. Площадка была на полугоре; вниз шли тоже скалы, обросшие густою зеленью и кустами и уставленные прихотливо разбросанными каменьями. На дне живописного оврага тек большой ручей, через который строился каменный мост. Рядом с мостом шла плотина, служившая преградой ручью, на время пока строился мост. Через эту плотину шла и временная дорога. Берега ручья, скаты горы — все потонуло в зелени. Бен с улыбкой смотрел, как мы молча наслаждались великолепной картиной, поворачиваясь медленно то на ту, то на другую сторону. Потом оглянулись и заметили, что уже мы давно на дворе, что Вандик отпряг лошадей и перед нами стояли двое молодых людей: сын Бена, белокурый, краснощекий молодой человек, и другой, пастор-миссионер. Мы познакомились и вошли в дом. Мы велели вынуть из экипажей провизию и вино, сын Бена тоже засуетился готовить завтрак.

Но прежде мы отправились смотреть тюрьму. Все то же, только поменьше арестантов. Они сидели и лежали на дворе и все старались поместиться на солнце. Особенно один старик негр привлек мое внимание: у него болела нога, и он лежал, растянувшись, посредине двора и опершись на локоть, лицом прямо к солнцу. Спереди голова у него была совсем лысая, и лучи играли на ней, как на маковке башни. Был полдень, жара так и палила, особенно тут, в ущелье, где воздух сперт и камни сильно отражают лучи. «Зачем их выводят на солнце? — спросили мы,— ведь это вредно».— «Нет,— отвечал Бен,— они любят и охотнее работают в солнечный жаркий день, нежели в пасмурный». Я спросил у многих имена; готтентотов звали: Саломон, Каллюр; бушменов — Вильденсон и Когельман. Но эти имена даны уже европейцами, а я просил, чтоб они сказали мне, как их зовут, на их природном языке. Бушмены, казалось, поняли, о чем их спрашивают; они постояли молча, потупив глаза в землю. Миссионер повторил вопрос; тогда они, по порядку, сначала один, потом другой, помычали и щелкнули языком. Записать эти звуки не было возможности. Я обратился

к кафрам. Один бойко произнес имя «Дольф», другой — «Дай». Потом я спросил одного черного, какого он племени и как его зовут. Он сказал, что отец у него мозамбик, мать другого племени, но не сказал какого, а зовут его «Лакиди». Все они разумеют и кое-как объясняются по-английски. Одеты они кто в куртке, кто в рубашке и шароварах.

Мы пошли во флигель к Бену. Там молодой, черный как деготь, негр, лет двадцати и красавец собой, то есть с крутыми щеками, выпуклым лбом и висками, толстогубый, с добрым выражением в глазах, прекрасно сложенный, накрывал на стол. Он мне очень понравился. «Вы нанимаете этого негра?» — спросил я сына Бена. «Нет,— отвечал он, — это тоже арестант, военнопленный, дрался за кафров и недавно взят в плен. Я его не мешаю с другими арестантами: он очень смирен и послушен».— «Долго они работают?» — «С восхождения солнца до захождения; тут много времени уходит в ходьбе на место и обратно». Пока мы говорили с Беном, Зеленый, миссионер и наш доктор ходили в ручей купаться, потом принялись за мясо, уток и проч.

Часа в три пустились дальше. Дорога шла теперь по склону, и лошади бежали веселее. Ущелье все расширялось, открывая горизонт и дальние места. «Ничего теперь не боюсь!» — весело говорил Зеленый и запел вместе с птицами, которые щебетали и свистали где-то в вышине. Кругом горы теряли с каждым шагом угрюмость, и мы незаметно выехали из ущелья, переехали речку, мостик и часов в пять остановились на полчаса у маленькой мызы Клейнберг. Тут была третья и последняя тюрьма, меньше первых двух; она состояла из одного только флигеля, окруженного решеткой; за ней толпились черные. Мыза вся состояла из одноэтажного домика, с плантациями маиса вокруг и с виноградником. На дворе росло огромное дерево, к которому на длинной веревке привязана была большая обезьяна, павиан. Несмотря на короткую остановку, кучера наши отпрягли лошадей. Хозяин мызы, по имени Леру, потомок французского протестанта; жилище его смотрело скудно и жалко. Напрасно барон Криднер заглядывал: нет ли чего-нибудь пообедать. Зато Леру вынес нам множество банок... со змеями, потом камни, шкуры тигров и т. п. «Ну, последние времена пришли! — говорил барон,— просишь у ближнего хлеба, а он дает камень, вместо рыбы — змею». Мы сели на стульях, на дворе, и смотрели, как обезьяна то влезала на дерево, то старалась схватить которого-нибудь из бегавших мальчишек или собак. Ни тех, ни других она терпеть не могла, как сказали нам хозяева. Детей не пускали к ней, а собак, напротив, подталкивали. Надо было видеть, как она схватит пребольшую собаку и начнет так поворачивать и кусать ее, что та с визгом едва вывернется из лап ее и бежит спрятаться. Потом обезьяна сядет, подгорюнится и смотрит на нас. Кучера стали бросать в нее каменья, но она

увертывалась так ловко, что ни один не попадал. Солнце уж садилось, когда мы поехали дальше, к Устеру, по одной, еще неконченной дороге. Песок, груды камней и рытвины — вот что предстояло нам. Мы переправились вброд через реку, остановились на минуту около какого-то шалаша, где продавали прохожим хлеб, кажется еще водку, и где наши купили страусовых яиц, величиной с маленькую дыню.

Недалеко от Устера мы объехали кругом холма, который где-нибудь в саду мог представлять большую гору: это — куча каменьев, поросших кустарниками, в которых, говорят, много змей, оттого она и называется Шлянгенхель, то есть Змеиная горка. Вообще колония изобилует змеями; между ними много ядовитых и, между прочим, известная кобра-капелла. В Стелленбоше Ферстфельд сказывал нам, что, за несколько дней перед нами, восьмилетняя девочка сунула руку в нору ящерицы, как казалось ей, но оттуда выскочила очковая змея и ужалила ее. Девочка чрез полчаса умерла. На мызе Клейнберг говорили, что в окрестностях водится большая, желтая, толстая змея, которая, нападая на кого-нибудь, становится будто на хвост и перекидывается назад.

Совсем стемнело, когда мы стали подъезжать к Устеру. Дорога ужасная: пески, каменья, беспрестанные ямы. Иногда мы получали такие толчки, что экипаж откидывало в сторону. Темнота адская; мы не видели, куда ехали: перед глазами стояла как будто стена. Лошади бежали чуть-чуть заметной рысью. «Как бы в овраг не свалиться»,— говорили мы. «Нет, не свалимся,— отвечал Вандик,— на камень, может быть, попадем не раз, и в рытвину колесо заедет, но в овраг не свалимся: одна из передних лошадей куплена мною недели две назад, в Устере: она знает дорогу».— «Да вот, въезжаем, вот здания какие-то!»— сказал барон. В самом деле, мы поравнялись с какими-то темными массами, которые барон принял за домы; но это оказались деревья. Мы продолжали трястись и пробирались ощупью. Через четверть часа Зеленый сказал: «Вот теперь так приехали: я вижу белую стену неподалеку».— «Это Устер?» —спросили Вандика. «Нет, это ферма,— сказал он,— от нее еще мили четыре до Устера». Ах, какое наказание! Местами мы проезжали большие пространства булыжника: это значит ехали по высохшему руслу реки. Колеса так визжали в каменьях, что нельзя было разговаривать. Мы еще несколько раз ошиблись, принимая то кусты, то ближайшие холмы за городские здания. Потом нам надоело и ехать и ошибаться: мы соскучились и сидели молча, только хватались за бока, когда получали толчок. Наконец, через добрый час езды от фермы, Вандик вдруг остановил лошадей и спросил кого-то и что-то по-голландски. Ему крикнуло в ответ голосов двадцать. «Что это? где мы?» — спрашиваем Вандика.«В городе,— отвечал он,—да вот не вижу улицы, не знаю, как проехать к отелю». Я напряг зрение в тем-

ноте и отличил силуэты темных фигур, которые стояли около нашего экипажа. «Что это за народ?» — «Black people» [1],— отвечал Вандик, пуская лошадей дальше. Вдруг черные что-то дружно крикнули нам вслед, лошади испугались и сильно дернули вперед. «Аппл!» — закричал Вандик и, обратясь, тоже что-то крикнул черным. Показались огни, и мы уже свободно мчались по широкой, бесконечной улице, с низенькими домами по обеим сторонам, и остановились у ярко освещенного отеля, в конце города. «Ух, уф, ах, ох!» — раздавалось по мере того, как каждый из нас вылезал из экипажа. Отель этот был лучше всех, которые мы видели, как и сам Устер лучше всех местечек и городов по нашему пути. В гостиной, куда входишь прямо с площадки, было все чисто, как у порядочно живущего частного человека: прекрасная новая мебель, крашеные полы, круглый стол, на нем два большие бронзовые канделябра и ваза с букетом цветов.

Очевидно, что хозяева англичане. Мистер Бен с бароном отправились хозяйничать, хлопотать об ужине, Посьет ухаживал около Бена, стараясь отблагодарить его постоянным вниманием за предпринятую им для нас поездку. Я сел на балкон и любовался темной и теплой ночью, дышал и не надышался безмятежным, чистым воздухом. Вдали, на темном фоне неба, лежали массы еще темнее: это горы. Гошкевич вышел на балкон, долго вслушивался и вдруг как будто свалился с крыльца в тьму кромешную и исчез. «Куда вы?» — кричал я ему вслед. «Тут должна быть близко канава,— отвечал он,— слышите, как лягушки квакают, точно стучат чем-нибудь; верно, не такие, как у нас; хочется поймать одну». В самом деле, кузнечики и лягушки взапуски отличались одни пред другими.

Ужин, благодаря двойным стараниям Бена и барона, был если не отличный, то обильный. Ростбиф, бифштекс, ветчина, куры, утки, баранина, с приправой горчиц, перцев, сой, пикулей и других отрав, которые страшно употребить и наружно, в виде пластырей, и которые англичане принимают внутрь, совсем загромоздили стол, так что виноград, фиги и миндаль стояли на особом столе. Было весело. Бен много рассказывал, барон много ел, мы много слушали, Зеленый после десерта много дремал.

После долгой беседы за ужином нас развели по комнатам. Я с Зеленым заняли большой нумер, с двумя постелями, барон и Посьет спали отдельно в этом же доме, а мистер Бен, Гошкевич и доктор отправились во флигель, выстроенный внутри двора и обращенный дверями к садику. Окон в их комнатах не было, да и жарко было бы от солнца. А кому нужен свет, тот мог отворить дверь. Оно, как видите, просто, первобытно, поафрикански. Зеленый спал мертвым сном, даже прислуга —

---

[1] Чернокожие (*англ.*).

негр и девка, долго гремевшие ложками и тарелками, угомонились. Тишина воцарилась мертвая. Я тоже, наконец, хотел лечь спать, но прежде посвятил несколько минут тщательному осмотру своей кровати. Она была большая, двуспальная, как везде в английских владениях, но такой, как эта, я еще не видывал. Она была под балдахином из темной шерстяной материи, висевшей тяжелыми фестонами, с кистями и бахромой. На задней доске кровати стоял какой-то щит; на нем вырезано было изображение как будто короны и герба. Занавески, мрачного цвета, с крупными складками, плотно закрывали высокую постель. Я раза три обошел вокруг этого катафалка и не знал, как приступить к угрюмому ложу; робость напала на меня. Мне пришел на память древний замок и мрачная комната, в которой гостил и ночевал какой-нибудь Плантагенет или Стюарт. И с тех пор комната чтится, как святыня: она наглухо заперта, и постель оставлена в своем тогдашнем виде; никто не дотрогивался до нее, а я вдруг лягу! Однако ж надо было лечь. Я раздвинул занавески, и передо мной представилась целая гора пуховиков, с неизменной длинной и круглой подушкой. Несколько одеял, сложенных вместе, были так массивны, что я насилу их поднял. Хотел влезть и не мог: высоко. Два раза пытался я добраться до средины постели и два раза скатывался долой. Так и остался на краю. Я стал уже засыпать, как вдруг услышал шорох. Что это? уж не тень ли королевская идет на свой старый ночлег? Шорох все сильнее и сильнее; вскоре по балдахину началась мелкая и частая беготня — мышей. Ну, это не беда. Я хотел было заснуть, но вдруг мне пришло в голову сомнение: ведь мы в Африке; здесь вон и деревья, и скот, и люди, даже лягушки не такие, как у нас; может быть, чего доброго, и мыши не такие: может быть, они... Не решив этого вопроса, я засыпал, но беготня и писк разбудили меня опять; открою глаза и вижу, что к окну приблизится с улицы какая-то тень, взглянет и медленно отодвинется, и вдруг опять сон осилит меня, опять разбудят мыши, опять явится и исчезнет тень в окне... Точно как в детстве бывало, когда еще нервы не окрепли: печь кажется в темноте мертвецом, висящее всегда в углу платье — небывалым явлением. После этого сравнения, мелькнувшего у меня в голове, как ни резво бегали мыши, как ни настойчиво заглядывала тень в окно, я не дал себе труда дознаваться, какие мыши были в Африке и кто заглядывал в окно, а крепко-накрепко заснул.

Рано утром все уже было на ногах, а я еще все спал. Даже барон и тот встал и приходил два раза сказать, что breakfast [1] на столе. Пришел Посьет и тоже торопил вставать: «Пора-де ехать».— «Да куда это с этих пор?» — «Визиты делать».— «Какие, кому в Устере визиты делать?» — «А к русскому, который

---

[1] завтрак (*англ.*).

здесь живет. Уж мистер Бен завтракает. Вставайте: он поведет нас,— торопил неотвязчивый Посьет.— Потом,— говорил он,— вчера здешний magistrate (судья), которого мы видели в Бенсклюфе (ущелье Бена), просил заехать к нему; потом отправимся на минеральные воды».— «Потом еще куда? — перебил я,— и все в один день!» Но Посьет заказал верховых лошадей и велел заложить наши экипажи. Я оделся, вышел в поле и тут только увидел, каким прекрасным пейзажем гор ограничен Устер. Громады были местами зелены, местами изрыты и дики, с наростами седых камней, с группами деревьев, с фермами и виноградниками. Равнина вокруг гор была частью песчана, частью зелена и уставлена фермами. День начинался блестящий и жаркий. Пока еще была свежая прохлада, я сделал маленькую прогулку по полям, с маисом и виноградом, и воротился на балкон, кругом обсаженный розовыми кустами, миртами и другими, уже отцветшими деревьями.

Вскоре раздался топот: готтентот приехал верхом на одной лошади, а двух вел порожних, потом явились и наши кучера.

В ожидании товарищей я прошелся немного по улице и рассмотрел, что город выстроен весьма правильно и чистота в нем доведена до педантизма. На улице не увидишь ничего лишнего, брошенного. Канавки, идущие по обеим сторонам улиц, мостики содержатся как будто в каком-нибудь парке. «Скучный город!» — говорил Зеленый с тоской, глядя на эту чистоту. При постройке города не жалели места: улицы так широки и длинны, что в самом деле, без густого народонаселения, немного скучно на них смотреть.

Впрочем, это только слава, что велик город. Будет велик, когда в черту его войдут целые поля! Одних площадей, или скверов, здесь около 24; каждая площадь имеет до 11 акр, сказывал Бен. В городе теперь пока, и с его уездом, около 5000 жителей. Он еще ждет народонаселения, как и вся колония. Проезжая эти пространства, где на далекое друг от друга расстояние разбросаны фермы, невольно подумаешь, что пора бы уже этим фермам и полям сблизиться так, чтобы они касались друг друга, как в самой Англии, чтоб соседние нивы разделялись только канавой, а не степями, чтоб ни один клочок не пропал даром... Но где взять народонаселения? Здесь нет золота, и толпа не хлынет сюда, как в Калифорнию и Австралию. Здесь нужны люди, которые бы шли на подвиг; или надо обмануть пришельцев, сказать, что клад зарыт в земле, как сделал земледелец перед смертью с своими детьми, чтобы они изрыли ее всю. На это мало найдется охотников. Английское правительство хотело помочь горю и послало целый груз неохотников — ссыльных; но жители Капштата толпою вышли на пристань и грозили закидать их каменьями, если они выйдут на берег. Черные еще в детстве: они пока, как дети, кусают пекущуюся о них руку. Народонаселение в Устере смешанное.

Здесь довольно и черных. Для них есть особая церковь, которых всего две; обе английские. Жители занимаются земледелием, почти во всех видах. До сих пор мало было сбыта, потому что трудно возить продукты в горах. С устройством дороги через ущелье Устер и все ближайшие к Бенсклюфу места должны подняться. Кроме хлеба, здесь много и плодов; особенно хвалят яблоки и груши. Те, которые мы видели, нельзя есть: они, правда, велики, но жестки и годны на варенье или в компот. Другие плоды все уже отошли.

Около города текут две реки: Гекс и Брееде. Из Гекса вода чрез акведуки, миль за пять, идет в город. Жители платят за это удобство маленькую пошлину.

Товарищи воротились от мнимого русского. Он из немцев, по имени Вейнерт, жил долго в Москве в качестве учителя музыки или что-то в этом роде, получил за службу пенсион и удалился, по болезни, сначала куда-то в Германию, потом на мыс Доброй Надежды, ради климата. Он по-русски помнил несколько слов, все остальное забыл, но любил русских и со слезами приветствовал гостей. Он болен, кажется, параличом, одинок и в тоске доживает век. Вот что сказали мне, воротясь от Вейнерта, товарищи, прибавив, что вечером он сам придет.

Становилось, однако, жарко; надо было отправляться к минеральным источникам и прежде еще заехать к Лесюеру, судье, с визитом. Барон, Посьет и Гошкевич поехали верхом, а мы в экипажах. В конце улицы стоял большой двухэтажный, очень красивый дом, с высоким крыльцом и закрытыми жалюзи. Мы постучались: негритянка отворила нам двери, и мы вошли почти ощупью в темные комнаты. Негр открыл жалюзи и ввел нас в чистую, большую гостиную, убранную по-старинному, в голландском вкусе, так же как на мызе Эльзенборг. Чрез минуту явился хозяин, в черном фраке, в белом жилете и галстуке. Он молча, церемонно подал нам руки и заговорил по-английски о нашей экспедиции, расспрашивал о фрегате, о числе людей и т. п. Тип француза не исчез в нем: черты, оклад лица ясно говорили о его происхождении, но в походке, в движениях уж поселилась не то что флегма, а какая-то принужденность. По-французски он не знал ни слова. Пришел зять его, молодой доктор, очень любезный и разговорчивый. Он говорил по-английски и по-немецки; ему отвечали и на том и на другом языке. Он изъявил, как и все почти встречавшиеся с нами иностранцы, удивление, что русские говорят на всех языках. Эту песню мы слышали везде. «Вы не русский,— сказали мы ему,— однако ж вот говорите же по-немецки, по-английски и по-голландски, да еще, вероятно, на каком-нибудь из здешних местных наречий».

Хозяева повели нас в свой сад: это был лучший, который я видел после капштатского ботанического. Сад старый, тенистый, с огромными величавыми дубами, исполинскими грушевыми и

другими фруктовыми деревьями, между прочим персиковыми и гранатовыми; тут были и шелковичные деревья, и бананы, виноград. Меня поразило особенно фиговое дерево, под которым могло поместиться более ста человек. Под тенью его мы совсем спрятались от солнца. «Что это не потчуют ничем?» — шептал Зеленый, посматривая на крупные фиги, выглядывавшие из-за листьев, на бананы и на кисти кое-где еще оставшегося винограда. Хозяева как будто угадали его мысль: они предложили попробовать фиги, но предупредили, что, может быть, они не совсем спелы. Мы попробовали и бросили их в кусты, а Зеленый съел не одну, упрекая нас «чересчур в нежном воспитании».

Источники отстоят от Устера на 4½ английские мили. Все это пространство занято огромной луговиной, которая зимой покрывается водой. Эта луговина, вместе с источниками, называется Brandt Valley [1]. Мы ехали песками по речному дну, по которому местами росла трава. Вскоре подъехали и к самой речке. Она была довольно широка и глубока. Кучера не знали брода, но в это время переходили реку готтентоты с волами: по их следам проехали и мы. Много было возни с лошадьми. Мальчишка готтентот должен был сначала их вести, Вандик беспрестанно кричать «аппл». Верховые лошади тоже упрямились. У наших всадников ноги по колени ушли в воду. Они не предвидели этого обстоятельства, а то, может быть, и не поехали бы верхом. Один из них, натуралист, хотел, кажется, избавиться этого неудобства, громоздился, громоздился на седле, подбирая ноги, и кончил тем, что, к немалому нашему удовольствию, упал в воду. Жара была невыносимая; лошади по песку скоро ехать не могли, и всадники не знали, куда деться от солнца: они раскраснелись ужасно и успели загореть. Я из глубины коляски, из-под полотняного крова, воссылал благодарственные моления небу, что не еду верхом.

Но вот и приехали. Видим: в одном месте из травы валит, как из миски с супом, густой пар и стелется по долине, обозначая путь ключа. Около вод стояла небольшая, бедная ферма, где мы оставили лошадей. У самых источников росли прекрасные деревья: тополи, дубы, ели, айва, кусты папоротника, шиповника и густая сочная трава. По тропинке, сквозь кусты, пробрались мы не без труда к круглому небольшому бассейну, в который струился горячий ключ, и опустили в него руки. Горячо, но можно продержать несколько секунд; брали воду в рот: ни вкуса, ни запаха. Мы опускали туда яйцо, Зеленый айву: но ни яйцо, ни айва не варились. Зять Лесюера, доктор, сказывал, что как ни горяча вода, но она не только не варит ничего, но даже не годится для бритья, не размягчает бороды. «Где же холодный ключ?» — спросил я. «А вот», — сказали

[1] Долина Брандта (*англ.*).

мне, указывая под ноги. «Где?» — «Да вот».— «Это?» Я посмотрел, не пролили ли где поблизости из ушата воду, и та бы стремительнее потекла. На сажень от горячего источника струилась из-под дерева нить воды и тихо пропадала в траве — вот вам и минеральный ключ! Воды эти помогают более всего от ревматизма; но больных было всего трое; они жили в двух, трех хижинах, построенных далеко от истока ключей. Посьет, Бен и доктор вошли туда, а я остался. Ужасно было переходить горячую, открытую равнину под вертикальными, полуденными лучами солнца.

Я предпочел остаться в тени деревьев и стал помогать натуралисту ловить насекомых. Он был близорук до слепоты, и ему надо было ползать в траве, чтоб увидеть насекомое. Я заметил множество огромных ярко-красных кузнечиков, которые не прыгали, как наши, а летали; но их удобно было ловить: они летели недолго и тотчас опускались. Он прятал их в карманы, клал в бумажки, в фуражку — везде. Но все это ни к чему не повело: на другой день нельзя было войти к нему в комнату, что случалось довольно часто по милости змей, ящериц и потрошеных птиц. «Что это у вас за запах такой?»— «Да вон,— говорил он,— африканские кузнечики протухли: жирны очень, нельзя с ними ничего сделать: ни начинить ватой, ни в спирт посадить — нежны».

Наши товарищи, путешествующие с самоотвержением, едва дотащились назад после посещения больных. Удивительно, как и эти трое больных запаслись ревматизмом в климате, в котором непростительно простудиться! Будь эти воды в Европе, около них возникло бы целое местечко; а сюда из других частей света ездят лечиться одним только воздухом; между тем в окружности Устера есть около восьми мест с минеральными источниками. Мы взяли в бутылку воды, некоторые из всадников пересели в экипаж, и мы покинули это живописное место, оживленное сильною растительностью.

В Устере сейчас сели за tiffing, второй завтрак, потом пошли гулять, а кому жарко, тот сел в тени деревьев, на балконе дома. Часов в пять, когда жара спала, пошли по городу, встретили доктора, зятя Лесюера. Он повел нас в церковь, выстроенную самим пастором для черных. Другая видна была вправо от большой улицы, на площадке; но та была заперта. «Скучный город Устер! — твердил Зеленый, идучи с нами,— домой хочу, на фрегат: там теперь ванты перетягивают — славно, весело!» В этих немногих словах высказался моряк: он любил свое дело. Мы вошли в церковь черных. Проще ничего быть не может: деревянная, довольно большая зала, без всяких украшений, с хорами. Вдоль от алтаря до выхода в два ряда стояли скамьи грубой работы. Впереди, ближе к алтарю, было поставлено поперек церкви несколько скамеек получше. «А это для кого?» — спросил я. «Это для белых, которые бы вздумали прийти сюда».—

«Зачем это отличие в церкви? — заметил я.— Может быть, черные мысленно делают не совсем выгодное заключение о смирении своих наставников».— «Нет, тут другая причина,— сказал доктор,— с черными нельзя вместе сидеть: от них пахнет: они мажут тело растительным маслом, да и испарина у них имеет особенный запах».

В самом деле, в тюрьмах, когда нас окружали черные, пахло не совсем хорошо, так что барон, более всех нас заслуживший от Зеленого упрек в «нежном воспитании», смотрел на них, стоя поодаль.

Мы вошли к доктору, в его маленький домик, имевший всего комнаты три-четыре, но очень уютный и чисто убранный. Хозяин предложил нам капского вина и сигар. У него была небольшая коллекция предметов натуральной истории. Между прочим, он подарил нашему доктору корень алоэ особой породы, который растет без всякого грунта. Посади его в пустой стакан, в банку, поставь просто на окно или повесь на стену и забудь — он будет расти, не завянет, не засохнет. Так он рос и у доктора, на стене, и года в два обвил ее всю вокруг.

Когда мы пришли в свой отель часу в седьмом, столовая уж ярко освещена была многими канделябрами. Стол блистал, как банкет. Это был не вчерашний импровизированный обед, а обдуманный и приготовленный с утра. Тут были супы, карри, фаршированные мяса и птицы, сосиски, зелень. Наш скромный доктор так и обомлел, когда вошел в столовую. Он был, по строгой умеренности и простоте нравов, живой контраст с бароном, у которого гастрономические наклонности были развиты до тонкости. «Ведь уж мы, кажется, обедали,— заметил он,— четыре блюда *имели*».— «То был tiffing, то есть второй завтрак, а не обед,— заметил барон.— Вчера без обеда, и сегодня тоже — слуга покорный!»

Обед тянулся до полуночи. Здесь Бен показал себя и живым собеседником: он пел своим фальцетто шотландские и английские песни на весь Устер, так что я видел сквозь жалюзи множество глаз, смотревших с улицы на наш пир. Мы тоже пели, и хором и поодиночке, с аккомпанементом фортепиано, которое тут было в углу. «Thank you, thank you» [1],— повторял Бен после каждой русской песни, каждого немилосердно растерзанного итальянского мотива.

В средине обеда вдруг вошел к нам в столовую пожилой человек, сильно разбитый ногами. Одну из них он немного приволакивал. «Сдраствуйте, каспада,— сказал он,— карашо, карашо»,— прибавил потом, не знаю к чему. Мы расступились и дали ему место за столом. Это был Вейнерт, quasi-русский, с которым наши познакомились утром. Он с умилением смотрел на каждого из нас, не различая, с кем уж он виделся, с кем нет,

---

[1] Благодарю вас, благодарю вас (*англ.*).

вздыхал, жалел, что уехал из России, просил взять его с собой, а под конец обеда, выпив несколько рюмок вина, совсем ослабел, плакал, говорил смесью разных языков, примешивая беспрестанно *карашо, карашо*. Он напоминал мне старые наши провинциальные нравы: одного из тех гостей, которые заберутся с утра, сидят до позднего вечера и от которого не знают, как освободиться. От него уходят, намекают ему, что пора домой, шепчутся, а он все сидит, особенно если еще выпьет. Мы, один за одним, разошлись по своим комнатам, а гость пошел к хозяевам, и мы еще долго слышали, как он там хныкал, вздыхал и как раздавались около него смех и разговоры. Уж было за полночь когда я из окна видел, как он, с фонариком в руках, шел домой.

На другой день утром мы поехали обратно. У Змеиной горки завидели мы вдали, в поле, какую-то большую белую птицу, видом напоминающую аиста, которая величаво шагала по траве. «Секретарь, секретарь!» — кричала нам ученая партия. Мы все повыскакали из экипажей и побежали по кустам смотреть птицу, которая носит это имя. Заметив приближающихся людей, птица начала учащенными шагами описывать круги по траве, все меньше и меньше, и когда мы подошли настолько, что могли разглядеть ее, она взмахнула крыльями и скрылась. Птица секретарь известна тем, что ведет деятельную войну с змеями. У ней толстые сильные ноги и острые когти. Она одним ударом ноги раздробляет голову кобре-капелле или подхватит ее в когти, взлетит повыше и бросит на камень.

Садясь в экипаж, я заметил, что у нас опять новая лошадь. «Где же та?» — спросил я Вандика. «Вон она!» — отвечал он, указывая назад. Я увидел сзади наших экипажей всадника: наш готтентот-мальчишка ехал верхом. Затем он и был взят в поездку, как объяснилось теперь. «А что ж с этой лошадью станешь делать?» — спросил я. «Променяю в Паарле на ту, которую видел на лугу».— «А ту в Капштат возьмешь?» — «Нет, променяю в Стелленбоше на маленькую, беленькую».— «Как же, мальчишка все будет ехать сзади, каждый раз на новой лошади?» — «Yes»,— отвечал Вандик с усмешкой.

Только мы проехали Змеиную горку и Зеленый затянул было: «Что ты, дева молодая, не отходишь от окна», как мистера Бена кто-то будто кольнул. Он остановил повозку, быстро выскочил и еще быстрее побежал в кусты. Зеленый с хохотом стал делать лукавые замечания. Но за Беном также быстро повыскакали и прочие спутники. Хохот и лукавые замечания удвоились. Я подумал: не опять ли показался секретарь? Оказалось, что Бен хотел осмотреть поле для новой дороги, которую должен был прокладывать от ущелья до Устера. Мы не хотели отстать и пошли за ними. Но трава была так густа, кусты так непроницаемы, Змеиная горка так близка и рассказы о змеях так живы, что молодой наш спутник, обыкновенно не робкий, хохочущий и среди опасностей, пустился, однако ж, такими

скачками вперед, вслед за первой партией, что мы с бароном остановились и преследовали его дружным хохотом. Он скакал через кусты, бежал, спотыкался, опять скакал, как будто за ним бросились в погоню все обитатели Змеиной горки. Среди этих скачков он отвечал нам также хохотом.

Вскоре все пришло в прежний порядок. Мы тряслись по плохой дороге рысью, за нами трясся мальчишка готтентот, Зеленый заливался и пел: «Разве ждешь ты? да кого же? не солдата ли певца?» Мы с бароном симпатизировали каждому живописному рву, группе деревьев, руслу иссохшей речки и наслаждались молча. Из другого карта слышался живой разговор. Так въехали мы опять в ущелье, и только где становилось поугрюмее, Зеленый опять морщился и запевал мрачно: «Не бил барабан перед смутным полком». На мызе Клейнберг сын Бена встретил нас верхом. Здесь взяли мы купленных змей, тигровую шкуру, подразнили обезьяну и поехали ко второй тюрьме, к жилищу молодого Бена.

По дороге везде работали черные арестанты, с непокрытой головой, прямо под солнцем, не думая прятаться в тень. Солдаты, не спуская с них глаз, держали заряженные ружья на втором взводе. В одном месте мы застали людей, которые ходили по болотистому дну пропасти и чего-то искали. Вандик поговорил с ними по-голландски и сказал нам, что тут накануне утонул пьяный человек и вот теперь ищут его и не могут найти.

К обеду приехали мы к молодому Бену и расположились обедать и кормить лошадей. Погода была так же хороша, как и за три дня, когда мы тут были. Но картина угрюмых скал, реки, ущелья и моста оживлена была присутствием множества людей. Черные теснились на дворе, по скалам, но более всего на мосту, который строился. «Вот посмотрите,— сказал нам мистер Бен,— сейчас взрыв будет». Мы обратили взгляд на людей, толпившихся за мостом, около кучи камней. Вдруг люди все бросились бежать от камней в разные стороны и каждый присел неподалеку, кто за пень, кто за камень, и смотрели оттуда, что будет. Раздался взрыв, как глухой пушечный выстрел. Почва приподнялась немного под каменьями, и некоторые из них подскочили, а другие просто покатились в сторону. Сделано было при нас несколько таких взрывов.

Опять мы рассматривали и расспрашивали, с помощью миссионера, черных о их именах, племени, месторождении. Наконец стали снимать с них портреты, сначала поодиночке, потом Гошкевич хотел снять одну общую картину со всего этого живописного уголка ущелья. Из черных составили группу на дворе. Мистер Бен, с сыном, и миссионер стояли возле них. Мы с бароном взобрались на ближайшую скалу, которая была прямо над флигелем Бена и тоже входила в картину. Нас просили не шевелиться. Но мы украдкой покуривали, в твердом убеждении, что Гошкевич по близорукости не разглядит,

Впрочем, из этой великолепной картины, как и из многих других, ничего не выходило. Приготовление бумаги для фотографических снимков требует, как известно, величайшей осторожности и внимания. Надо иметь совершенно темную комнату, долго приготовлять разные составы, давать время бумаге вылеживаться и соблюдать другие, подобные этим условия. Несмотря на самопожертвование Гошкевича, с которым он трудился, ничего этого соблюсти было нельзя.

Перед обедом черные принесли нам убитую ими еще утром какую-то ночную змею. Она немного менее аршина, смугло-белая, очень красивая на вид. Ее удавили, принесли на тесемке и повесили на ручке замка у двери. Ее трогали, брали в руки, но признаков жизни не замечали. Глаза у ней закрылись, мелкие и частые зубы были наруже. Она висела уже часа два. Мне вздумалось дотронуться ей до хвоста горящей сигарой: вдруг змея начала биться, извиваться, поджимать и опускать хвост. Другие стали повторять то же самое. Потом посадили ее в спирт.

После обеда мы распрощались с молодым Беном и отправились в Веллингтон, куда приехали поздно вечером. Топающий хозяин опять поставил весь дом вверх дном, опять наготовил баранины, ветчины, чаю — и опять все дурно.

Утром, перед отъездом из Веллингтона, мы пошли с визитом к г. Бену благодарить его за обязательное внимание к нам. Бен представил нас своим дочерям, четырем зрелым «африканкам», то есть рожденным в Африке. Жена у него была голландка. Он вдовец. Около девиц было много собачонок — признак исчезающих надежд на любовь и супружество. Зрелые девы, перестав мечтать, сосредоточивают потребность любить — на кошках, на собачонках, души более нежные — на цветах. Старшая дочь была старая дева. Третья, высокая, стройная девушка, очень недурна собой, прочие — так себе. Они стали предлагать нам кофе, завтрак, но мы поблагодарили, отговариваясь скорым отъездом. Мистер Бен предложил посмотреть его музей ископаемых. Несколько небольших остовов пресмыкающихся он предложил взять для петербургского музеума натуральной истории.

На прощанье он сказал нам, что мы теперь видели полный образчик колонии. «Вся она такая: те же пески, местами болота, кусты и крупные травы».

Мы ехали по знакомой уже дороге рысью. Приехали в Паарль. Вандик повез нас другой дорогой, которая идет по нижним террасам местечка. Я думал, что он хочет показать нам весь Паарль, а оказалось, что ему хотелось только посмотреть, ходит ли еще на лугу лошадь, которая его так озадачила в первый проезд. Только что он привез нас в знакомую гостиницу, как отпряг лошадей и скрылся. На этот раз нас встретила *ма*. *Па* был тоже дома. Это сухощавый и молчаливый англичанин,

весьма благовидной наружности и с приличными манерами. Он, казалось, избегал путешественников и ни во что не вмешивался, как человек, не привыкший содержать трактир. Может быть, это в самом деле не его ремесло; может быть, его принудили обстоятельства. Все это может быть; но дело в том, что нас принимали и угощали *ма* и вторая девица. Первая была, по словам сестры, больна и лежала в постели. Мы пожалели и велели ей кланяться.

По дороге от Паарля готтентот-мальчишка, ехавший на вновь выменённой в Паарле лошади, беспрестанно исчезал дорогой в кустах и гонялся за маленькими черепахами. Он поймал две: одну дал в наш карт, а другую ученой партии, но мы и свою сбыли туда же, потому что у нас за ней никто не хотел смотреть, а она ползала везде, карабкаясь вон из экипажа, и падала.

Вечером мы нагрянули в Стелленбош, заранее обещая себе обильный ужин, виноград, арбузы, покойный ночлег и выразительные взгляды толстой, черноглазой мулатки. Но дом был весь занят: из Капштата ехали какие-то новобрачные домой, на ферму, и ночевали в той самой комнате, где мы спали с Зеленым. Нам, однако ж, предложили ужин и фрукты, и даже взгляды мулатки, все, кроме ночлега. Хозяйка для спанья заняла комнаты в доме напротив, и мы шумно отправились на новый ночлег, в огромную, с несколькими постелями комнату, не зная, чей дом, что за люди живут в нем. Видели только, что вечером сидело на балконе какое-то семейство.

На другой день рано мы уехали. Мальчишка готтентот трясся сзади уже на беленькой стелленбошской лошадке. Паарльская была запряжена у нас в карте, а устерская осталась в Стелленбоше.

К обеду, то есть часов в пять, мы, запыленные, загорелые, небритые, остановились перед широким крыльцом Welch's hotel в Капштате и застали в сенях толпу наших. Каролина была в своей рамке, в своем черном платье, которое было ей так к лицу, с сеточкой на голове. Пошли расспросы, толки, новости с той и с другой стороны. Хозяйки встретили нас как старых друзей. Ричард сначала сморщился, потом осклабился от радости, неимоверно скривил рот и нос на сторону, хотел было и лоб туда же, но не мог, видно платок на голове крепко завязан: у него только складки на лбу из горизонтальных сделались вертикальными. Каролина улыбалась нам приятнее, нежели вновь прибывшим из Капштата товарищам. Слуги вмиг растащили наши вещи по нумерам, и мы были прочно водворены в отеле, как будто и не выезжали из него. Молодая служанка Алиса, как все английские служанки, бросалась из угла в угол, с легкостью птицы летала по лестницам, там отдавала приказание слугам, тут отвечала на вопрос, мимоходом кому-нибудь улыбалась или отмахивалась от чересчур настойчивых любезностей какого-нибудь кругосветного путешественника.

Шумной и многочисленной толпой сели мы за стол. Одних русских было человек двенадцать да несколько семейств англичан. Я успел заметить только белокурого полного пастора с женой и с детьми. Нельзя не заметить: крик, шум, везде дети, в сенях, по ступеням лестницы, в нумерах, на крыльце,— и всё пастора. Настоящий Авраам — после божественного посещения!

Как только я пришел в свой нумер, тотчас посмотрел, вставлено ли стекло. Нет. Я с жалобой к хозяйке: «Что ж стекло-то?» — спросил я с укором. Я так и ждал, что старуха скажет: «Праздники были, нельзя»,—но вспомнил, что у протестантов их почти нет. «Что ж она скажет мне? — думал я,— что забыла, что жаль деньги тратить; живет и так». Она молчала. Я повторил свою жалобу. «Война с кафрами все мешает»,— сказала она. Ну, я никак не ожидал такой отговорки: совершенно местная! «Все мастеровые заняты... никак не могла найти. Вот завтра пошлю». Но стекло ни завтра, ни послезавтра, ни во вторичный мой приезд в Капштат вставлено не было, да и теперь, я уверен, так же точно, как и прежде, в него дует ветер и хлещет дождь, а в хорошую погоду летают комары. А всё говорят на русского человека: он беспечен, небрежен, живет на авось: чем «кафрская война» лучше наших праздников?

Жизнь наша опять потекла прежним порядком. Ранним утром всякий занимался чем-нибудь в своей комнате: кто приводил в порядок коллекцию собранных растений, животных и минералов, кто записывал виденное и слышанное, другие читали описание Капской колонии. После тиффинга все расходились по городу и окрестностям, потом обедали, потом смотрели на «картинку» и шли спать.

На другой день по возвращении в Капштат мы предприняли прогулку около Львиной горы. Точно такая же дорога, как в Бенсклюфе, идет по хребту Льва, начинаясь в одной части города и оканчиваясь в другой. Мы взяли две коляски и отправились часов в одиннадцать утра. День начинался солнечный, безоблачный и жаркий донельзя. Дорога шла по берегу моря, мимо дач и ферм. Здесь пока, до начала горы, растительность была скудная, и дачи, с опаленною кругом травою и тощими кустами, смотрели жалко. Они с закрытыми своими жалюзи, как будто с закрытыми глазами, жмурились от солнца. Кругом немногие деревья и цветники, неудачная претензия на сад, делали эту наготу еще разительнее. Только одни исполинские кусты алоэ, вдвое выше человеческого роста, не боялись солнца и далеко раскидывали свои сочные и колючие листья. Они сплошным забором окружали дачи. На покатостях горы природа изменяется: начинается густая зелень, и теснее идут фермы и дачи. Одна из них называется Green Point [1]. Она построена на скате

[1] Зеленое место (*англ.*).

зеленой оконечности Львиной горы. Сюда ездят из города любоваться морем и горой. Мы поехали в гору. Она идет отлого, по прекрасному шоссе, местами в тени густых каштановых и дубовых аллей. Бока горы заросли лесом до самого моря. В лесу, во всех направлениях, идут конные дороги и тропинки. Не последнее наслаждение проехаться по этой дороге, смотреть вниз на этот кудрявый, тенистый лес, на голубую гладь залива, на дальние горы и на громадный зеленый холм над вашей головой слева. Внизу, между каменьями, о которые с яростью плещутся вечные буруны, кое-где в затишьях, в прозрачной воде, я видел стаями игравшую рыбу, разной величины и формы.

Но жарко, очень жарко; лошади начинали останавливаться. Пока мы выходили из коляски на живописных местах, я видел, что мальчишка негр, кучер другой коляски, беспрестанно подбегал к нашему, негру же из племени бичуан, и все что-то шептался с ним. Лишь только мы въехали на самую высокую точку горы, лошади вдруг совсем остановились и будто не могли идти далее. Кучера стали будто погонять их, а они бесились и рвались к пропастям. Понятна кучерская тактика. Я погрозил мальчишке негру не заплатить ему всех условленных денег. «T'is hot, very hot, sir (очень жарко),— бормотал он,— лошади не могут идти». Под нами, в полугоре, было какое-то деревянное здание, вроде беседки, едва заметное в чаще зелени. «Что это за дом?» — спросили мы. «Трактир ротонда,— сказали кучера,— здесь путешественники заезжают освежиться и отдохнуть». Барон только что услыхал об «освежении», как пустился сквозь чащу леса, целиком, вниз, устраняя тростью ветви. Мы за ним, и скоро, измученные, добрались до трактира, который окружен открытой круглой галереей, отчего и называется ротондой.

Здесь царствовала такая прохлада, такая свежесть от зелени и с моря, такой величественный вид на море, на леса, на пропасти, на дальний горизонт неба, на качающиеся вдали суда, что мы, в радости, перестали сердиться на кучеров и велели дать им вина, в благодарность за счастливую идею завести нас сюда. Садик, кроме дубов, елей и кедров, был наполнен фруктовыми деревьями и цветочными кустами. Толстая голландка принесла нам лимонаду и вина. Мы закурили сигары и погрузились взглядом в широкую, покойно лежавшую перед нами картину, горячую, полную жизни, игры, красок!

Кучера, несмотря *на водку*, решительно объявили, что день чересчур жарок и дальше ехать кругом всей горы нет возможности. Что с ними делать: браниться? — не поможет. Заводить процесс за десять шиллингов — выиграешь только десять шиллингов, а кругом Льва все-таки не поедешь. Мы велели той же дорогой ехать домой.

Надо было, однако ж, съездить в Саймонстоун и узнать пообстоятельнее, когда идем в море. Мы вдвоем с Савичем, взяв Вандика, отправились в Саймонстоун на паре, в той же карете,

которая возила нас по колонии. Дорогой ничего не случилось особенного, только Савич, проехавший тут один раз, наперед рассказывал все подробности местности, всякую отмель, бухту, ферму: удивительный глаз и славная память! Да еще сын Вандика, мальчик лет шести, которого он взял так, прокататься, долгом считал высовывать голову во все отверстия, сделанные в покрышке экипажа для воздуха, и в одно из них высунулся так неосторожно, что выпал вон, и прямо носом. Пустыня огласилась неистовым криком. К счастью, в африканских пустынях нынче почти везде есть трактиры. Там шалуна обмыли, дали примочки, и потом Вандик, с первым встретившимся экипажем, который был, конечно, знаком ему, отослал сына домой.

В Саймонстоуне я застал у нас большие приготовления к обеду и балу, который давали англичанам, в отплату за их обед и бал и за дружеский прием. Я перепугался: бал и обед! В этих двух явлениях выражалось все, от чего так хотелось удалиться из Петербурга на время, пожить иначе, по возможности без повторений, а тут вдруг бал и обед! Отец Аввакум также втихомолку смущался этим. Он не был в Капштате и отчаивался уже быть. Я подговорил его уехать, и дня через два, с тем же Вандиком, который был еще в Саймонстоуне, мы отправились в Капштат.

Но отец Аввакум имел, что французы называют, du guignon [1]. К вечеру стал подувать порывистый ветерок, горы закутались в облака. Вскоре облака заволокли все небо. А я подготовлял было его увидеть Столовую гору, назначил пункт, с которого ее видно, но перед нами стояли горы темных туч, как будто стены, за которыми прятались и Стол и Лев. «Ну, завтра увижу,— сказал он,— торопиться нечего». Ветер дул сильнее и сильнее и наносил дождь, когда мы вечером, часов в семь, подъехали к отелю.

Утром я вошел к отцу Аввакуму: окно его комнаты обращено было прямо к Столовой горе. «Ну, смотрите же теперь,— сказал я,— какова гора...» — и открыл ставни. Но горы не было: мрачная, туманная пелена закрывала все. Дул ветер, в окно летели брызги дождя. Досадно, надо было подождать полудня: авось разгуляется. Алиса принесла нам чаю, потом мы пошли еще в столовую опять пить чай, с аккомпанементом котлет, рыбы, дичи и фруктов. «It rains (дождь идет)»,— сказала m-rs Welch. «Да,— с упреком отвечал я ей,— и в моей комнате тоже». Каролина еще почивала. Я повел отца Аввакума смотреть город. Мы ходили по грязным улицам и мокрым тротуарам, заходили в магазины, прошли по ботаническому саду, но окрестностей не видали: за двести сажен все предметы прятались в тумане. Отец Аввакум зашел в книжный магазин, да там и сел. И та книга ему нравится и другая нужна; там увидит издание, которого

[1] неудачу *(франц.)*.

у него нет, и купит книгу. Насилу я вытащил его домой. Там застали суматоху: пастор уезжал в Англию. В сенях лежали грудой чемоданы, узлы, ящики; толпились няньки, дети — и все исчезло. Стало просторнее, но ненадолго. Мы завтракали впятером: доктор с женой, еще какие-то двое молодых людей, из которых одного звали капитаном, да еще англичанин, большой ростом, большой крикун, большой говорун, держит себя очень прямо, никогда не смотрит под ноги, в комнате всегда сидит в шляпе. Через час, с пришедшего из Индии парохода, явились другие путешественники и толпой нахлынули в отель.

Трактир стоит на распутии мира. Мыс Доброй Надежды крайняя точка, перекресток путей в Европу, Индию, Китай, Филиппинские острова и Австралию. От этого сегодня вы обедаете в обществе двадцати человек, невольно заводите знакомство, иногда успеет зародиться, в течение нескольких дней, симпатия; каждый день вы с большим удовольствием спешите свидеться за столом или в общей прогулке с новым и неожиданным приятелем. Но в одно прекрасное утро приходите и, вместо шумного общества или вместо знакомых, обедаете в кругу новых лиц; вместо веселого разговора царствует печальное, принужденное молчание. «Где же те?» Вам подают газету: там напечатано, что сегодня в Англию, в Австралию или в Батавию отправился пароход, во столько-то сил, с таким-то грузом и с такими-то пассажирами.

После завтрака я повез отца Аввакума по городу и окрестностям. Напрасно мы глядели на Столовую гору, на Льва: их как будто и не бывало никогда: на их месте висит темно-бурая туча, и больше ничего. Я велел ехать к Green Point. Мы проехали четыре, пять верст по берегу; дальше ехать было незачем: ничего не видать. Ветер свирепствовал, море бушевало. Мы оставили коляску на дороге и сошли с холма к самому морю. Там лежали, частью в воде, частью на берегу, громады камней, некогда сброшенных с горных вершин. О них яростно бились буруны. Я нигде не видал таких бурунов. Они, как будто ряд гигантских всадников, наскакивали с шумом, похожим на пушечные выстрелы, и с облаком пены на каменья, прыгали через них, как взбесившиеся кони через пропасти и преграды, и, наконец, обессиленные, падали клочьями грязной, желтой пены на песок. Мы долго не могли отвести глаз от этой монотонной, но грандиозной картины.

За обедом мы нашли вновь прибывшее большое общество. Старый полковник ост-индской службы, с женой, прослуживший свои лета в Индии и возвращавшийся в Англию. Он высокий, худощавый старик, в синей куртке, похож более на шкипера купеческого судна. Жена его, высокая, худощавая женщина, с бледно-русыми волосами. Она, волосок к волоску, расположила скудную свою шевелюру и причесалась почти до мозгу. Подле меня сидел другой старик, тоже возвращавшийся из

Индии, важный чиновник, весьма благообразный, совсем седой. Как бы он годился быть дядей, который *возвращается из Индии* с огромным богатством и подоспевает кстати помочь племяннику жениться на бедной девице, как, бывало, писывали в романах! Он одет чисто, даже изысканно, на пальце у него большой перстень — совершенный дядя! Он давно посматривал на меня, а я на него. Я видел, что он не без любопытства глядит на русских. Вижу, что ему хочется заговорить, узнать, может быть, что-нибудь о России. Пред ним стоял портвейн, передо мной херес. Наконец старик заговорил. «Позвольте мне выпить с вами рюмку вина?» — сказал он. «С удовольствием»,— отвечал я, и мы налили — он мне портвейну, которого я в рот не беру, а я ему хересу, которого он не любит. После этого водворилось молчание. Мы жевали. Опять, я вижу, он целится спросить меня. «Какова дорога от Саймонстоуна сюда?» — спросил он наконец. «Очень хорошая!» — ответил я, и затем он больше меня ни о чем не спрашивал. Еще за столом сидела толстая-претолстая барыня, лет сорока пяти, с большими, томными, медленно мигающими глазами, которые она поминутно обращала на капитана. Она крепко была затянута в корсет. Платье сидело на ней в обтяжку и обнаруживало круглые, массивные плечи, руки и прочее, чем так щедро одарила ее природа. *Кушала* она очень мало и чуть-чуть кончиком губ брала в рот маленькие кусочки мяса или зелень. Были тут вчерашние двое молодых людей. «Yes, y-e-s!» — поддакивала беспрестанно полковница, пока ей говорил кто-нибудь. Отец Аввакум, от скуки, в промежутках двух блюд, считал, сколько раз скажет она yes. «В семь минут 33 раза»,— шептал он мне.

После обеда «картинка» красовалась в рамке, еще с дополнением: подле Каролины — Алиса, или Элейс, как наши звали Alice, издеваясь над английским произношением. Я подошел один любезничать с ними. Цель этой любезности была — выхлопотать себе на вечер восковую свечу. Дня три я напрасно просил, даже дал денег Алисе, чтобы купила свеч. Хозяйки прислали деньги назад, а свечей не прислали. Наконец решились дать мне не сальную свечу. Получив желаемое, я ушел к себе, и только сел за стол писать, как вдруг слышу голос отца Аввакума, который, чистейшим русским языком, кричит: «Нет ли здесь воды, нет ли здесь воды?» Сначала я не обратил внимания на этот крик, но, вспомнив, что, кроме меня и натуралиста, в городе русских никого не было, я стал вслушиваться внимательнее. Голос его приближался все более и более и выражал тревогу. «Нет ли здесь воды? воды, воды скорее!» — кричал он почти с отчаянием. Я выскочил из-за стола, гляжу, он бежит по коридору прямо в мою комнату; в руках у него гром и молния, а около него распространяется облако смрадного дыма. Я испугался. «Что это такое?» — «Нет ли здесь воды? воды скорее!» — твердил он. У него загорелась целая тысяча спичек, и он до того

оторопел, что, забывшись, по-русски требовал воды, тогда как во всех комнатах, в том числе и у него, всегда стояло по целому кувшину. Спички продолжали шипеть и трещать у него в руках. «Вот вода! — сказал я, показывая на умывальник,— и у вас в комнате есть вода».— «Не догадался!» — отвечал он. Я стал звать Алису вынести остатки фейерверка и потом уже дал полную волю смеху. «Не зовите, не зовите,— перебил он меня,— стыдно будет».— «Стыд не дым, глаза не выест,— сказал я,— а от дыма вашего можно в обморок упасть».

На другой день за завтраком сошлось нас опять всего пятеро или шестеро: полковник с женой, англичанин-крикун да мы. Завтракали по-домашнему. Полковница разливала чай и кофе. Она говорила по-французски, и между нами завязался живой разговор. Сначала только и было толку, что о вчерашнем фейерверке. Я, еще проходя мимо буфета, слышал, как крикун спросил у м-с Вельч, что за смрад распространился вчера по отелю; потом он спросил полковницу, слышала ли она этот запах. «Yes, o yes, yes!» — паладила она раз десять сряду. «Отвратительно, невыносимо!»— продолжал крикун. «Yes, y-e-s»,— жалобно, с придыханием повторила полковница. «Раз, два, три, четыре!» — считал отец Аввакум, сколько раз она скажет yes. «А знаете ли, что значит этот yes?» — спросил я его. «Это значит подтверждение, наше *да*»,— отвечал он. «Так, но знаете ли, что оно подтверждает? что вчера отвратительно пахло серой...» «Что вы: ахти!» — встрепенувшись, заговорил он и, чтоб скрыть смущение, взял всю яичницу к себе в тарелку. «А вы слышали этот запах?» — приставал крикун, обращаясь к полковнику и поглядывая на нас. «Не правда ли, что похоже было, как будто в доме пожар?» — спросил он опять полковницу. «Yes, yes»,— отвечала она. «Пять, шесть!» — считал печально отец Аввакум.

Вскоре она заговорила со мной о фрегате, о нашем путешествии. Узнав, что мы были в Портсмуте, она живо спросила меня, не знаю ли я там в Southsea[1] церкви св. Евстафия. «Как же, знаю,— отвечал я, хотя и не знал, про которую церковь она говорит: их там не одна.— Прекрасная церковь»,— прибавил я. «Yes... oui, oui»,— потом прибавила она. «Семь,— считал отец Аввакум, довольный, что разговор переменился,— я уж кстати и oui[2] сочту»,— шептал он мне.

Тучи в этот день были еще гуще и непроницаемее. Отцу Аввакуму надо было ехать назад. С сокрушенным сердцем сел он в карету Вандика и выехал, не видав Столовой горы. «Это меня за что-нибудь бог наказал!» — сказал он, уезжая. Едва прошел час-полтора, я был в ботаническом саду, как вдруг вижу: Столовая гора понемногу раздевается от облаков. Сначала показался угол, потом вся вершина, наконец и основание.

---

[1] Саутси (*англ.*).
[2] да (*франц.*).

По зелени ее заблистало солнце, в пять минут все высохло, кругом меня по кустам щебетали колибри, и весь Капштат, с окрестностями, облился ярким золотым блеском. Мне вчуже стало обидно за отца Аввакума.

Мы одни оставались с натуралистом; но пришла и наша очередь ехать. Нам дано знать, что работы на фрегате кончены, провизия доставлена и через два дня он снимется с якоря. Мы послали за Вандиком. Он приехал верхом на беленькой стелленбошской лошадке, в своей траурной шляпе, с улыбкой вошел в комнату и, опираясь на бич, по-прежнему остановился у дверей. «Отвези в последний раз в Саймонстоун,— сказал я не без грусти,— завтра утром приезжай за нами».— «Yes, sir,— отвечал он,— а знаете ли,— прибавил потом,— что пришло еще русское судно?» — «Какое? когда?» — «Вчера вечером»,— отвечал он. Оказалось, что это был наш транспорт «Двина», который мы видели в Англии.

Жаль было нам уезжать из Капской колонии: в ней было привольно, мы пригрелись к этому месту. Другие говорят, что если они плавают долго в море, им хочется берега; а поживут на берегу, хочется в море. Мне совсем не так: если мне где-нибудь хорошо, я начинаю пускать корни. Удобна ли квартира, покойно ли кресло, есть хороший вид, прохлада — мне не хочется дальше. Меня влечет уютный домик с садом, с балконом, останавливает добрый человек, хорошенькое личико. Сколько страстишек успеет забраться в сердце! сколько тонких, сначала неосязаемых нитей протянется оттуда в разные стороны! Поживи еще — и эти нити окрепнут, обратятся в так называемые «узы». Жаль будет покинуть знакомый дом, улицу, любимую прогулку, доброго человека. Так и мне уж становилось жаль бросать мой 8-ой нумер, готтентотскую площадь, ботанический сад, вид Столовой горы, наших хозяев и, между прочим, еврея-доктора.

Долго мне будут сниться широкие сени, с прекрасной «картинкой», крыльцо с виноградными лозами, длинный стол с собеседниками со всех концов мира, с гримасами Ричарда; долго будет чудиться и «yes», и беготня Алисы по лестницам, и крикун англичанин, и мое окно, у которого я любил работать, глядя на серые уступы и зеленые скаты Столовой горы и Чертова пика. Особенно еще как вспомнишь, что впереди море, море и море!

«Good bye!» [1]— прощались мы печально на крыльце с старухой Вельч, с Каролиной. Ричард, Алиса, корявый слуга и малаец повар — все вышли проводить и взять обычную дань с путешественников — по нескольку шиллингов. Дорогой встретили доктора, верхом, с женой, и на вопрос его, совсем ли мы уезжаем, «нет», обманул я его, чтоб не выговаривать еще раз good bye, которое звучит не веселей нашего «прощай»,

---

[1] Прощайте! (*англ.*)

Скоро мы выехали из города и катились по знакомой аллее, из дубов и елей, между дач. Но что это меня все беспокоит? Нельзя прижаться спиной: что-то лежит сзади; под ногами тоже что-то лишнее. «Вы не прижимайтесь очень спиной,— говорил мне натуралист,— там у меня птицу раздавите». Я подвинулся на свою сторону и только собрался опереться боком к экипажу. «Ах, поосторожнее, пожалуйста!— живо предупредил он меня,— там змея в банке, разобьете!» Я стал протягивать ноги. «Постойте, постойте! — торопливо заговорил он,— тут ящик с букашками, под стеклом. Да у вас руки пусты: что бы вам подержать его в руках!» Этого только недоставало! Беда ездить с натуралистами! У самого у него в руках была какая-то коробочка, кругом все узелки, пачки, в углу торчали ветки и листья. Когда ехали по колонии, так еще он вез сомнительную змею: не знали, околела она или нет.

Доехав до местечка Винберг, мы свернули в него и отправились посетить одного из кафрских предводителей, Сейоло, который содержался там под крепким караулом.

Славное это местечко Винберг! Это большой парк, с веселыми небольшими дачами. Вы едете по аллеям, между дубами, каштанами, тополями. Домики едва выглядывают из гущи садов и цветников. Это все летние жилища горожан, большею частью англичан-негоциантов. Дорога превосходная, воздух отрадный; сквозь деревья мелькают вдали пейзажи гор, фермы. Особенно хороша Констанская гора, вся покрытая виноградниками, с фермами, дачами у подошвы. Мы быстро катились по дороге.

Вдруг я вспомнил, что к Сейоло надо привезти какой-нибудь подарок, особенно табаку, а у меня ничего нет. «Где бы купить, Вандик?» — спросил я. Вандик молча завернул в узенькую аллею и остановился у ворот какой-то хижины. «Что это?» — «Лавочка».— «Где же?» — «Да вот». Ну, эта лавочка может служить выражением первобытной идеи о торговле и о магазине, как эта идея только зародилась в голове того, кому смутно представлялась потребность продавать и покупать. Под навесом из травы reet сколочено было несколько досок, образующих полки; ни боковых стен, ни дверей не было. На полках была глиняная посуда, свечи, мыло, кофе, еще какие-то предметы общего потребления и, наконец, табак и сигары. Все это валялось вместе, без обертки, кое-как. «Дайте мне сигар?» — спросил я у высокого, довольно чисто одетого англичанина. Он подал мне несколько пачек. «Еще нет ли у вас чего-нибудь?» — говорил я, оглядывая лавочку. «Are you of the country?» (вы здешний?) — спросил меня продавец. «Нет, а что?» — «То-то я вас никогда не видал, да и по разговору слышно, что вы иностранец. Чего вам еще и зачем?»— прибавил он. «Хочу подарить что-нибудь Сейоло»,— сказал я, закурив сигару. И не рад был, что закурил: давно я не куривал такой дряни. «Так это вы ему покупаете сигары?»—

вдруг спросил он. «Да». Англичанин молча отобрал у меня все пачки и положил назад на полку. «Не стоит ему давать таких хороших сигар: он толку не знает,— прибавил он потом,— а вот лучше подарите ему это». Он подал мне черного листового табаку, приготовленного в виде прессованной дощечки для курения и для жевания. «Он вам будет гораздо благодарнее за это, нежели за то»,— говорил хозяин, отдирая мне часть дощечки. «Я всю возьму,— сказал я,— да и то мало, дайте еще».— «Довольно,— решительно сказал англичанин,— больше не дам». Не знаю, как и когда с таким способом торговли разбогатеет этот купец.

В полуверсте от местечка, на голой, далеко расчищенной кругом площадке, стояло белое небольшое здание, обнесенное каменной стеной. У дверей стояли часовые и несколько каких-то джентльменов. «Можно видеть Сейоло?» — спросили мы. Джентльмены вежливо поклонились, ввели нас в сени, из которых мы вышли на маленький двор, к железной решетке. Они отперли дверь и пригласили нас войти. Мы вошли. Маленькое, обнесенное стеной пространство усыпано было желтым песком. В углу навес; там видны были постели. На песке, прямо на солнце, лежали два тюфяка, поодаль один от другого. На одном лежал Сейоло, на другом его жена. Когда мы подошли и кивнули ему головой, он привстал, сел на тюфяке и протянул нам руку. Жена его смотрела на нас, опершись на локоть, и тоже первая подала руку. Я отдал Сейоло табак и сигары. Он взял и, не поглядев, что было в бумаге, положил подле себя. Потом мы молча стали разглядывать друг друга. Я любовался и им, и его женой; они, я думаю, нами не любовались. Он мужчина лет тридцати, высокого роста, вершков четырнадцати, атлетического сложения, стройный, темно-коричневого, матового цвета. Одет он был в жакете и синих панталонах; ноги у него босые, грудь открыта нараспашку. Она — в ситцевом платье европейского покроя, в чулках и башмаках, голова повязана платком. Она светлее мужа цветом. Ей всего лет девятнадцать или двадцать. У ней круглое смугло-желтое лицо, темно-карие глаза, с выражением доброты, и маленькая стройная нога. Они с любопытством следили за каждым нашим движением и изредка усмехались, продолжая лежать. Нам хотелось поговорить, но переводчика не было дома. У моего товарища был портрет Сейоло, снятый им за несколько дней перед тем посредством фотографии. Он сделал два снимка: один себе, а другой так, на случай. Я взял портрет и показал его сначала Сейоло: он посмотрел и громко захохотал, потом передал жене. «Сейоло, Сейоло!»— заговорила она, со смехом указывая на мужа, опять смотрела на портрет и продолжала смеяться. Потом отдала портрет мне. Сейоло взял его и стал пристально рассматривать.

Наконец пора было уходить. Сейоло подал нам руку и ласково кивнул головой. Я взял у него портрет и отдал жене его, делая ей знак, что оставляю его ей в подарок. Она, по-видимому

была очень довольна, подала мне руку и с улыбкой кивала нам головой. И ему понравилось это. Он, от удовольствия, привстал и захохотал. Мы вышли и поблагодарили джентльменов.

Я вспомнил, что некоторые из моих товарищей, видевшие уже Сейоло, говорили, что жена у него нехороша собой, с злым лицом и т. п., и удивлялся, как взгляды могут быть так различны в определении даже наружности женщины! «Видели Сейоло?»— с улыбкой спросил нас Вандик. «Да, у него хорошенькая жена»,— сказал я, желая узнать, какого он мнения о ней. «Да которая? у него их семь».— «Семь? что ты?» — «Да, семь; недавно адъютант его привез ему одну, а другую взял. Они по очереди приезжают к нему и проводят с ним недели по три, по четыре». Мы с натуралистом посмотрели друг на друга, засмеялись и поехали дальше.

Сейоло — один из второстепенных вождей. Он взят в плен в нынешнюю войну. Его следовало повесить, но губернатор смягчил приговор, заменив смертную казнь заключением. С тех пор как англичане воюют с кафрами, то есть с 1835 года, эти дикари поступают совершенно одинаково, по принятой ими однажды системе. Они грабят границы колонии, угоняют скот, жгут фермы, жилища поселян и бегут далеко в горы. Там многие племена соединяются и воюют с ожесточением, но не нападают в поле на массы войск, а на отдельные небольшие отряды, истребляют их, берут в плен и прячутся. Когда, наконец, англичане доберутся до них и в неприступных убежищах, тогда они смиряются, несут повинные головы, выдают часть оружия и скота и на время затихают, грабя изредка, при случае. Их обязывают к миру, к занятиям, к торговле; они все обещают, а потом, при первой оказии, запасшись опять оружием, делают то же самое. И этому долго не будет конца. Силой с ними ничего не сделаешь. Они подчинятся со временем, когда выучатся наряжаться, пить вино, увлекутся роскошью. Их победят не порохом, а комфортом. Эти войны имеют, кажется, один характер с нашими войнами на Кавказе.

Сейоло нападал на отряды, отбивал скот, убивал пленных англичан, и, когда увидел, что ему придется плохо, что, рано или поздно, не избежит их рук, он добровольно сдался начальнику войск, полковнику Меклину, и отдан был под военный суд.

Чем ближе подъезжали мы к Саймонстоуну, тем становилось скучнее. Особенно напала на меня тоска, когда я завидел рейд и наш фрегат, вооруженный, с выстреленными брам-стеньгами, вытянутым такелажем, совсем готовый выйти в море. Мы кое-как плелись по песчаной отмели, по которой раскатывался прилив. Чуть вал ударит посильнее — и обдаст шумной пеной колеса нашего экипажа, лошади фыркали и бросались в сторону. «Аппл!» — кричал Вандик и опять пускал их по морскому песку.

11 апреля вечером, при свете луны, мы поехали с Унковским и Посьетом на шлюпке к В. А. Корсакову на шкуну «Восток», которая снималась с якоря.

Не помню, писал ли я вам, что эта шкуна, купленная адмиралом в Англии, для совместного плавания с нашим фрегатом, должна была соединиться с нами на мысе Доброй Надежды. Теперь адмирал посылал ее вперед.

Вечер был лунный, море гладко, как стекло; шкуна шла под малыми парами. У выхода из Фальсбэя мы простились с Корсаковым надолго и пересели на шлюпку. Фосфорный блеск был так силен в воде, что весла черпали как будто растопленное серебро, в воздухе разливался запах морской влажности. Небо сквозь редкие облака слабо теплилось звездами, затмеваемыми лунным блеском. Половина залива ярко освещалась луной, другая таилась в тени.

На другой день, 12-го апреля, ушли и мы. Было тихо, хорошо, но ненадолго.

*Май 1853 года.*
*Индийский океан.*

## V

## ОТ МЫСА ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ ДО ОСТРОВА ЯВЫ

*Шторм.— Святая неделя.— Тридцать дней на Индийском океане.— Жары. — Смерч. — Анжерский рейд.— Вечер на Яве.— Китайцы и малайцы.*

От мыса Доброй Надежды предположено было идти по дуге большого круга: спуститься до 38° южной широты и идти по параллели до 105° восточной долготы; там подняться до точки пересечения 30° южной широты. Мы ушли из Фальсбэя 12 апреля.

Индийский океан встретил нас еще хуже, нежели Атлантический: там дул хоть крепкий, но попутный ветер, а здесь и крепкий и противный, обратившийся в шторм, который на берегу называют *бурей*.

Знаменитый мыс Доброй Надежды как будто совестится перед путешественниками за свое приторное название и долгом считает всякому из них напомнить, что у него было прежде другое, больше ему к лицу. И в самом деле, редкое судно не испытывает шторма у древнего *мыса Бурь*.

Я ничего не знал, что замышляет против нас Мыс, и покойно сидел в общей каюте после обеда, на диване, у бизань-мачты. *Свистали* несколько раз *всех наверх рифы брать*. Я уж не спрашивал теперь, что это значит. «Свежеет!» — говорил то тот, то другой офицер, сходя сверху. А это так же обыкновенно на море, как если б сказать на берегу: «дождь идет, или пасмурно, ясно». Началась качка, и довольно сильная — и это нипочем. Любитель-натуралист, по обыкновению, отправился в койку мучиться морскою болезнию; слуги ловили стулья, стаканы и все, что начало метаться с места на место; *принайтавливали*

мебель в каютах. Пошел дождь и начал капать в каюту. Место, где я сидел, было самое покойное, и я удерживал его до последней крайности. Рев ветра долетал до общей каюты, размахи судна были все больше и больше. Шторм был классический, во всей форме. В течение вечера приходили раза два за мной сверху, звать посмотреть его. Рассказывали, как, с одной стороны, вырывающаяся из-за туч луна озаряет море и корабль, а с другой — нестерпимым блеском играет молния. Они думали, что я буду описывать эту картину. Но как на мое покойное и сухое место давно уж было три или четыре кандидата, то я и хотел досидеть тут до ночи; но не удалось. Часов в десять вечера жестоко поддало, вал хлынул и разлился по всем палубам, на которых и без того много скопилось дождевой воды. Она потоками устремилась в люки, которых не закрывали для воздуха. Целые каскады начали хлестать в каюту, на стол, на скамьи, на пол, на нас, не исключая и моего места и меня самого. Все поджали ноги или разбежались куда кто мог. Младший и самый веселый из наших спутников, Зеленый, вскочил на скамью и, с неизменным хохотом, ухватив где-то из угла кота, бросил его под каскады. Мальчишка голландец горько заплакал, думая, что настал последний час. Барон выглянул из своей каюты и закричал на дневальных, чтоб сводили воду шваброй в трюм. Я стоял в воде на четверть выше ступни и не знал, куда деться, что делать. А я был в башмаках: от сапог мы должны были отказаться еще в северном тропике. Я хотел пробраться вверх, в свою или капитанскую каюту, и ждал, пока вода сбудет.

— Что вы тут стоите? пойдемте вверх,— сказал мне Н. Н. Савич и, ухватив меня мимоходом, потащил с собою бегом.

По трапам еще стремились потоки, но у меня ноги уж были по колени в воде — нечего разбирать, как бы посуше пройти. Мы выбрались наверх: темнота ужасная, вой ветра еще ужаснее; не видно было, куда ступить. Вдруг молния. Она осветила, кроме моря, еще озеро воды на палубе, толпу народа, тянувшего какую-то снасть, да протянутые леера, чтоб держаться в качку. Я шагал в воде через веревки, сквозь толпу; добрался кое-как до дверей своей каюты и там, ухватясь за кнехт, чтоб не бросило куда-нибудь в угол, пожалуй на пушку, остановился посмотреть хваленый шторм. Молния как молния, только без грома, или его за ветром не слыхать. Луны не было.

— Где ж она? подайте луну! — сказал я деду, который приходил за мной звать меня вверх.

— Нет, уж она в Америку ушла,— сказал он,— еще бы вы до завтра сидели в каюте!

Нечего делать, надо было довольствоваться одной молнией. Она сверкала часто и так близко, как будто касалась мачт и парусов. Я посмотрел минут пять на молнию, на темноту и на волны, которые всё силились перелезть к нам через борт.

— Какова картина? — спросил меня капитан, ожидая восторгов и похвал.

— Безобразие, беспорядок! — отвечал я, уходя весь мокрый в каюту переменить обувь и белье.

Но это было нелегко, при качке, без Фаддеева, который где-нибудь стоял на брассах или присутствовал вверху, на ноках рей: он один знал, где что у меня лежит. Я отворял то тот, то другой ящик, а ящики лезли вон и толкали меня прочь. Хочешь сесть на стул — качнет, и сядешь мимо. Я лег и заснул. Ветер смягчился и задул попутный; судно понеслось быстро.

На другой день стало потише, но все еще качало, так что в страстную среду не могло быть службы в нашей церкви. Остальные дни страстной недели и утро первого дня пасхи прошли покойно. Замечательно, что в этот день мы были на меридиане Петербурга.

— Это и видно,— заметил кто-то,— дождь льет совершенно по-нашему.

Кажется, это в первый раз случилось — служба в православной церкви, в южном полушарии, на волнах, после только что утихшей бури. В первый день пасхи, когда мы обедали у адмирала, вдруг с треском, звоном вылетела из полупортика рама, стекла разбились вдребезги, и кудрявый, седой вал, как сам Нептун, влетел в каюту и разлился по полу. Большая часть выскочила из-за стола, но нас трое усидели. Я одною рукою держал тарелку, а другою стакан с вином. Ноги мы поджали. Пришли матросы и вывели швабрами нежданного гостя вон.

Дальнейшее тридцатиоднодневное плавание по Индийскому океану было довольно однообразно. Начало мая не лучше, как у нас: небо постоянно облачно; редко проглядывало солнце. Ни тепло, ни холодно. Некоторые, однако ж, оделись в суконные платья — и умно сделали. Я упрямился, ходил в летнем, зато у меня не раз схватывало зубы и висок. Ожидали зюйд-вестовых ветров и громадного волнения, которому было где разгуляться в огромном бассейне, чистом от самого полюса; но ветры стояли нордовые и все-таки благоприятные. Мы неслись верст по семнадцати, иногда даже по двадцати в час, и так избаловались, что, чуть пойдем десять или двенадцать верст, уж ворчим. Волнение ни то ни се: не такое сильное, чтоб мешало жить, но беспокойное настолько, что не давало ничем заняться, кроме чтения.

Мы видели много вблизи и вдали игравших китов, стаи птиц, которым указано по карте сидеть в таком-то градусе широты и долготы, и они в самом деле сидели там: все альбатросы, чайки и другие морские птицы, с лежащих в 77° восточной долготы, пустых, каменистых островков Амстердама и св. Павла. Мы прошли мимо их ночью. Наконец стали подниматься постепенно к северу и дошли до точки пересечения 105° долготы и 30° широты и 10-го мая пересекли тропик Козерога. Ждали пассата, а дул чистый S, и только в 18° получили пассат.

Я надеялся на эти тропики, как на каменную гору: я думал, что настанет, как в Атлантическом океане, умеренный жар, ровный и постоянный ветер; что мы войдем в безмятежное царство вечного лета, голубого неба, с фантастическим узором облаков и синего моря. Но ничего похожего на это не было: ветер, качка, так что полупортики у нас постоянно были закрыты.

— Що-сь воно не тее, эти тропикы! — сказал мне один спутник, живший долго в Малороссии, который тоже надеялся на такое же плавание, как от Мадеры до мыса Доброй Надежды.

Правда, с севера в иные дни несло жаром, но не таким, который нежит нервы, а духотой, паром, как из бани. Дожди иногда лились потоками, но нисколько не прохлаждали атмосферы, а только разводили сырость и мокроту.

13-го мая мы прошли в виду необитаемого острова Рождества, похожего немного фигурой на наш Готланд.

Но вот стало проглядывать солнце, да уж так, что хоть бы и не надо. Пора вынимать белое пальто и фуражку. Чем ближе к берегу, тем хуже, жарче. Завидели берега Явы, хотели войти в Зондский пролив между Явой и островком Принца, в две мили шириною, покрытым лесом красного дерева. На нем две-три маленькие деревушки; но течением отнесло дальше. Пришлось войти прямо в ворота, минуя калитку. При входе в пролив начались мертвые штили. Вода как зеркало, небо безмятежно — так и любуются друг другом: ничто не дохнет в природе. Берег — одна зеленая кайма. Кажется, чего бы? дождались и тишины и тепла; но в это тепло хорошо сидеть на балконе загородного дома, в тени непроницаемой зелени, а не тут, под зноем 25° в тени по Реом. Купались, да что толку: температура воды от 20 до 22°, ничего не прохлаждает. Дышишь тяжело, ляжешь— волосы и лицо мокнут. «Що-сь воно не тее»,— повторял мой малороссиянин, отирая лицо.

И ночи не приносили прохлады, хотя и были великолепны. Каждую ночь на горизонте, во всех углах, играла яркая зарница. Небо млело избытком жара, и по вечерам носились в нем, в виде пыли, какие-то атомы, помрачавшие немного огнистые зори, как будто семена и зародыши жаркой производительной силы, которую так обильно лили здесь на землю и воду солнечные лучи. Мы часто видели метеоры, пролетавшие по горизонту. В этом воздухе природа, как будто явно и открыто для человека, совершает процесс творчества; здесь можно непосвященному глазу следить, как образуются, растут и зреют ее чудеса; подслушивать, *как растет трава*. Творческие мечты ее так явны, как вдохновенные мысли на лице художника. Авось услышим, как растет — хоть сладкий картофель или табак. По ночам реомюр показывал только градусом меньше против дня.

Однажды я, в изнеможении, сел в капитанской каюте на диван и нечаянно заснул. Слышу крик, просыпаюсь — светло. Спрашиваю, который час: шестой, говорят. «Зарядить пушку яд-

ром!» — кричит вахтенный. «Что это, кого там?» — подумал я. В это время пришли с вахты сказать, что виден пароход не пароход, а бог знает что. Я бросился наверх, вскочил на пушку, смотрю: близко, в полуверсте, мчится на нас — в самом деле «бог знает что»: черный крутящийся столп с дымом, похожий, пожалуй, и на пароход; но с неба, из облака, тянется к нему какая-то темная узкая полоса, будто рукав; все ближе, ближе. «Готова ли пушка?» — закричал вахтенный. «Готова!» — отвечали снизу. Но явление начало бледнеть, разлагаться и вскоре, саженях в ста пятидесяти от нас, пропало без всякого следа. Известно, что смерчи, или водяные столпы, разбивают ядрами с кораблей, иначе они, налетев на судно, могут сломать рангоут или изорвать паруса. От ядра они разлетаются и разрешаются обильным дождем. Мы еще видели после раза два такие явления, но они близко не подходили к нам.

Штили держали нас дня два почти на одном месте, наконец 17 мая нашего стиля, по чуть-чуть засвежевшему ветерку, мимо низменного, потерявшегося в зелени берега, добрались мы до Анжерского рейда и бросили якорь. Чрез несколько часов прибыл туда же испанский транспорт, который вез из Испании отряд войск в Манилу.

Я очень рад, что, наконец, приехал к такому берегу, у которого нет никакого прошедшего и никакой истории. Не нужно шевелить книг, справляться и преважно уверять вас, что город, государство основаны тогда-то, заняты тем-то и т. п. Что такое Анжер? Малайское селение, не подверженное никаким переменам. О нем упоминает еще Тунберг. Оно то же было при нем, что и теперь. На рейде, у Анжера, останавливаются налиться водой, запастись зеленью суда, которые не хотят идти в Батавию, где свирепствуют гибельные, особенно для иностранцев, лихорадки. Батавия лежит на сутки езды отсюда сухим путем. Мы мечтали съездить туда, пробыть там день и вернуться. Думали, что тут есть и шоссе и удобные экипажи. Ничего этого не было. В две недели раз отправляется из Анжера почта в Батавию; почтальон едет верхом.

— А можно ли нанять экипажи? — спросили мы.

— Нет, нанять нельзя, а можно получить даром, — говорят малайцы.

— Ну, нечего делать, хоть даром, все равно. Да у кого же?

— У коменданта есть колясочка, у таможенного чиновника тоже: попросить, так они дадут.

— Мы сейчас же пойдем к ним...

— Да их нет в Анжере: они уехали в городок, лежащий на пути в Батавию, в трех часах езды от Анжера.

— А когда будут?

— Завтра или послезавтра.

Все наши мечты рушились.

Между тем нас окружило множество малайцев и индийцев. Коричневые, красноватые, полуголые, без шляп и в конических тростниковых или черепаховых шляпах, собрались они в лодках около фрегата. Все они кричали, показывая один — обезьяну, другой — корзинку с кораллами и раковинами, третий — кучу ананасов и бананов, четвертый — живую черепаху или попугаев.

Жар несносный; движения никакого, ни в воздухе, ни на море. Море — как зеркало, как ртуть: ни малейшей ряби. Вид пролива и обоих берегов поразителен под лучами утреннего солнца. Какие мягкие, нежащие глаз цвета небес и воды! Как ослепительно ярко блещет солнце и разнообразно играет лучами в воде! В ином месте пучина кипит золотом, там как будто горит масса раскаленных угольев: нельзя смотреть; а подальше, кругом до горизонта, распростерлась лазурная гладь. Глаз глубоко проникает в прозрачные воды. Земли нет: все леса и сады, густые, как щетка. Деревья сошли с берега и теснятся в воду. За садами вдали видны высокие горы, но не обожженные и угрюмые, как в Африке, а все заросшие лесом. Направо яванский берег, налево, среди пролива, зеленый островок, а сзади, на дальнем плане, синеет Суматра.

Наши толпой бросились на берег. Меня капитан пригласил ехать с собой, немного погодя, пока управятся на судне. Наконец, часу во втором, мы поехали втроем. До берега было версты две. Едва мы отъехали сажен сто, как вдруг видим, наши матросы тащат из воды акулу. Они дотащили ее уже до пушек. «Вернемся на минуту посмотреть»,— сказали мои товарищи. Я был против этого: меня манил берег, и я неохотно возвращался. Но мы не успели обернуть шлюпки, как акула сорвалась и бухнула в воду. Туда и дорога! Я обрадовался, мы продолжали путь и вскоре въехали в мутную узенькую речку, с каменною пристанью.

Направо видно большое, низенькое, кирпичное здание, обнесенное валом, на котором стояло несколько орудий небольшого калибра. Над домом лениво висел голландский флаг; у ворот, как сонные мухи, чуть ползали от зноя часовые с ружьями. Это была крепость и жилище коменданта. Мы не знали, куда нам направиться. Налево от дома, за речкой, сквозь деревья, виден был ряд хижин, за ними густой лес, прямо лес, направо за крепостью лес. Мы вошли на двор крепости: он был сквозной, насквозь виден опять лес. Мы вышли на довольно широкую дорогу и очутились в непроходимом тропическом лесу, с блестящею декорациею кокосовых пальм, которые то тянулись длинным строем, то, сбившись в кучу, вместе с кустами, представляли непроницаемую зеленую чащу.

Нельзя богаче и наряднее одеть землю, как она одета здесь. Право, глядя на эти леса, не поверишь, чтоб случай играл здесь группировкой деревьев. Тут пальмы, как по обдуманному

плану, перемешаны с кустами; там, будто тоже с умыслом,оставлена лужайка или небольшое болото, поросшее тем крупным желтым тростником, из которого у нас делаются такие славные трости. Посмотришь ли на каждую пальму отдельно: какая оригинальная красота! Она грациозно наклонилась; листья как длинные, правильными прядями расчесанные волосы; под ними висят тяжелые кисти огромных орехов. Все, кажется, убрано заботливою рукою человека, который долго и с любовью трудился над отделкою каждой ветви, листка, всякой мелкой подробности. А между тем это девственные, дикие леса. Человек почти не касался их. Бедный малаец только что врубается в чащу, отнимая пространство у зверей. Мы видели новые, заброшенные в глушь леса, еще строящиеся хижины, под пальмами и из пальм, крытые пальмовыми же листьями. К этим хижинам едва-едва протоптаны свежие дорожки. Мы шли, прислушиваясь к каждому звуку, к крику насекомых, неизвестных нам птиц, и пугали друг друга.

«Тигр!» — скажет кто-нибудь. «Змея!» — говорит другой. Все невольно быстро оглянутся и потом засмеются сами над собой.

Я хотел было напомнить детскую басню о лгуне; но как я солгал первый, то мораль была мне не к лицу. Однако ж пора было вернуться к деревне. Мы шли с час все прямо, и хотя шли в тени леса, все в белом с ног до головы и легком платье, но было жарко. На обратном пути встретили несколько малайцев, мужчин и женщин. Вдруг до нас донеслись знакомые голоса. Мы взяли направо в лес, прямо на голоса, и вышли на широкую поляну.

Там были все наши. Но что это они делают? По поляне текла та же мутная речка, в которую мы въехали. Здесь она дугообразно разлилась по луговине, прячась в густой траве и кустах. Кругом росли редкие пальмы. Трое или четверо из наших спутников, скинув пальто и жилеты, стояли под пальмами и упражнялись в сбивании палками кокосовых орехов. Усерднее всех старался наш молодой спутник по Капской колонии, П. А. Зеленый, прочие стояли вокруг и смотрели, в ожидании падения орехов. Крики и хохот раздавались по лесу. Шагах в пятидесяти оттуда, на вязком берегу, в густой траве, стояли по колени в тине два буйвола. Они, склонив головы, пристально и робко смотрели на эту толпу, не зная, что им делать. Их тут нечаянно застали: это было видно по их позе и напряженному вниманию, с которым они сторожили минуту, чтоб уйти; а уйти было некуда: направо ли, налево ли, все надо проходить чрез толпу или идти в речку.

Наконец полетел один орех, другой, третий. Только лишь толпа заметила нас, как все бросились к нам и заговорили разом.

— Крокодила видели! — кричал один.— Вот этакой величины! — говорил другой, разводя руками.

— Какой страшный! какие зубы!
— Где ж он? — спросили мы.
— Вот, вот здесь.
И потащили нас к мостику и к речке.
— Мы только вошли на мостик...— начал один.
— Нет, еще мы вон где были...— говорил другой.
— Да нет, господа, я прежде всех увидал его; вы еще там, в деревне, были, а я... Постойте, я все видел, я все расскажу по порядку.
— Куда ж он девался? — спросили мы.
— В кусты ушел, вот сюда,— закричали все, показывая на кусты, которые совсем закрывали берег близ мостика.
— Он показался на поверхности воды, проплыл под мостиком. Мы закричали, погнались за ним; он перепугался и ушел туда. Вот, вот на этом самом месте...
— Верно, ящерица! — заметил я, отчасти с досады, что не видал крокодила. Меня не удостоили и ответа.
— Пойдемте же в кусты за ним! — приглашал я, но не пошел. И никто не пошел. Кусты стеснились в такую непроницаемую кучу и смотрели так подозрительно, что можно было побиться об заклад, что там гнездился если не крокодил, так непременно змея, и, вероятно, не одна: их множество на Яве.
— Как жаль, что вы не видали крокодила! — сказал мне один из молодых спутников, которому непременно хотелось выжить из меня сомнение, что это был не крокодил.
— Ну, что ж, увижу у Зама[1], как вернусь в Петербург,— сказал я,— там маленький есть; вырастет до тех пор.
Мы пошли в деревню. Она вся состояла из бамбуковых хижин, крытых пальмовыми листьями и очень похожих на хлевы.
Окон в хижинах не было, да и не нужно: оттуда сквозь стены можно видеть, что делается наруже, зато и снаружи видно все, что делается внутри. А внутри ничего не делается: малаец лежит на циновке или ребятишки валяются, как поросята.
Малайцы толпились по улицам почти голые; редкие были в панталонах. Они довольствовались куском грубой ткани, накинутой на плечи или обвязанной около поясницы. Рты у всех как будто окровавлены, от бетеля, который они жуют и который раздражает десны. Мы наткнулись на маленький рынок. На берегу речки росло роскошнейшее из тропических деревьев — *баниан*. Толстый ствол, состоящий из множества крепко сросшихся вместе корней, оканчивается густой шапкой темной зелени, с толстыми маслянистыми листьями. От ветвей вертикально тянутся растительные нити и, врастая в землю, пускают корни, из которых образуются новые деревья. Дай волю — и почва заросла бы этими гигантами растительного царства, подавляющими все вокруг. Анжерское дерево покрывало ветвями весь

[1] З а м—владелец зверинца в Петербурге.

рынок. Человек около пятидесяти сидели на циновках и продавали готовый бетель на листьях банана, какие-то водяные плоды, вроде орехов и желудей, рыбу, табак.

Вечер наступал быстро. Небо млело заревом и атомами; ни одного облака на нем. Мы шли по деревне, видели в первый раз китайцев, сначала ребятишек с полуобритой головой, потом старух, с целым стогом волос на голове, поддерживаемых большою бронзовою булавкой. Встретились у пристани с толпой испанцев, которые съехали с транспорта погулять. Мы раскланялись, спросили друг друга, кажется, о здоровье (о погоде здесь не разговаривают), о цели путешествия и разошлись. Мы пошли в лавку: да, здесь есть лавка, разумеется китайская. Представьте себе мелочную лавку где-нибудь у нас в уездном городе: точь-в-точь как в Анжере. И тут свечи, мыло, связка бананов, как у нас бы связка луку, потом чай, сахарный тростник и песок, ящики, коробочки, зеркальца и т. п. Купец, седой китаец, в синем халате, с косой, в очках и туфлях, да два приказчика, молодые, с длинными-предлинными, как черные змеи, косами, с длинными же, смугло-бледными, истощенными лицами и с ногтистыми, как у птиц когти, пальцами. Все они говорили по-китайски, по-малайски и по-английски, но не по-голландски. Долго ли англичане владели Явой и как давно, а до сих пор след их не пропадает здесь!

Нам подали по чашке чаю. Узнав, что у них есть лимонный сироп, мы с неистовством принялись за лимонад. Охотники до редкостей покупали длинные трости, раковины и т. п. Тут мы разделились партиями и рассыпались по деревне и окрестностям. В переулках те же хижины, большая часть на сваях, от сырости и насекомых. Хижины прячутся в бананнике и под пальмами кокоса и *areca*. Скоро и хижины кончились; мы пошли по огромному, огороженному, вероятно для скота, лугу и дошли до болота и обширного оврага, заросшего сплошным лесом. Стало совсем темно; только звезды лили бледный, но пронзительный свет. Несколько человек ощупью пошли по опушке леса, а другие, в том числе и я, предпочли идти к китайцу пить чай. Мы вытащили из лавки все табуреты на воздух и уселись за маленькими столиками.

Что это за вечер! Это волшебное представление, роскошное, обаятельное пиршество, над которым, кажется, все искусства истощили свои средства, а здесь и признаков искусства не было. Какими красками блещут последние лучи угасающего дня и сумрака воцаряющейся ночи! В пространстве носятся какие-то звуки; лес дышит своею жизнью; слышатся то шепот, то внезапный, осторожный шелест его обитателей: зверь ли пробежит, порхнет ли вдруг с ветки испуганная птица, или змей пробирается по сухим прутьям? Вблизи бродят над речкой темные силуэты людей. В берега плещется вода. Тепло, сильно пахнет чем-то пряным.

«Смотрите,— сказал я соседу своему,— видите, звезда плывет в чаще баниана?» — «Это ветви колышутся,— отвечал он,— а сквозь них видны звезды... Вон другая, третья звезда, а вон и мимо нас несется одна, две, три — нет, это не звезды».— «Витул! — закричал я проходившему мимо матросу,— поймай вон эту звезду!» Витул покрыл ее фуражкой и принес мне, потом бросился за другой, за третьей и наловил несколько продолговатых цветных мух. В конце хвоста, снизу, у них ярко сияет бенгальским, зеленовато-бледным огнем прекрасная звездочка. Блеск этих звезд сиял ярче свеч, но недолго. Минуты через две, три муха ослабевала и свет постепенно угасал.

Мы часа два наслаждались волшебным вечером и неохотно, медленно, почти ощупью, пошли к берегу. Был отлив, и шлюпки наши очутились на мели. Мы долго шли по плотине и, не спуская глаз с чудесного берега, долго плыли по рейду. Гребцы едва шевелили веслами, разгребая спящую воду. Пробужденная, она густым золотом обливала весла. Вдруг нас поразил нестерпимый запах гнили. Мы сначала не догадывались, что это значит; потом уж вспомнили о кораллах и ракушках, которые издают сильный противный запах. Вероятно, мы ехали над коралловой банкой.

На другой день утром мы ушли, не видав ни одного европейца, которых всего трое в Анжере. Мы плыли дальше по проливу, между влажными, цветущими берегами Явы и Суматры. Местами, на гладком зеркале пролива, лежали, как корзинки с зеленью, маленькие островки, означенные только на морских картах под именем «Двух братьев», «Трех сестер». Кое-где были отдельно брошенные каменья, без имени, и те обросли густою зеленью.

Природа — нежная артистка здесь. Много любви потратила она на этот, может быть самый роскошный, уголок мира. Местами даже казалось слишком убрано, слишком сладко. Мало поэтического беспорядка, нет небрежности в творчестве, не видать минут забвения, усталости в творческой руке, нет отступлений, в которых часто больше красоты, нежели в целом плане создания. Едешь как будто среди неизмеримых возделанных садов и парков всесветного богача. Страстное, горячее дыхание солнца вечно охраняет эти места от холода и непогоды, а другой деятель, могучая влага, умеряет силу солнца, питает почву, родит нежные плоды и... убивает человека испарениями.

Прощайте, роскошные, влажные берега: дай бог никогда не возвращаться под ваши деревья, под жгучее небо и на болотистые пары! Довольно взглянуть один раз: жарко, и как раз лихорадку схватишь!

*20 мая 1853 года.*
*Анжерский рейд.*

## VI

## СИНГАПУР

*Приход на рейд. — Малайцы и индийцы. — Прогулка по городу и окрестностям. — Европейский, малайский и китайский кварталы. — Продажа опиума. — Ананасы, мангу и мангустаны. — Кокосовыг орехи. — Значение Сингапура. — Кумирни. — Купец Вампоа и его вилла.*

*С 24 мая по 2 июня 1853.*

Где я, о, где я, друзья мои? Куда бросила меня судьба от наших берез и елей, от снегов и льдов, от злой зимы и бесхарактерного лета? Я под экватором, под отвесными лучами солнца, на меже Индии и Китая, в царстве вечного, беспощадно-знойного лета. Глаз, привыкший к необозримым полям ржи, видит плантации сахара и риса; вечнозеленая сосна сменилась неизменно зеленым бананом, кокосом; клюква и морошка уступили место ананасам и мангу. Я на родине ядовитых перцев, пряных кореньев, слонов, тигров, змей, в стране бритых и бородатых людей, из которых одни не ведают шапок, другие носят кучу ткани на голове; одни вечно гомозятся за работой, с молотом, с ломом, с иглой, с резцом; другие едва дают себе труд съесть горсть рису и переменить место в целый день; третьи, объявив вражду всякому порядку и труду, на легких «проа» отважно рыщут по морям и насильственно собирают дань с промышленных мореходцев.

Осторожно и медленно, как будто высматривая тайного врага в засаде, подходили мы в темноте к сингапурскому рейду. Указания знаменитого Горсбурга, исследовавшего глубины и свойства этих морей, и лот были нашими ежеминутными руководителями. Наконец отдали якорь — и напряженное внимание, заботливое выпытывание местности и суетливая деятельность людей на фрегате тотчас же заменились беззаботностью отдыха. Под покровом черной, но прекрасной, успокоительной ночи,

как под шатром, хорошо было и спать мертвым сном уставшему матросу и разговаривать за чайным столом офицерам. Наверху царствует торжественное, но не мертвое безмолвие, хотя нет движения в воздухе, нет ни малейшей зыби на воде. Но сколько жизни покоится в этой мягкой, нежной теплоте, перед которой вы доверчиво, без опасения, открываете грудь и горло, как перед ласками добрых людей доверчиво открываете сердце! Сколько прелести таится в этом неимоверно ярком блеске звезд и в этом море, которое тихонько ползет целой массой то вперед, то назад, движимое течением,— даже в темных глыбах скал и в бахроме венчающих их вершины лесов!

Все кажется, что среди тишины зреет в природе дума, огненные глаза сверкают сверху так выразительно и умно, внезапный, тихий всплеск воды как будто промолвился ответом на чей-то вопрос; все кажется, что среди тишины и живой, теплой мглы раздастся какой-нибудь таинственный и торжественный голос. Чего-то ждешь, о чем-то думаешь, что-то чувствуешь, чего ни определить, ни высказать не можешь. Только сердце трепещет от силы необъяснимого, страстного ощущения: даже нервам больно! Под этим небом, в этом воздухе носятся фантастические призраки; под крыльями таких ночей только снятся жаркие сны и необузданные поэтические грезы о нисхождении Брамы на землю, о жаркой любви богов к смертным — все эти страстные образы, в которых воплотилось чудовищное плодородие здешней природы.

Начиная с Зондского пролива, мы всё наслаждались такими ночами. Небо как книга здесь, которую не устанешь читать: она здесь открытее и яснее, как будто само небо ближе к земле. Мы с бароном Криднером подолгу стояли на вахтенной скамье, любуясь по ночам звездами, ярко игравшей зарницей и особенно метеорами, которые, блестя бенгальскими огнями, нередко бороздили небо во всех направлениях.

Вдруг однажды, среди ночной тишины, раздался подле фрегата шум весел. «Что это такое? лодка в открытом море?» — спросил я и стал пристально смотреть в полупортик. И Фаддеев, который, сидя верхом на пушке, доставал из-за борта воду и окачивал меня, стал тоже смотреть. В лодке сидело трое, но кто — нельзя было разобрать в темноте. «Кто бы это был?» — спрашивал я, не зная, что подумать об этом явлении. «Опять чухны, ваше высокоблагородие!»— сказал Фаддеев равнодушно, разумея малайцев, которых он видел на Яве. «Или литва»,— заметил другой матрос, еще равнодушнее. Малайцы привезли несколько ананасов и предлагали свои услуги как лоцмана́. Мы шутя делали предположения: не пираты ли это, которые подосланы своею шайкою выведать, какого рода судно идет, сколько на нем людей и оружия, чтоб потом решить, напасть на него или нет. Это обыкновенная тактика здешних пиратов. Однажды они явились, также в числе трех-четырех человек, на палубу голландского судна, с

фруктами, напитанными ядом, и, отравив экипаж, потом нагрянули целой ватагой и овладели судном. Людей, как это они всегда делают, отвели на один из Зондских островов в плен, а судно утопили.

Один малаец взобрался на палубу и остался ночевать у нас, другие два ночевали в лодке, которая прицепилась за фрегат и шла за нами. Это было 24-го мая, часов в одиннадцать утра; мы вошли в сингапурский пролив, лавируя. Пошел дождь, да еще со шквалом, и освежил атмосферу. Мы отдохнули от жара: реомюр показывал $23^1/_2$° в тени, между тем малаец озяб. На нем была ситцевая юбка, на плечах род рубашки, а поверх всего кусок красной бумажной ткани; на голове неизбежный платок, как у наших баб; ноги голые. Это уж полный костюм; прочие большею частию ходят полунагие. Малаец прятался под навесом юта, потом, увидев дверь моей каюты отворенною, поставил туда сначала одну ногу, затем другую и спину, а голова была еще наруже. «Холодно?» — спросил я его. «Yes», — отвечал он и вошел совсем в каюту. Но мне показалось неестественно озябнуть при двадцати с лишком градусах тепла, оттого я не мог проникнуться состраданием к его положению и махнул ему рукою, чтоб он шел вон, лишь только он загородил мне свет. Два его товарища, лежа в своей лодке, нисколько не смущались тем, что она черпала, во время шквала, и кормой и носом; один лениво выливал воду ковшом, а другой еще ленивее смотрел на это.

Вечером стали подходить к Сингапуру. Любопытно взглянуть на эту кучу толпящихся на маленьком клочке разноцветных и разноязычных народов, среди которых американец Вилькс насчитывает до двадцати одних азиатских племен.

*25-го мая.* Утро. Солнце блещет, и все блещет с ним. Какие картины вокруг! какая жизнь, суматоха, шум! Что за лица! какие языки! Кругом нас острова, все в зелени; прямо, за лесом мачт, на возвышенностях видны городские здания. Джонки, лодки, китайцы и индийцы проезжают с берега на суда и обратно, пересекая друг другу дорогу. Направо и налево от нас — все дико; непроходимый кокосовый лес смотрится в залив; сзади море.

Утром рано стучится ко мне в каюту И. И. Бутаков и просовывает в полуотворенную дверь руку с каким-то темно-красным фруктом, видом и величиной похожим на небольшое яблоко. «Попробуйте», — говорит. Я разрезал плод: под красною мякотью скрывалась белая, кисло-сладкая сердцевина, состоящая из нескольких отделений, с крупным зерном в каждом из них. Прохладительно, свежо, тонко и сладко, с легкой кислотой. Это мангустан, а по английскому произношению «мангустэн». Англичане не могут не исковеркать слова.

Ко мне в каюту толпой стали ломиться индийцы, малайцы, китайцы, с аттестатами от судов разных наций, всё портные, прачки, комиссионеры. На палубе настоящий базар: разнопле-

менные гости разложили товары, и каждый горланил на своем языке, предлагая материи, раковины, обезьян, птиц, кораллы.

Я заглянул за борт: там целая флотилия лодок, нагруженных всякой всячиной, всего более фруктами. Ананасы лежали грудами, как у нас репа и картофель — и какие! Я не думал, чтоб они достигали такой величины и красоты. Сейчас разрезал и начал есть: сок тек по рукам, по тарелке, капал на пол. Хотел писать письмо к вам, но меня тянуло на палубу. Я покупал то раковину, то другую безделку, а более вглядывался в эти новые для меня лица. Что за живописный народ индийцы и что за неживописный — китайцы! Первые стройны, развязны, свободны в движениях; у них в походке, в мимике есть какая-то торжественная важность, лень и грация. Говорят они горлом, почти не шевеля губами. Грация эта неизысканная, неумышленная: будь тут хоть капля сознания, нельзя было бы не расхохотаться, глядя, как они медленно и осторожно ходят, как гордо держат голову, как размеренно машут руками. Но это к ним идет: торопливость была бы им не к лицу.

Вся верхняя часть тела у индийцев обнажена, но они чем-то мажутся, чуть ли не кокосовым маслом, иначе никакая кожа не устоит против этого солнца. На бедрах у них род юбки из бумажной синей или красной материи. В ушах серьги непременно, у иных по две, в верхней и нижней части уха, а у одного продета в ухо какая-то серебряная шпилька, у другого сережка в правой ноздре. Этот был стар, одет в белую юбку, а верхняя часть тела прикрыта красной материей; на голове чалма. Стали всех их собирать в один угол судна, на шкафут, чтоб они не бродили везде; старик усердно помогал в этом. Матросы, прогнав всех, наконец прогнали и его самого туда же.

Китайцы светлее индийцев, которые все темно-шоколадного цвета, тогда как те просто смуглы; у них тело почти как у нас, только глаза и волосы совершенно черные. Они тоже ходят полуголые. У многих старческие физиономии, бритые головы, кроме затылка, от которого тянется длинная коса, болтаясь в ногах. Морщины и отсутствие усов и бороды делают их чрезвычайно похожими на старух. Ничего мужественного, бодрого. Лица точно вылиты одно в другое.

А что за физиономии на лодках! Вот старый индиец, черный, с седыми бакенбардами и бородой, растущей ниже губ, кругом подбородка. А вот малаец, цвета красной меди, гребет двумя вместе связанными веслами, толкая их вперед от себя. Одни лежали прямо под солнцем, другие сидели на пятках, непостижимым для европейца образом. Ко мне уж не раз подходил один говорящий по-французски индиец. «Откуда ты родом?» — спросил я. Он мне сказал непонятное и неизвестное мне название. «Да ты индиец?» — «Нет!» — заговорил он, сильно качая головой. «Ну, малаец?» Он еще сильнее стал отрекаться. «Кто ж ты, из какой страны?» — «Ислам, мусульман».— «Да это твоя религия;

а родом?»— «Ислам, мусульман»,— твердил он. «Ну, из какого ты города?» — «Пондишери».— «А! так как же не индиец?» Он махал головой. «Индус вон! — говорил он, показывая на такого же, как и он сам,— а я ислам».— «А! те браминской веры».— «Да! да! Брама, индус!»— повторял он.

Тотчас после обеда судно опустело: все уехали. Мне предложил капитан ехать с ним, но просил подождать, пока он распорядится на фрегате. А лодки все не уезжали от нас, сбывая фрукты. У всех каюты завалены были ананасами; кокосы валялись под ногами. Всякий матрос вооружен был ножом и ананасом; за любой у нас на севере заплатили бы от пяти до семи рублей серебром, а тут он стоит два пенса; за шиллинг давали дюжину, за испанский талер — сотню. Но от ананасов начал чесаться у многих язык (в буквальном смысле), губы щипало кислотой. Многие предпочитали ананасам мангу: он фигурой похож на крупную желтую сливу, только с толстой кожей и с большой косточкой внутри; мясо состоит из волокон оранжевого цвета, напитанных вкусным соком.

Кроме фруктов, индийцы продавали платье европейское, рубашки, сапоги, китайские ларчики для чая, для рукоделья и т. п.

Я, в ожидании съезда на берег, облокотившись *на сетки*, смотрел на индийские лодки, на разнообразные группы разноцветных тел. Часов в пять, перед захождением солнца, мухаммедане стали тут же, на лодках, делать омовение и творить намаз. Один молодой, умывшись, взял какой-то старый грязный платок, разостлал его перед собой и, обратясь на запад, к Мекке, начал творить земные поклоны. Он, сидя на пятках, шевелил губами и по временам медленно оборачивал голову направо, налево, назад и не обращал внимания на зрителей с фрегата. Он молился около получаса, и едва кончил, за ним медленно поднялся другой и еще медленнее начал делать то же.

Капитан готов был не прежде, как в шесть часов. Когда мы подъезжали к берегу, было уже темно, а ехать надо рейдом около трех верст. На берегу нас встретили фиакры (легкие кареты, запряженные одной маленькой лошадкой, на каких у нас ездят дети). Мы, однако ж, ехать не хотели, а индийцы все-таки шли за нами. Между тем мы не знали, куда идти: газ еще туда не проник, и на улице ни зги не видно. Пошли налево: нам преградила путь речка и какой-то павильон; на другой стороне мелькали огни, освещавшие, по-видимому, ряды лавок. Мы знали, что есть и мосты, но как попасть на них? К счастью, встретились два немца и проводили нас в London-Hotel [1]. Вечер был очень темен. Меня поразил приторно-сладкий и сильный запах, будто мускуса, довольно противный. Насекомые сильно трещали в траве, так что это походило больше на пение птиц. Мы спросили в отеле содовой воды и чаю и уселись наверху, на балконе. Мои

---

[1] гостиницу «Лондон» (*англ.*).

товарищи вздумали все-таки идти гулять; я было пошел с ними, но как надо было идти ощупью, то мне скоро надоело это, и я вернулся на балкон допивать чай. Тут приходило и уходило несколько, по-видимому, живущих в нумерах трактира англичан и американцев. Они садились на кресла и обе ноги клали на стол (их манера сидеть), требовали себе чаю и молчали. Чай — микстура, с сильным запахом и вкусом — точно лекарственной травы.

С наступлением ночи опять стало нервам больно, опять явилось неопределенное беспокойство до тоски, от остроты наркотических испарений, от теплой мглы, от теснившихся в воображении призраков, от смутных дум. Нет, не вынесешь долго этой жизни, среди роз, ядов, баядерок, пальм, под отвесными стрелами, которые злобно мечет солнечный шар!

От нечего делать я оглядывал стены и вдруг вижу: над дверью что-то ползет, дальше на потолке тоже, над моей головой, кругом по стенам, в углах — везде. «Что это?» — спросил я слугу португальца. Он отвечал мне что-то—я не понял. Я подошел ближе и разглядел, что это ящерицы, вершка в полтора и два величиной. Они полезны в домах, потому что истребляют насекомых.

Наконец мои товарищи вернулись. Они сказали, что нагулялись вдоволь, хотя ничего и не видели. Пошли в столовую и принялись опять за содовую воду. Они не знали, куда деться от жара, и велели мальчишке китайцу махать привешенным к потолку, во всю длину столовой, исполинским веером. Это просто широкий кусок полотна с кисейной бахромой; от него к дверям протянуты снурки, за которые слуга дергает и освежает комнату. Но, глядя на эту затею, не можешь отделаться от мысли, что это — искусственная, временная прохлада, что вот только перестанет слуга дергать за веревку, сейчас на вас опять как будто наденут в бане шубу.

Посидев немного, мы пошли к капитанской гичке. За нами потянулась толпа индийцев, полагая, что мы наймем у них лодку. Обманувшись в ожидании, они всячески старались услужить: один зажег фитиль посветить, когда мы садились, другой подал руку и т. п. Мы дали им несколько центов (медных монет), полученных в сдачу в отеле, и отправились.

Возвращение на фрегат было самое приятное время в прогулке: было совершенно прохладно; ночь тиха; кругом, на чистом горизонте, резко отделялись черные силуэты пиков и лесов и ярко блистала зарница — вечное украшение небес в здешних местах. Прямо на голову текли лучи звезд, как серебряные нити. Но вода была лучше всего: весла с каждым ударом черпали чистейшее серебро, которое каскадом сыпалось и разбегалось искрами далеко вокруг шлюпки.

*27 мая.* Мы собрались вчетвером сделать прогулку поосновательнее и поехали часов в 11 утра, но и то было уж поздно. Хотели ходить, но не было никакой возможности. Мимоездом, на рей-

де, мы осмотрели китайскую джонку. Издали она дразнила наше любопытство: корма и нос несоответственно высоко поднимались над водой. Того и гляди, кажется, рухнут эти непрочные постройки на курьих ножках, похожие на голубятни. Джонка была выкрашена голубым, красным и желтым цветами. На носу, с обеих сторон, нарисовано по рыбьему глазу: китайцам все хочется сделать эти суда похожими на рыбу. Мы подъехали; лодки очистили нам дорогу; китайцы приняли нас с улыбкою. Их было человек пять; одни полуголые, другие неопрятно одетые. Мы вошли прямо мимо кухонной печи, около которой возился повар. Нас обдало удушливым, вонючим паром из трубы. Джонка нагружена была разным деревом, которое везла в Китай, красным, сандальным и другими. Эти дерева были так скользки, что мы едва могли держаться на ногах. Мы взобрались по лесенке на корму. Там, в углублении, была кумирня с идолами, а по бокам грязные каюты. Один китаец чесал другому — по-видимому хозяину — косу. Они молча смотрели на нас и предоставляли нам ходить и смотреть. Все было слеплено из дощечек, жердочек, циновок; паруса тоже из циновок. Руль неуклюжий, неотесанный, уродливый. Мы ушли и свободно вздохнули на катере, дивясь, как люди могут пускаться на таких судах в море, до этих мест, за 1800 морских миль от Кантона! После уж, качаясь в штилях китайских морей или несомые плавно попутным муссоном, мы поняли, отчего ходят далеко джонки. Зато сколько их погибает в ураганы!

Въехав прямо в речку и миновав множество джонок и яликов, сновавших взад и вперед, то с кладью, то с пассажирами, мы вышли на набережную, застроенную каменными лавками, совершенно похожими на наши гостиные дворы: те же арки, сквозные лавки, амбары, кучи тюков, бочки и т.п.; тот же шум и движение. Купцы большею частью китайцы; товары продают оптом и отправляют из Китая в Европу или обратно, выписывают из Европы в Китай. Но вот, наконец, добрались и до мелких торговцев. Китайцы, в таких же костюмах, в каких мы их видели на Яве, сидели в лавках. Белая бумажная кофта, вроде женских ночных кофт, и шаровары, черные, а более синие, у богатых атласные, потом бритая передняя часть головы и длинная до пят коса, природная или искусственная, отсутствие шляпы и присутствие веера, заменяющего ее,— вот их костюм. Китаец носит веер в руке и, когда выходит на солнце, прикрывает им голову. Впрочем, простой народ, работающий на воздухе, носит плетеные из легкого тростника шляпы, конической формы, с прешерокими полями. На Яве я видел малайцев, которые покрывают себе голову просто спинною костью черепахи. Европейцы ходят... как вы думаете, в чем? В полотняных шлемах! Эти шлемы совершенно похожи на шлем Дон-Кихота. Отчего же не видать соломенных шляп? чего бы, кажется, лучше: Манила так близка, а там превосходная солома. Но потом я опытом убедился, что солома слишком жидкая

защита от здешнего солнца. Шлемы эти делаются двойные, с пустотой внутри и маленьким отверстием для воздуха. Другие, особенно шкипера, носят соломенные шляпы, но обвивают поля и тулью ее белой материей, в виде чалмы.

Мы прошли каменные ряды и дошли наконец до деревянных, которые в то же время и домы китайцев. Верхний этаж занят жильем, а нижний — лавкой. Здесь собрано все, чтоб оскорбить зрение и обоняние. Голые китайцы, в одних юбках или шароварах, а иные только в повязках кругом поясницы, сидя, в лавках или наруже у порога, чесали длинные косы друг другу или брили головы и подбородки. Они проводят за этим целые часы; это — их кейф. Некоторые, сидя, клали голову на столик, а цирюльник, обрив, преприлежно начинал поколачивать потом еще по спине, долго и часто, этих сибаритов. Это, кажется, походило на то, как у нас щекотят пятки или перебирают суставы в банях охотникам до таких удовольствий.

Но вид этих бритых донельзя голов и лиц, голых, смугло-желтых тел, этих, то старческих, то хотя и молодых, но гладких, мягких, лукавых, без выражения энергии и мужественности, физиономий, и, наконец, подробности образа жизни, семейный и внутренний быт, вышедший на улицу,— все это очень своеобразно, но не привлекательно.

Самый род товаров, развешенных и разложенных в лавках, тоже, большею частию, заставляет отворачивать глаза и нос. Там видны сырые, печеные и вяленые мяса, рыба, раки, слизняки и т. п. дрянь. Тут же подвижная лавочка, с жаровней и кастрюлей, с какой-нибудь лапшой или киселем, студенью и т. п. вещами, в которые пристально не хочется вглядываться. Или сейчас же рядом совсем противное: лавка с фруктами и зеленью так и тянет к себе: ананасы, мангустаны, арбузы, мангу, огурцы, бананы и т. п. навалены грудами. Среди этого увидишь старого китайца, с седой косой, голого, но в очках; он сидит и торгует. В другом месте вдруг пахнёт чесноком и тем неизбежным, похожим на мускус запахом, который, кажется, издает сандальное и другие пахучие деревá. К этому еще прибавьте кокосовое масло, табак и опиум — от всего этого теряешься. Все это сильно растворяется в жарком индийском воздухе и разносится всюду.

Мы вырвались из китайского города и, через деревянный высокий мост, перешли на европейскую сторону. Здесь совсем другое: простор, чистота, прекрасная архитектура домов, совсем закрытых шпалерою из мелкой, стелющейся, как плющ, зелени, с голубыми цветами; две церкви, протестантская и католическая, обнесенные большими дворами, густо засаженными фиговыми, мускатными и другими деревьями и множеством цветов. К нам пристал индиец, навязываясь в проводники. Мы велели ему вести себя на холм, к губернаторскому дому. Дорога идет по великолепной аллее, между мускатными деревьями

и померанцевыми, розовыми кустами. Трава вся состояла из mimosa pudica (не-тронь-меня). От прикосновения зонтиком к траве она мгновенно сжималась по нашим следам.

Не было возможности дойти до вершины холма, где стоял губернаторский дом: жарко, пот струился по лицам. Мы полюбовались с полугоры рейдом, городом, которого европейская правильная часть лежала около холма, потом велели скорее вести себя в отель, под спасительную сень, добрались до балкона и заказали завтрак, но прежде выпили множество содовой воды и едва пришли в себя. Несмотря на зонтик, солнце жжет без милосердия ноги, спину, грудь — все, куда только падает его луч.

Европейское общество состоит из консулов всех почти наций. Они живут в прекрасных домах, на эспланаде, идущей по морскому берегу. Всех европейцев здесь до четырехсот человек, китайцев сорок, индийцев, малайцев и других азиатских племен до двадцати тысяч: это на всем острове. В городе я видел много европейских домов в упадке; на некоторых приклеены бумажки с надписью: *отдаются внаем*. Самая биржа, старое здание, с обвалившейся штукатуркой, не обновляется с тех пор, как возник Гон-Конг. Говорят, от этого Сингапур несколько потерял в торговом отношении. Некоторые европейцы, особенно англичане, перенесли круг своей деятельности туда. Китайцы тоже несколько реже стали ездить в Сингапур, имея возможность сбывать свои товары там, у самых ворот Китая.

Впрочем, Сингапур, как складочное место между Европой, Азией, Австралией и островами Индийского архипелага, не заглохнет никогда. Притом он служит приютом малайским и китайским пиратам, которые еще весьма сильны и многочисленны в здешних морях. Большую часть награбленных товаров они сбывают здесь, являясь в виде мирных купцов, а оружие и другие улики своего промысла прячут на это время в какой-нибудь маленькой бухте ненаселенного острова. Бельчер говорит, что сингапурские китайцы занимаются выделкой оружия собственно для них. Поэтому истребить пиратов почти нет возможности: у них на некоторых островах есть так хорошо укрепленные места, что могут противиться всякой вооруженной силе. Да и как проникнут к ним большие военные суда, когда бухты эти доступны только легким разбойничьим проа? «Может быть, тут половина пиратов»,— думал я, глядя на сновавшие по рейду длинные барки с парусами из циновок.

На бирже толпятся китайские, армянские, персидские купцы и, разумеется, англичане. Народонаселение кипит и движется. Вот китаец, почти нищий, нагой, бежит проворно, в своей тростниковой шляпе, и несет на нитке какую-нибудь дрянь на обед, или кусок рыбы, или печенки, какие-то внутренности; вот другой, с водой, с ананасами на лотке или другими фруктами, третий везет кладь на паре горбатых быков. Вот высту-

пают, в белых кисейных халатах, персияне; вот парси, с бледным матовым цветом лица и лукавыми глазами; далее армянин в европейском пальто; там карета промчалась с китайцами из лавок в их квартал; тут англичанин едет верхом.

Позавтракав, мы послали за каретами и велели ехать за город. Кареты и кучера — не последняя достопримечательность города и тотчас бросится в глаза. Я уж говорил, что едва вы ступите со шлюпки на берег, вас окружат несколько кучеров, с своими каретами. Последние без рессор, но покойны, как люльки; внутри собственно два места; но если потесниться, то окажется, пожалуй, и четыре. Подушки и стенки обиты циновками. Карету в один конец, поближе, нанимают за полдоллара, подальше — за доллар, и на целый день — тоже доллар. Для кучера места нет: он что есть мочи бежит рядом, держа лошадь за узду, тогда как, по этой нестерпимой жаре, европеец едва сидит в карете. В Сингапуре нет мостовой, а есть убитые песком и укатанные аллеи, как у нас где-нибудь в Елагинском парке. Индиец, полуголый, с маленьким передником, бритый, в чалме, или с большими волосами, смотря по тому, какой он веры, бежит ровно, грациозно, далеко и медленно откидывая ноги назад, улыбаясь и показывая ряд отличных зубов. Ночью их обязали ездить с фонарями, иначе здесь ни зги не видать.

Они помчали нас сначала по предместьям, малайскому, индийскому и китайскому. Малайские жилища — просто сквозные клетки из бамбуковых тростей, прикрытые сухими кокосовыми листьями, едва достойные называться сараями, на сваях, от сырости и от насекомых тоже. У китайцев побогаче — сплошные ряды домов в два этажа: внизу лавки и мастерские, вверху жилье, с жалюзи. Индийцы живут в мазанках.

Кругом все заросло пальмами *areca*, или кокосовыми; обработанных полей с хлебом немного: есть плантации кофе и сахара, и то мало: места нет; все болота и густые леса. Рис, главная пища южной Азии, привозится в Сингапур с Малаккского и Индийского полуостровов. Но зато сколько деревьев! хлебное, тутовое, мускатное, померанцы, бананы и другие.

Мы ехали по берегу той же, протекающей по городу реки, которая по нем, или город по ней, называется Сингапур. Она мутна и не радует глаз, притом очень узка, но не мелка.

По берегу тянулись мазанки и хижины, из которых выглядывал то индиец, то малаец. В одном месте на большом лугу мы видели группу мужчин, женщин и детей, в ярких, режущих глаза, красных и синих костюмах: они собирали что-то с деревьев. Там высунулась из воды голова буйвола; там бедный и давно не бритый китаец, под плетеной шляпой, тащит, обливаясь потом, ношу; там несколько их сидят около походной лавочки или в своих магазинах, на пятках, в кружок, и уплетают двумя палочками вареный рис, держа чашку у самого рта, и время от времени достают из другой чашки, с темною жид-

костью, этими же палочками необыкновенно ловко какие-то кусочки и едят. Мы переехали несколько мостиков; вдали, на холмах, видны европейские дачи, выглядывавшие из гущи кипарисов, бананов и пальмовых рощ. Наконец въехали опять в китайский квартал, и опять нас охватили разные запахи.

В некоторых местах над лавками я видел надпись по-английски: *дозволенная продажа опиума.* Мы хотели взглянуть, как курят опиум, и вошли в лавочку; но там только продавали его. Нас подвозили ко многим таким лавочкам; это были отвратительнейшие, неопрятные клетушки, где нагие китайцы предлагали нам купить отравы. Наконец кули повел нас через одну лавчонку в темный чулан: там, на грязной циновке, лежал один курильщик; он беспрестанно палочкой черпал опиум и клал его в крошечное отверстие круглой большой трубки. Но духота, вонь и жар от помещавшейся рядом китайской кухни были так сильны, что мы, не дождавшись действия опиума, бежали вон и вздохнули свободно, выехав из китайского квартала.

Некоторым нужно было что-то купить, и мы велели везти себя в европейский магазин; но собственно европейских магазинов нет: европейцы ведут оптовую торговлю, привозят и увозят грузы, а розничная торговля вся в руках китайцев. Лавка была большая, в две комнаты: и чего-чего в ней не было! Полотна, шелковые материи, сигары, духи, мыло, помада, наконец китайские резные вещи, чай и т. п.

Между прочим, вдруг нам бросилось в глаза, на куске холста, русское клеймо: *фабрика А. Перлова.* Это дук. «Откуда? как?» — спросили мы приказчика англичанина. «Это английский дук,— сказал он,— а клеймо русское». Я нарочно мешкал в лавке: мне хотелось дать отдохнуть кучерам; но они, кажется, всего меньше думали сами об этом. Мне сначала было совестно ехать и смотреть, как они бегут, но через полчаса я привык смотреть, а они— бежать. «Куда бы еще пойти? что посмотреть?»— говорили мы. «Ах! да ведь мы некоторым образом в Индии: здесь должны быть слоны; надо посмотреть, поездить на них».— «Есть здесь слоны?» — спросили мы у кули. «Есть»,— отвечал он. «Где ж они? много их?» —«Один».— «Один! Ну, для такого островка и одного довольно! А можно поездить на нем?» — «Нет, нельзя, он на сахарном заводе работает».

Часа в четыре, покружась еще по улицам, походив по эспланаде, полюбовавшись садами около европейских домов, мы вернулись в London-Hotel — и сейчас под веер. Стали звонить к обеду. Хотя у нас еще не успел пробудиться аппетит, однако ж мы с бароном Криднером отправились «посмотреть, что едят», как он говорил. Но я всегда в этих случаях замечал, что он придает слишком много значения глаголу *смотреть.* Столовая помещалась в особой, выстроенной на дворе деревянной, открытой со всех сторон галерее, какие у нас делаются для

игры в кегли; да тут же, кстати, на дворе была и другая такая же галерея для этой игры. Длинный-предлинный стол, над ним веер, висящий с потолка вдоль всего стола, и в углу два не очень мягкие, некрасивые дивана составляли все убранство залы. Мы застали уже человек до пятнадцати англичан и американцев: они, по обыкновению, пили себе, как будто в Англии, херес, портвейн и эль.

Обед, по английскому обычаю, был весь на столе. Нам подали горячее: я попробовал — что-то родное. «Да это уха»,— сказал я барону. «Суп из рыбы»,— поправил он педантически. Потом подали рыбу, но она показалась мне несвежа, и отличную вареную зелень. Всякий брал, чего хотел, а выбрать было из чего: стояло блюд десять. Свинина была необыкновенной белизны, свежести и вкуса. Надо отдать справедливость здешним свиньям: на взгляд они некрасивы, хуже наших: низенькие, вместо щетины с маленькою, редкою и мягкою шерстью, похожей на пух, через которую сквозит жир; спина вогнута, а брюхо касается земли. Они не могут почти ходить от жиру, но вкусом необычайно нежны. Зато же здесь и обращаются с ними весьма нежно. Я видел, их везли целый воз на двух буйволах: каждая свинья помещалась в особой, круглой плетенке, сделанной по росту свиньи. От этого не слышно пронзительного визга, какой у нас иногда раздается по всей улице. В другой раз два китайца несли на плечах, с признаками большой осторожности и даже, кажется, уважения, такую корзину, в которой небрежно покоилась свинья.

На все такие места, как Сингапур, то есть торговые и складочные, я смотрю не совсем благосклонно, или лучше, не совсем весело. На всем лежит печать случайности и необходимости, вынужденной обстоятельствами. Встречаешь европейца и видишь, что он приехал сюда на самое короткое время, для крайней надобности; даже у того, кто живет тут лет десять, написано на лице: «Только крайность заставляет меня томиться здесь, а то вот при первой возможности уеду». И на доме, кажется, написано: «Меня бы не было здесь, если б консул не был нужен: лишь только его не станет, я сейчас же сгорю или развалюсь».

Мы с бароном делали наблюдения над всеми сидевшими за столом лицами, которые стеклись с разных концов мира «для стяжаний», и тихонько сообщали друг другу свои замечания. Между прочим, наше внимание поразил один молодой человек своей наружностью. «Посмотрите, какой красавец!»— сказал барон, указывая на англичанина. «Непростительно хорош!» — отвечал я. В самом деле, тонкий, нежный, матовый цвет кожи, голубые глаза, с трепещущей влагой задумчивости, кудри мягкие, как лен, легкие, грациозно вьющиеся и осеняющие нежное лицо; голос тихий. О, какой это счастливец бежал из Европы? Что повлекло его сюда? ужели золото? Быть бы ему между

вас, женщины; но из вас только одни англичанки могут заплатить ему такой же красотой. Это британский тип красоты, нежной, чистой и умной, если можно так выразиться: тут не было никаких роз, ни лилий, ни бровей дугой; все дело было в чистоте и гармонии линий и оттенков, как в отлично составленном букете.

Я смотрел на красавца, следил за его разговором и мимикой; мне хотелось заметить, знает ли он о своей красоте, ценит ли ее, словом — фат ли он. Но тут не было женщин, а это только и можно узнать при них. Беда такому красавцу: если уроду нужно много нравственных достоинств, чтоб не колоть глаз своим безобразием, то красавцу нужно их чуть ли не больше, чтоб заставить простить себе красоту. Сколько надо одного ума, чтоб не знать о ней! Но этого не бывает; надо искусственно дойти до потери сознания о ней, забывать ее, то есть беспрестанно помнить, что надо забывать.

Мы посидели до вечера в отеле, беседуя с седым американским шкипером, который подсел к нам и разговорился о себе. Он смолоду странствует по морям. Теперь он везет груз в Англию, а оттуда его через шесть недель пошлют в Нью-Йорк, потом в Рио-Жанейро. Так он провел сорок лет.

На возвратном пути опять над нами сияла картина ночного неба: с одной стороны Медведица, с другой — Южный Крест, далее Канопус, Центавры, наконец могучий небесный странник, Юпитер, лили потоки лучей, а за ними, как розово-палевое зарево, сиял блеск Млечного Пути. Черные тучи, проносившиеся над картиной, казались еще чернее, по ним бороздили молнии; весла опять дружно разгребали серебряную влагу. Назади китайский квартал блистал разноцветными фонарями, развешенными у лавок; по рейду мелькали корабельные огни. Мы пробирались мимо джонок, которых уродливые силуэты тяжело покачивались крупными тенями в одно время на фоне звездного неба и на воде. Едешь: от воздуха жарко, от воды чуть-чуть веет прохлада. И круглый год так, круглый год — подумайте! те же картины, то же небо, вода, жар! Как ни приятно любоваться на страстную улыбку красавицы с влажными глазами, с полуоткрытым, жарко дышащим ртом, с волнующейся грудью; но видеть перед собой только это лицо, и никогда не видеть на нем ни заботы, ни мысли, ни стыдливого румянца, ни печали — устанешь и любоваться.

Мне, однако ж, не прошел даром обед и две рюмки шампанского. Только железные желудки англичан могут безнаказанно придерживаться европейского режима в пище и своих привычек. Другие, более или менее, платят дань климату. К этому еще нестерпимая жара преследует и днем и ночью. Отворяешь двери, садишься на сквозном ветре — ничего не помогает. Ночной воздух стоит, как церемонный гость, у дверей и нейдет в каюту, не сладит с спершимся там воздухом. Днем, облитые

ослепительным солнечным блеском, воды сверкают, как растопленное серебро; лучи снопами отвесно и неотразимо падают на все — на скалы, на вершины пальм, на палубы кораблей и, преломляясь, льют каскады огня и блеска по сторонам. Белая палуба блестит, как слоновая кость, песок на скалах белеет, как снег. Все бежит, прячется, защищается; европейцы или сидят дома, или едут в шлюпках под тентом, на берегу — в каретах. Только индиец, растянувшись в лодке, спит, подставляя под лучи то один, то другой бок; закаленная кожа у него ярко лоснится, лучи скользят по ней, не проникая внутрь, да китайцы, с полуобритой головой, машут веслом или ворочают рулем, едучи на барке по рейду, а не то так работают около европейских кораблей, постукивая молотком или таская кладь. «Ах! — слышатся восклицания,— скоро ли вернемся отсюда!» Пить хочется — а чего? вода теплая, отзывается чаем. Льду, льду бы да снегу: не дым, а лед отечества нам сладок и приятен!

Между тем кругом все так пышно: панорамы роскошнее представить нельзя. Денное небо не хуже ночного. Одно облако проходит за другим и медленно тонет в блеске небосклона. Зори горят розовым, фантастическим пламенем, облака здесь, как и в Атлантическом океане, группируются чудными узорами.

А на берегу? Пальма areca, с своими темно-зелеными листьями, которых верхушки будто отрезаны, и все дерево точно щеголевато острижено, кокосовые, с развесистыми, длинными и острыми листьями, мускатные, с небольшим, ярко-зеленым, жирным листом, далее померанцы, банианы — вот кайма, окружавшая нас! Вдруг перемена декорации: цвета блекнут на всем. Пошел дождь. Откуда взялось облако? Небо как будто покрылось простыней; полились потоки: в пять, десять минут подставленные бочки полны водой. Но вы не успели подумать о том, долго ли это продолжится, а оно уж и кончилось. Опять сухо; грязи здесь не бывает: ступайте по траве, по земле — подошва суха.

Живут же люди в этих климатах, и как дешево! Одежда — кусок полотна или бумажной материи около поясницы — и только; все остальное наруже; ни сапог, ни рубашек. У европейцев есть и то и другое, но как охотно они бросили бы эти то и другое, и, пожалуй, еще и третье... панталоны! Пища — горсть рису, десерт — ананас, стоящий грош, а если нет гроша, а затем и ананаса, то первый выглянувший из-за чужого забора и ничего не стоящий банан, а нет и этого, так просто поднятый на земле упавший с дерева мускатный орех. Питье,— если не вода, которая мутна, то всегда готовый к вашим услугам, никому и всем принадлежащий кокосовый орех. Жить, то есть спать, везде можно: где ни лягте — тепло и сухо.

Кстати о кокосах. Недолго они нравились нам. Если их сорвать с дерева, еще зеленые, и тотчас пить, то сок прохладен; но когда орех полежит несколько дней, молоко согревается и

густеет. В зрелом орехе оно образует внутри скорлупы твердую оболочку, как ядро наших простых орехов. Мы делали из ядра молоко, как из миндаля: оно жирно и приторно; так пить нельзя; с чаем и кофе хорошо, как замена сливок.

Какую роль играет этот орех здесь, в тропических широтах! Его едят и люди и животные; сок его пьют; из ядра делают масло, составляющее одну из главных статей торговли в Китае, на Сандвичевых островах и в многих других местах; из древесины строят домы, листьями кроют их, из чашек ореха делают посуду.

Вот ананасы так всем нам надоели: охотники ели по целому в день. Один уверял, что будто съел три; мы приняли это за хвастовство. Верхушку ананаса срезывают здесь более, нежели на вершок, и бросают, не потому чтоб она была невкусна, а потому, что остальное вкуснее; потом режут спиралью, срезывая лишнее, шелуху и щели; сок течет по ножу, и кусок ананаса тает во рту. У всех в каютах висели ряды ананасов, но один из наших офицеров (с другого судна) заметил, что из зеленых корней ананасов выползли три маленькие скорпиона, которых он принял сначала за пауков. Вскоре после того один из матросов, на том же судне, был ужален, вероятно одним из них, в ногу, которая сильно распухла, но опухоль прошла, и дело тем кончилось.

Но что ж такое Сингапур? Я еще не сказал ничего об этом. Это островок, в несколько миль величиной, лежащий у оконечности Малаккского полуострова, под 1°30′ сев. шир., следовательно у самого экватора. Он уступлен англичанам, в 1819 году, одним из малаккских султанов, которому они помогли утвердиться в его владениях. Надо знать, что незадолго пред тем голландцы выхлопотали себе у другого султана, соперника первого, торговое поселение в тех же местах, именно в проливе Рио. Англичане имеют такой обычай, что лишь зачуют где торговлю, то и явятся с своими товарами: так они сделали и там. А у голландцев есть обычай не пускать других туда, где торгуют они сами. Все это было причиною того, что Сингапур возник и процвел, а голландское поселение пало.

Стен Биль, командир датского корвета «Галатея» и автор путешествия, сравнивает нынешний Сингапур, в торговом отношении, с древней Венецией. Сравнение слабое, не совсем лестное для Сингапура. Что такое капиталы времен Венецианской республики пред британскими? Что такое положение Венеции между тогдашним Востоком и тогдашним Западом, перед положением Сингапура между Индиею, Китаем, Малаккским полуостровом, Австралиею, Сиамом, Кохинхиной и Бирманской империей, которые все шлют продукты свои в Сингапур и оттуда в Европу? А чего не везут теперь из Европы сюда? Что такое, наконец, так называемая тогдашняя роскошь перед нынешним комфортом? Роскошь — порок, уродливость, неестественное

уклонение человека за пределы естественных потребностей, разврат. Разве не разврат и не уродливость платить тысячу золотых монет за блюдо из птичьих мозгов или языков или за филе из рыбы, не потому, чтоб эти блюда были тоньше вкусом прочих, недорогих, а потому, что этих мозгов и рыб не напасешься? Или не безумие ли обедать на таком сервизе, какого нет ни у кого, хоть бы пришлось отдать за него половину имения? Не глупость ли заковывать себя в золото и каменья, в которых поворотиться трудно, или надевать кружева, чуть не из паутины, и бояться сесть, облокотиться?

Венецианские граждане (если только слово «граждане» не насмешка здесь) делали все это; они сидели на бархатных, но жестких скамьях, спали на своих колючих глазетовых постелях, ходили по своим великолепным площадям ощупью, в темноте и едва ли имели хоть немного приблизительное к нынешнему, верное понятие об искусстве жить, то есть извлекать из жизни весь смысл, весь здоровый и свежий сок.

Тщеславие и грубое излишество в наслаждениях —вот отличительные черты роскоши. Оттого роскошь недолговечна: она живет лихорадочною и эфемерною жизнью; никакие Крезы не достигают до геркулесовых столпов в ней; она падает, истощившись в насыщении, увлекая падением и торговлю. Рядом с роскошью всегда таится невидимый ее враг — нищета, которая сторожит минуту, когда мишурная богиня зашатается на пьедестале: она быстро, в цинических лохмотьях своих, сталкивает царицу, садится на ее престол и гложет великолепные остатки.

Вспомните не одну Венецию, а хоть Испанию например: уж, кажется, трудно выдумать наряднее епанчу, а в какую дырявую мантию нарядилась она после! Да одни ли Испания и Венеция?..

Где роскошь, там нет торговли; это конвульсивные, отчаянные скачки через препятствия, courses aux clochers: перескачет, схватит приз и сломает ноги.

Не таков комфорт: как роскошь есть безумие, уродливое и неестественное уклонение от указанных природой и разумом потребностей, так комфорт есть разумное, выработанное до строгости и тонкости удовлетворение этим потребностям. Для роскоши нужны богатства; комфорт доступен при обыкновенных средствах. Богач уберет свою постель валансьенскими кружевами; комфорт потребует тонкого и свежего полотна. Роскошь садится на инкрюстированном, золоченом кресле, ест на золоте и на серебре; комфорт требует не золоченого, но мягкого, покойного кресла, хотя и не из редкого дерева; для стола он довольствуется фаянсом или, много, фарфором. Роскошь потребует редкой дичи, фруктов не по сезону; комфорт будет придерживаться своего обыкновенного стола, но зато он потребует его везде, куда ни забросит судьба человека; и в Африке, и на Санд-

вичевых островах, и на Норд-Капе — везде нужны ему свежие припасы, мягкая говядина, молодая курица, старое вино. Везде он хочет находить то сукно и шелк, в которое одевается в Париже, в Лондоне, в Петербурге; везде к его услугам должен быть готов сапожник, портной, прачка. Роскошь старается, чтоб у меня было то, чего не можете иметь вы; комфорт, напротив, требует, чтоб я у вас нашел то, что привык видеть у себя.

Задача всемирной торговли и состоит в том, чтоб удешевить эти предметы, сделать доступными везде и всюду те средства и удобства, к которым человек привык у себя дома. Это разумно и справедливо; смешно сомневаться в будущем успехе. Торговля распространилась всюду и продолжает распространяться, разнося по всем углам мира плоды цивилизации. Вопрос этот важнее, нежели как кажется с первого раза. Комфорт и цивилизация почти синонимы, или, точнее, первое есть неизбежное, разумное последствие второго. И торговля не падет никогда, удовлетворяя хотя тонким, но разумным потребностям большинства, а не безумным прихотям немногих. Дело вполовину уже и сделано. Куда европеец только занесет ногу, везде вы там под знаменем безопасности, обилия, спокойствия и того благосостояния, которым наслаждаетесь дома, протягивая, конечно, ножки по одежке.

Сингапур — один из всемирных рынков, куда пока еще стекается все, что нужно и не нужно, что полезно и вредно человеку. Здесь необходимые ткани и хлеб, отрава и целебные травы. Немцы, французы, англичане, американцы, армяне, персияне, индусы, китайцы — все приехало продать и купить: других потребностей и целей здесь нет. Роскошь посылает сюда за тонкими ядами и пряностями, а комфорт шлет платье, белье, кожи, вино, заводит дороги, домы, прорубается в глушь...

Что ж значит старая Венеция, с своими золочеными галерами, перед этими уродливыми джонками или ост-индскими судами, полными огромных сырых и возделанных богатств?

Еще слово: что было недоступною роскошью для немногих, то благодаря цивилизации делается доступным для всех: на севере ананас стоит пять, десять рублей, здесь — грош: задача цивилизации — быстро переносить его на север и вогнать в пятак, чтоб вы и я лакомились им.

Прогресс сделал уже много побед. Прочтите описание кругосветного путешествия, совершенного пятьдесят лет назад. Что это было? — пытка! Путешественник проходил сквозь строй лишений, нужд, питался соленым мясом, пил воду, зажав нос; дрался с дикими. А теперь? Вы едва являетесь в порт к индийцам, к китайцам, к диким — вас окружают лодки, как окружили они здесь нас: прачка — китаец или индиец, берет ваше тонкое белье, крахмалит, моет, как в Петербурге; является портной, с длинной косой, в кофте и шароварах, показывает образчики сукон, материй, снимает мерку и шьет европейский костюм;

съедете на берег — жители не разбегаются в стороны, а встречают толпой, не затем, чтоб драться, а чтоб предложить карету, носилки, проводить в гостиницу. Там тот же мягкий бифштекс, тот же лафит, херес и чистая постель, как в Европе.

Я дня два не съезжал на берег. Больной, стоял я, облокотясь на сетки, и любовался на небо, на окрестные острова, на леса, на разбросанные по берегам хижины, на рейд, с движущеюся картиной джонок, лодок, вглядывался в индийские, китайские физиономии, прислушивался к говору.

Особенно любопытно было видеть, как наши матросы покупали у туземцев фрукты, потом разные вещи, ящички, веера, простые материи и т. п. Что за язык придумали они — и понимали друг друга! Фаддеев, по моему поручению, возьмет деньги, спустится на лодки купить ананасов или что-нибудь другое: вижу, он спорит там, сердится; наконец торг заключается и он приносит, что нужно. «Черти этакие: с ними не сообразишь! — говорил он, воротясь,— вчера полшильника просил, а теперь хочет *шильник*» (шиллинг).— «Да как ты там говоришь с ними?» — «По-англичански».— «Как ты спросишь?» — «А вот возьму в руку вещь, да и спрошу *омач*?» (How much?— что стоит?)

Наконец мне стало легче, и я поехал в Сингапур с несколькими спутниками. Здесь есть громкое коммерческое имя Вампоа. В Кантоне так называется бухта или верфь; оттуда ли родом сингапурский купец — не знаю, только и его зовут Вампоа. Он уж лет двадцать как выехал из Китая и поселился здесь. Он не может воротиться домой, не заплатив... взятки. Да едва ли теперь есть у него и охота к тому. У него богатые магазины, домы и великолепная вилла; у него наши запасались всем; к нему же в лавку отправились и мы.

При входе сидел претолстый китаец, одетый, как все они, в коленкоровую кофту, в синие шаровары, в туфлях, с чрезвычайно высокой замшевой подошвой, так что на ней едва можно ходить, а побежать нет возможности. Голова, разумеется, полуобрита спереди, а сзади коса. Тут был приказчик англичанин и несколько китайцев. Толстяк и был хозяин. Лавка похожа на магазины целого мира, с прибавлением китайских изделий, лакированных ларчиков, вееров, разных мелочей из слоновой кости, из пальмового дерева, с резьбой и т. п.

Взглянув на этот базар, мы поехали опять по городу, по всем кварталам — по малайскому, индийскому и китайскому, зажимая частенько нос, и велели остановиться перед буддийской кумирней. На улицу выходят наглухо запертые ворота с решетчатым забором, из-за которого видна крыша с загнутыми углами. Все это ярко, пестро разрисовано красной, зеленой и желтой красками. Прислужник индиец отпер нам калитку, и мы вошли на чистый, вымощенный каменными плитами, большой двор. Направо колодезь, потом пустая стена, и в углу открытая со всех сторон кухня. Тут на плитах и на жаровнях жари-

лись и варились, шипя, разные яства. Около суетилось несколько китайцев; налево, посредине стены, была маленькая кумирня с жертвенником, идолами, курящимися благовонными и восковыми свечами. На коленях перед жертвенником стоял бонз: ударяя палочкой в маленький, круглый барабан, он читал нараспев по книге, немного в нос. Тут же, в часовне, сидело около стола несколько китайцев и шили что-то, не обращая ни малейшего внимания на монаха. Я заглянул ему в лицо: бледен, худ, глаза закрыты.

Весь двор усажен по стенам банановыми, пальмовыми и мускатными деревьями. Посреди двора стояла главная кумирня — довольно обширное, открытое со всех сторон здание, под тремя или четырьмя кровлями, всё с загнутыми углами. Сколько позолоты, резьбы, мишурных украшений, поддельных камней и какое безвкусие в этой восточной пестроте! Китайцы и индийцы, кажется, сообща приложили каждый свой вкус к постройке и украшениям здания: оттого никак нельзя, глядя на эту груду камней, мишурного золота, полинялых тканей, с примесью живых цветов, составить себе идею о стиле здания и украшений. Внутри кумирни помещались три ниши с идолами; кругом крытая галерея. Резная работа всюду: на перилах, на стенах; даже гранитные, поддерживающие крышу столбы тоже изваяны грубо и представляют животных. Между идолами стоит Будда, с своими двумя прислужниками, и какая-то богиня, еще два другие идола — все с чудовищно-безобразными лицами. Тут, между прочим, есть фигура — эмблема настоящего, прошедшего и будущего. Перед идолами горели тоненькие, длинные свечи. Я хотел посмотреть, из какого дерева, и спросил одну. Индиец тотчас взял, зажег и подал мне, но отец Аввакум проворно сказал: «Плюньте, бросьте: это он хочет, чтоб вы идолу свечку поставили!»

Из буддийской кумирни мы поехали в индийское капище, к поклонникам Брамы. Через довольно высокую башню из диких, грубо отесанных камней, входишь на просторный, обсаженный деревьями двор. Прямо крытая галерея, на столбах, ведет в капище. Но едва мы сделали несколько шагов, нас остановил индиец, читавший нараспев книгу, и молча указал нам на сапоги, предлагая или снять их, или не ходить дальше. Мы остановились и издали смотрели в кумирню, но там нечего было смотреть: те же три ниши, что у буддистов, с позолоченными идолами, но без пестроты, украшенными только живыми цветами. В галерее, вне часовни, стоял деревянный конь, похожий на наших балаганных коньков, но в натуральную величину, весь расписанный, с разными привесками и украшениями, назначенный для торжественных процессий, как объяснил нам кое-как индиец.

Мы пошли назад; индиец принялся опять вопить по книге, а другие два уселись на пятки слушать; четвертый вынес

нам из ниши роз на блюде. Мы заглянули по соседству и в малайскую мечеть. «Это я и в Казани видел»,— сказал один из моих товарищей, посмотрев на голые стены.

Мы вышли и поехали по улицам, по речке... Вдруг нас поразили звуки какой-то странной музыки.

По улице тянулась процессия, но благодаря лепетанью китайцев мы не могли узнать, какая, только печальная. Один твердил на наши вопросы «sick» (больной), но спутник наш, бывший в Китае, объяснил, что это поминки по умершим. Двух женщин, закрытых с головы до ног кисейным покрывалом, вели под руки. Впереди шли жрецы, потом какие-то оборванцы в рубищах, которые кричали, музыканты с гонгами шли вперед. Мы вышли из карет и вмешались в процессию. Я не скажу, чтоб музыка была совсем нескладна — нет, в ней есть мелодия, но скудная и странная. Процессия повернула в узкий переулок, а мы отправились в отель, на балкон, сидеть и лениться.

На следующий день мы собрались осмотреть *новую гавань* и пришедший из Австралии пароход. Мы поехали в гичке. Погода была — превосходная, сказал бы я, если б здесь была когда-нибудь другая. Мы въехали в узенький пролив между Сингапуром и другими маленькими островами, покрытыми ярко-изумрудного цвета зеленью. Солнце так и лило потоки язвительных лучей на скалы. Страшно подумать взойти туда, под эти стрелы, а китайцы и малайцы ползали там голые, некоторые без шляп. От здешних лучей, если они застанут европейца с обнаженной головой, надо бежать прятаться под кров попроворнее, нежели иногда бежишь под крышу от ливня.

Европейские дачи, деревеньки, берега — все тонет в зелени; везде густая трава и пальмы. Наконец пристали к пристани и пошли на пароход. Но что мне пароход? Я вошел на минуту, да и долой, а товарищи мои, моряки, начали вглядываться во всякую гайку, винт. Я пошел по пристани. Запасные пакгаузы заперты тяжелыми дверьми, за которыми хранятся грузы, ожидающие кораблей, для развоза в Европу, в Китай или Австралию. Они стоят безмолвные теперь; но чуть завеет ожидаемый флаг, эти двери изрыгнут миллионы или поглотят их. Тут же выстроены обширные угольные сараи. Более сотни китайцев брали кули, пуда в три-четыре, легко и ловко взбрасывали их себе на шею и мчались во всю мочь на пароход, под этим солнцем, когда дышишь будто огнем. А они ничего: тело обнажено, голова открыта, потому что в тростниковой широкой шляпе неловко было бы носить на шее кули; только косы, чтоб не мешали, подобраны на затылке, как у женщин. У многих совершенно женские лица, гладкие; борода и усы почти не растут, а они еще их бреют донельзя. Много видно умных, или, лучше сказать, смышленых, а более лукавых лиц.

Мы прошли около всех этих торговых зданий, пакгаузов, вошли немного на холм, к кустам, под тень пальм. «Ах, если б

напиться!» — говорили мы — но чего? Тут берег пустой и только что разработывается. К счастью, наши матросы накупили себе ананасов и поделились с нами, вырезывая так искусно средину спиралью, что любому китайцу впору.

Мы через рейд отправились в город, гоняясь по дороге с какой-то английской яхтой, которая ложилась то на правый, то на левый галс, грациозно описывая круги. Но и наши матросы молодцы: в белых рубашках, с синими каймами по воротникам, в белых же фуражках, с расстегнутой грудью, они при слове «навались! дай ход!» разом вытягивали мускулистые руки, все шесть голов падали на весла и, как львы, дерущие когтями землю, раздирали веслами упругую влагу.

Мы въехали в речку и пошли бродить по знакомым уже рядам и улицам. Но глаз — несмотря на все разнообразие лиц и пестроту костюмов, на наготу и разноцветность тел, на стройность и грацию индийцев, на суетливых желтоватых китайцев, на коричневых малайцев, у которых рот, от беспрерывной жвачки бетеля, похож на трубку, из которой лет десять курили жуковский табак, на груды товаров, фруктов, на богатую и яркую зелень, несмотря на все это, или, пожалуй, смотря на все, глаз скоро утомляется, ищет чего-то и не находит: в этой толпе нет самой живой ее половины, ее цвета, роскоши — женщин.

Представьте, что из шестидесяти тысяч жителей женщин только около семисот. Европеянок, жен, дочерей консулов и других живущих по торговле лиц немного, и те, как цветы севера, прячутся в тень, а китаянок и индиянок еще меньше. Мы видели в предместьях несколько китайских противных старух; молодых почти ни одной; но зато видели несколько молодых и довольно красивых индиянок. Огромные золотые серьги, кольца, серебряные браслеты на руках и ногах бросались в глаза.

Европеянок можно видеть у них дома или с пяти часов до семи, когда они катаются по эспланаде, опрокинувшись на эластические подушки щегольских экипажей в легких, прозрачных, как здешний воздух, тканях, и в шляпках, не менее легких, à jour:[1] точно бабочка сидит на голове. Эти леди лениво проедут по прекрасной дороге, под тенью великолепных банианов, пальм, близ зеленой пелены вод, бахромой рассыпающихся у самых колес. Я только не понимаю одного: как чопорные англичанки, к которым в спальню не смеет войти родной брат, при которых нельзя произнести слово «панталоны», живут между этим народонаселением, которое ходит вовсе без панталон? Разве они так вооружены аристократическим презрением ко всему, что ниже их, как римские матроны, которые, не зная чувства стыда перед рабами, мылись при них и не удостоивали их замечать?.. Может быть, и то: видно, климат меняет нравы.

[1] ажурных (*франц.*).

Еще одно, последнее сказание о Сингапуре, или, скорее, о даче Вампоа. Купец этот пригласил нас к себе, не назначив, кого именно, в каком числе, а просто сказал, что ожидает к себе в четыре часа, и просил заехать к нему в лавку, откуда вместе и поехать. Мы отправились впятером и застали его в лавке, неподвижно, с важностью Будды сидящего на своем месте. Он двоих пригласил сесть с собой в карету, и сам, как сидел в лавке, так в той же кофте, без шапки, и шагнул в экипаж. Прочие разместились в наемных каретах. До дачи было мили три, то есть около четырех верст. Вот моцион для кучеров,— бегом, по жаре!

Гладкая, окруженная канавками дорога шла между плантаций, фруктовых деревьев или низменных и болотистых полей. С дороги уже видны густые, непроходимые леса, в которых гнездятся рыси, ленивцы, но всего более тигры. Этих животных не было, когда остров Сингапур был пуст, но лишь только он населился, как с Малаккского полуострова стали переправляться эти звери и тревожить людей и домашних животных. Спортсменов еще не явилось для истребления зверей, а теперь пока звери истребляют людей. Сингапур еще ожидает своих Нимвродов [1]. Говорят, тигры здесь так же велики и сильны, как на Индийском полуострове: они одной породы с ними. Круглым счетом истребляется зверями по человеку в два дня; особенно погибает много китайцев, вероятно потому, что их тут до сорока, а прочих жителей до двадцати тысяч. При нас, однако, с людьми ничего не случилось; но у одного китайца, который забрался подальше в лес, тигр утащил собаку.

Мы ехали около часа, как вдруг наши кучера в одном месте с дороги бросились и потащили лошадей и экипаж в кусты. «Куда это? уж не тигр ли встретился?» — «Нет, это аллея, ведущая к даче Вампоа».

Что это такое? как я ни был приготовлен найти что-нибудь оригинальное, как много ни слышал о том, что Вампоа богат, что он живет хорошо, но то, что мы увидели, далеко превзошло ожидание. Он тотчас повел нас показать сад, которым окружена дача. Про китайские сады говорят много хорошего и дурного. Одни утверждают, что у китайцев вовсе нет чистого вкуса, что они насилуют природу, устраивая у себя в садах миньятюрные горы, озера, скалы, что давно признано смешным и уродливым; а один из наших спутников, проживший десять лет в Пекине, сказывал, что китайцы, напротив, вернее всех понимают искусство садоводства, что они прорывают скалы, дают по произволу течение ручьям и устраивают все то, о чем сказано, но не в таких жалких, а, напротив, грандиозных размерах и что пекинские богдыханские сады представляют неподражаемый образец в этом роде. Чему верить? и тому и дру-

---

[1] Нимврод — имя искусного охотника в библейской мифологии.

гому: что богдыханские сады устроены грандиознее и шире других — это понятно; что у частных людей это сжато, измельчено — тоже понятно. Но посмотрим, каков сад Вампоа.

От дома шли большею частию узенькие аллеи во все стороны, обсаженные или крупной породы деревьями, или кустами, или, наконец, цветами. Хозяин — не только охотник, но и знаток дела. Он подробно объяснил нам свойства каждого растения, которые рассажены в систематическом порядке. Не стану исчислять всего, да и не сумею, отчасти потому, что забыл, отчасти не разобрал половину английских названий хорошенько, хотя Вампоа, живущий лет двадцать в Сингапуре, говорит по-английски, как англичанин. «Вот гвоздичное, вот перцовое дерево,— говорил хозяин, подводя нас к каждому кусту,— вот саговая пальма, терновые яблоки, хлопчатобумажный куст, хлебный плод» и т. д., словом все, что производит Индия.

Между цветами особенно интересны водяные растения, исполинские лилии и лотос: они росли в наполненной водою канаве. Замечателен также растущий в наполненной водою же громадной вазе куст, похожий немного на плющ, привезенный сюда из Китая. Кругом корня в вазе плавали золотые рыбки. Куст этот, по объяснению хозяина, растет так сильно, что если ему дать волю, то года через два им покроется весь сад, и между тем, кроме воды, ему никакой почвы не нужно. Не знаю, правда ли это. Тут же смотрели мы красивое растение, листья которого, сначала темно-красные и угловатые, по мере созревания переходят в зеленый цвет и получают гладкую, продолговатую форму. Бамбук и бананник рассажены в саду, в виде шпалеры, как загородки. Цветов не оберешься, и одни великолепнее других. Тут же было несколько гряд с ананасами.

Я не пересказал и двадцатой доли всего, что тут было: меня, как простого любителя, незнатока, занимал более общий вид сада. Да, это Индия и Китай вместе. Вот эти растения, чада тропических лучей, нежно воспитанные любимцы солнца, аристократия природы! Все пышно убрано, или цветуще, или ароматично; все носит в себе тонкий дар природы, назначенный не для простых и грубых надобностей. Тут не добудешь дров и не насытишь грубого голода, не выстроишь ни дома, ни корабля: наслаждаешься этими тонкими изделиями природы, как произведениями искусств. На каждом дереве и кусте лежит такая своеобразная и яркая красота, что не пройдешь мимо его незаметно, не смешаешь одного с другим. И Вампоа мастерски, с умом и любовью, расположил растения в своем саду, как картины в галерее.

Кроме растений, в саду есть помещения для разных животных. Настроено несколько башенок с решетчатыми вышками для голубей, которые мельче, но пестрее и красивее наших, а для фазанов и других птиц поставлена между кустами огромная

проволочная клетка. Мы вошли в нее, и испуганные павлины, цапли и еще какие-то необыкновенные белые утки с красными наростами около носа и глаз, как у пьяниц, стаей бросились от нас в разные стороны. Перешли мостик мимо водяных растений и подошли к сараю, где тоже шарахнулись по углам от нас дикие козы и малорослые олени. Особо, тут же, за проволочной дверью, сидел казуар — высокая, сильная птица с толстыми ногами и ступнями, похожими на лошадиные. Хозяин сказывал, что казуар лягается ногами почти так же сильно, как лошадь. Но при нас он выказывал себя с самой смешной стороны. Когда мы подходили к его клетке, он поспешно удалялся от нас, метался во все четыре угла, как будто отыскивая еще пятого, чтоб спрятаться; но когда мы уходили прочь, он бежал к двери, сердился, поднимал ужасную возню, топал ногами, бил крыльями в дверь, клевал ее — словом, так и просился, по характеру, в басни Крылова.

Наконец хозяин показал последний замечательный предмет — превосходную арабскую лошадь, совершенно белую, с серебристым отливом. Заметно, что он холит ее: она так же почти толста и гладка, как он сам.

Мы пошли в дом. Он еще замечательнее сада.

Из просторных сеней с резными дверями мы поднялись по деревянной, устланной циновками лестнице вверх, в полумрачные от жалюзи комнаты, сообщающиеся круглыми дверьми. Везде стены и мебель тонкой резной работы, золоченые ширмы, длинные крытые галереи, со всеми затеями утонченной роскоши; бронза, фарфор; по стенам фигуры, арабески.

Европейский комфорт и восточная роскошь подали здесь друг другу руку. Это дворец невидимой феи, индийской пери, самой Сакунталы [1], может быть. Вот, кажется, следы ее ножек: вот кровать, закрытая едва осязаемой кисеей, висячие лампы и цветные китайские фонари, роскошный европейский диван, а рядом длинное и широкое бамбуковое кресло. Здесь резные золоченые колонны, служащие преддверием ниши, где богиня покоится в жаркие часы дня, под дуновением висячего веера.

Но богини нет: около нас ходит будто сам индийский идол — эмблема обилия и плодородия, Вампоа. Неужели это он отдыхает под кисеей в нише, на него веет прохладу веер, его закрывают ревнивые жалюзи и золоченые резные ширмы от жара? Будто? А зачем же в доме три или четыре спальни? Чьи вон это крошечные туфли прячутся под постель? Чьи это мелочи, корзиночки? Кто тут садится около круглого стола, на котором разбросаны шелк, нитки и другие следы рукоделья?

---

[1] Сакунтала — героиня одноименной драмы великого древнеиндийского поэта Калидасы (IV—V вв.).

Все комнаты оживлены чьим-то таинственным присутствием: много цветов, китайская библиотека, вазы, ларчики. Мы приездом своим как будто спугнули кого-то. Но в доме не слыхать ни шороха, ни шелеста. А вон два-три туалета: нет сомнения, у Вампоа есть жена, может быть две-три. Где ж они? Что́ эта вилла без них, с своей позолотой, огромными зеркалами, резными шкафами и другими чудесами китайской природы и искусства, не исключая и хозяина?

Хозяин пригласил нас в гостиную, за большой круглый стол, уставленный множеством тарелок и блюд с свежими фруктами и вареньями. Потом слуги принесли графины с хересом, портвейном и бутылки с элем. Мы попробовали последнего и не могли опомниться от удовольствия: пиво было холодно, как лед, так что у меня заныл зуб. Подали воды, тоже прехолодной. Хозяин объяснил, что у него есть глубокие подвалы; сверх того, он нарочно велел нахолодить пиво и воду селитрой.

Мы стали сбираться домой, обошли еще раз все комнаты, вышли на идущие кругом дома галереи: что за виды! какой пламенный закат! Какой пожар на горизонте! В какие краски оделись эти деревья и цветы! как жарко дышат они! Ужели это то солнце, которое светит у нас? Я вспомнил косвенные, бледные лучи, потухающие на березах и соснах, остывшие с последним лучом нивы, влажный пар засыпающих полей, бледный след заката на небе, борьбу дремоты с дрожью в сумерки и мертвый сон в ночи усталого человека — и мне вдруг захотелось туда, в ту милую страну, где... похолоднее.

Мы уехали. Дорогой я видел, как сквозь багровое зарево заката бледно мерцали уже звезды, готовясь вдруг вспыхнуть, лишь только исчезнет солнце. Скоро яркий пурпурный блеск уступил мягким, нежным тонам, и мы еще не доехали до города, как небо, лес — все стало другое.

В городе уже сияли огни; особенно ярко освещаются китайские ряды разноцветными бумажными фонарями. На эспланаде, под банианом, гремела музыка. Мы остановились тут и пробыли до глубокой ночи. В темноте я наткнулся на какого-то француза, с которым разговорился о городе, о жителях, о стране. Я спросил его, между прочим, как четыреста человек европейцев мирно уживаются с шестьюдесятью тысячами народонаселения, при резком различии их в вере, понятиях, цивилизации? Он сказал, что полиция, которая большею частью состоит из сипаев, то есть служащих в английском войске индийцев, довольно многочисленна и бдительна, притом все цветные племена питают глубокое уважение к белым.

В начале июня мы оставили Сингапур. Недели было чересчур много, чтоб познакомиться с этим местом. Если б мы еще остались день, то не знали бы, что делать от скуки и жара. Нет, Индия не по нас! И англичане бегут из нее, при первом

удобном случае, спасаться от климата, на мыс Доброй Надежды, в порт Джаксон — словом, дальше от экватора, от этих палящих дней, от беспрохладных ночей, от мест, где нельзя безнаказанно есть и пить, как едят и пьют англичане.

Я рад, что был в Сингапуре, но оставил его без сожаления; и если возвращусь туда, то без удовольствия и только поневоле.

До свидания.

*Китайское море.*
*Июль, 1853 года.*

## VII

## ГОН-КОНГ

*Вид рейда и города. — Улица с дворцами и китайский квартал. — Китайцы и китаянки. — Клуб и казармы. — Посещение фрегата епископом и генерал-губернатором. — Заведение Джердина и Маттисона.*

Я не писал к вам из Гон-Конга (или правильнее, по-китайски: Хонкона): не было возможности писать — так жарко. Я не понимаю, как там люди сидят в конторах, пишут, считают, издают журналы! Солнце стояло в зените, когда мы были там, лучи падали прямо,— прошу заняться чем-нибудь! Пишу теперь в море и не знаю, когда и где отправлю письмо; разве из Китая; но в Китай мы пойдем уже из Японии. Все равно: я хочу только сказать вам несколько слов о Гон-Конге, и то единственно по обещанию говорить о каждом месте, в котором побываем, а собственно о Гон-Конге сказать нечего, или если уже говорить как следует, то надо написать целый торговый или политический трактат, а это не мое дело: помните уговор — что́ писать!

С первого раза, как станешь на гон-конгский рейд, подумаешь, что приехал в путное место: куда ни оглянешься, все высокие зеленые холмы, без деревьев правда, но приморские места, чуть подальше от экватора и тропиков, почти все лишены растительности. Подумаешь, что деревья там где-нибудь, подальше, в долинах: а здесь надо вообразить их очень подальше, без надежды дойти или доехать до них. Глядите на местность самого островка Гон-Конга, и взгляд ваш везде упирается, как в стену, в красно-желтую гору, местами зеленую от травы. У подошвы ее, по берегу, толпятся домы, и между ними, как напоказ, выглядывают кое-где пучки банановых листьев, которые сквозят и желтеют от солнечных лучей, да еще видна иногда из-за забора, будто широкая метла, верхушка убитого солнцем дерева.

Зато песку и камней неистощимое обилие. Англичане сумели воспользоваться и этим материалом. На высотах горы, в разных местах вы видите то одиноко стоящий каменный дом, то расчищенное для постройки место: труд и искусство дотронулись уже до скал. Поглядев на великолепные домы набережной, вы непременно дорисуете мысленно вид, который примет со временем и гора. Китайцам, конечно, не грезилось, когда они в 1842 году, по нанкинскому трактату, уступали англичанам этот бесплодный камень, вместо цветущего острова Чусана, во что превратят камень рыжие варвары. Еще менее грезилось, что они же, китайцы, своими руками и на свою шею, будут обтесывать эти камни, складывать в стены, в брустверы, ставить пушки...

Все это сделано. Город Виктория состоит из одной, правда, улицы, но на ней почти нет ни одного дома; я ошибкой сказал выше *домы:* это всё дворцы, которые основаниями своими купаются в заливе. На море обращены балконы этих дворцов, осененные теми тощими бананами и пальмами, которые видны с рейда и которые придают такой же эффект пейзажу, как принужденная улыбка грустному лицу.

Дня три я не сходил на берег: нездоровилось и не влекло туда, не веяло свежестью и привольем. Наконец, на четвертый день, мы с Посьетом поехали на шлюпке, сначала вдоль китайского квартала, состоящего из двух частей народонаселения: одна часть живет на лодках, другая в домишках, которые все сбиты в кучу и лепятся на самом берегу, а иные утверждены на сваях, на воде. Лодки, с семействами, стоят рядами на одном месте или разъезжают по рейду, занимаясь рыбной ловлей, торгуют, не то так перевозят людей с судов на берег и обратно. Все они с навесом, вроде кают. Везде увидишь семейные сцены: обедают, занимаются рукодельем, или мать кормит грудью ребенка.

Мы пристали к одной из множества пристаней европейского квартала, и сквозь какой-то купеческий дом, через толпу китайцев, продавцов и носильщиков (кули), сквозь всевозможные запахи, протеснились на улицу, думая там вздохнуть свободно. Но, потянув воздух в себя, мы глотнули будто горячего пара, сделали несколько шагов и уже должны были подумать об убежище, куда бы укрыться в настоящую, прохладную тень, а не ту, которая покоилась по одной стороне великолепной улицы. Солнце жжет и в тени. Мы добежали до какого-то магазина, где навалены тюки всяких товаров и где на полках между прочим стояли и аптекарские материалы. Тут же продавали почему-то содовую воду, limonade gazeuse. Англичане и здесь пьют его с примесью brandy, то есть коньяку, для уравновешения будто бы внешней температуры с внутренней.

Я и прежде слыхал об этом способе уравновешения температур, но, признаюсь, всегда подозревал в этом лукавство:

случалось мне видеть у нас, в России, что некоторые, стыдясь выпить откровенно рюмку водки, особенно вторую или третью, прикрываются локтем или рукавом: это, кажется, то же самое. Иные даже приправляют лукавство свое ссылкой на то, что ром и коньяк даны-де жарким климатом нарочно для этого уравновешения... Не советую прибегать к такому способу: это значит портить свежесть желудка усиленным раздражением, учетверить силу жара и изнемочь под бременем его. Я послушался однажды и для опыта попробовал уравновесить две температуры и создал себе на целый день невыносимую пытку. Некуда было деться, нечем залить палящую сухость рта и желудка.

Напротив, при воздержании от мяса, от всякой тяжелой пищи, также от пряностей (нужды нет, что они тоже родятся в жарких местах), а более всего от вина, легко выносишь жар; грудь, голова и легкие — в нормальном состоянии, и зной «допекает» только снаружи. Я уверен, что если постоянно употреблять в пищу рис, зелень, немного рыбы и живности, то можно сносить так же легко жар, как и в России. Но... но П. А. Тихменев не дает жить, даже в Индии и Китае, как хочется: он так подозрительно смотрит, когда откажешься за обедом от блюда баранины или свинины, от слоеного пирога — того и гляди обидится и спросит: «Разве дурна баранина, черств пирог?» или патетически воскликнет, обратясь ко всем: «Посмотрите, господа: ему не нравится стол! Если мои распоряжения дурны, если я не способен, не умею, так изберите другого...» Нет, уж пусть будет томить жар — куда ни шло!

Отдохнув, мы пошли опять по улице, глядя на дворцы, на великолепные подъезды, прохладные сени, сквозные галереи, наглухо запертые окна. В домах не видать признака жизни, а между тем в них и из них вбегают и выбегают кули, тащат товары, письма, входят и выходят англичане под огромными зонтиками, в соломенных или полотняных шляпах, и все до одного, и мы тоже, в белых куртках, без жилета, с едва заметным признаком галстука. Конторы все отперты настежь: там китайцы, под присмотром англичан, упаковывают и распаковывают тюки, складывают в груды и несут на лодки, а лодки везут к кораблям. Китайцы одни бестрепетно наполняют улицы, сидят кучами у подъездов, ожидая работы, носят в паланкинах европейцев. Всюду мелькают их голые плечи, спины, ноги и головы, покрытые только густо сложенной в два ряда косой.

Мы дошли до китайского квартала, который начинается тотчас после европейского. Он состоит из огромного ряда лавок, с жильем вверху, как и в Сингапуре. Лавки небольшие, с материями, посудой, чаем, фруктами. Тут же помещаются ремесленники, портные, сапожники, кузнецы и прочие. У дверей сверху до полу висят вывески: узенькие, в четверть аршина, лоскутки

бумаги с китайскими буквами. Продавцы, все решительно голые, сидят на прилавках, сложа ноги под себя.

Мы зашли в лавку с фруктами, лежавшими грудами. Кроме ананасов и маленьких апельсинов, называемых мандаринами, все остальные были нам неизвестны. Ананасы издавали свой пронзительный аромат, а от продавца несло чесноком, да тут же рядом, из лавки с съестными припасами, примешивался запах почти трупа от развешенных на солнце мяс, лежащей кучами рыбы, внутренностей животных и еще каких-то предметов, которые не хотелось разглядывать.

Добрый Константин Николаевич перепробовал, по моей просьбе, все фрукты и верно передавал мне понятие о вкусе каждого. «Это сладко, с приятной кислотой, а это дряблый, невкусный; а этот,— говорил он про какой-то небольшой, облеченный красной кожицей плод, больше похожий на ягоду,— отзывается печеным луком» и т. д.

Мы дошли по китайскому кварталу до моря и до плавучего населения, потом поднялись на горку и углубились в переулок — продолжение китайского квартала. Там такие же лавки, такая же нечистота. Здесь, в этом чаду криков, запахов, в тесноте, среди клетушек и всякой всячины, наваленной грудами, китайцы как-то веселее, привольнее смотрят: они тут учредили свой маленький Китай — и счастливы! В европейском квартале простор, свежесть, чистота и великолепие стесняют их; они похожи там на рыб, которых из грязной, болотной речки пересадили в фарфоровый бассейн, наполненный прозрачною водою: негде спрятаться, приютиться, стянуть, надуть, выпачкаться и выпачкать ближнего.

Обойдя быстро весь квартал, мы уперлись в гору, которая в этом месте была отрезана искусственно и состояла из гладкой отвесной стены; тут предполагалась новая улица. Здесь толпился целый полк рабочих; они рыли землю, обтесывали камни, возили мусор. Это всё переселенцы из португальской колонии Макао. Едва англичане затеяли здесь поселение и кликнули клич, как Макао опустел почти совсем. Работа, следовательно хлеб и деньги, переманили сюда до тридцати тысяч китайцев. Вместо нищенства в Макао они предпочли здесь бесконечный труд и неиссякаемую плату. Их не испугали свирепствовавшие вначале эпидемические лихорадки. Они, под руководством англичан, принялись очищать и осушать почву: эпидемия унялась, и переселение усилилось.

Мы спустились с возвышения и вошли опять в китайский квартал, прошли, между прочим, мимо одного дома, у окна которого голый молодой китаец наигрывал на инструменте, вроде гитары, скудный и монотонный мотив. Из-за него выглядывало несколько женщин. Не всё, однако ж, голые китайцы ходят по городу: это только носильщики, чернорабочие и сидельцы в лавках. Повыше сословия одеты прилично; есть даже

франты, в белоснежных кофтах и в атласных шароварах, в туфлях на толстой подошве, и с косой, черной, густой, лоснящейся и висящей до пяток, с богатым веером, которым они прикрывают голову от солнца. Женщины попроще ходят по городу сами, а тех, которые богаче или важнее, водят под руки. Ноги у всех более или менее изуродованы; а у которых «от невоспитания, от небрежности родителей» уцелели в природном виде, те подделывают, под настоящую ногу, другую, искусственную, но такую маленькую, что решительно не могут ступить на нее, и потому ходят с помощью прислужниц. Несмотря на длинные платья, в которые закутаны китаянки от горла до полу, я случайно, при дуновении ветра, вдруг увидел хитрость. Женщины, с оливковым цветом лица и с черными, немного узкими глазами, одеваются больше в темные цвета. С прической à la chinoise[1] и роскошной кучей черных волос, прикрепленной на затылке большой золотой или серебряной булавкой, они не неприятны на вид.

Мы едва добрались до европейского квартала и пошли в отель, содержимую поляком. Он сказал, что жил года два в Москве, когда ему было лет четырнадцать, а теперь ему более сорока лет. Я хотел заговорить с ним по-русски, но он не помнит ни слова. В закрытой от жара комнате нам подали на завтрак, он же и обед, вкусной нежной рыбы и жесткой ветчины, до которой, однако, мы не дотрогивались. Посьет сел потом в паланкин и велел нести себя к какому-то банкиру, а я отправился дальше по улице к великолепным, построенным четырехугольником казармам. Я прошел бульвар с тощими, жалкими деревьями и пошел по взморью. Стало не так жарко, с залива веяло прохладой. На набережной я увидел множество крупных красных насекомых, которые перелетали с места на место: мне хотелось взять их несколько и принести Гошкевичу. Гоняясь за ними, я нечувствительно увлекся в ворота казарм и очутился на огромном дворе, который служит плацпарадом для ученья полка.

Меня с балкона увидели английские офицеры, сошли вниз и пригласили войти к ним, to drink a glass of wine (на рюмку вина). Мы вошли в одну из комнат, в которой мебель, посуда—все подтвердило то, что говорят о роскоши образа жизни офицеров. Серебро и тончайшее белье—обыкновенная сервировка их месс и обеденных столов. Офицеры содержат общий стол и так строго придерживаются этого офицерско-семейного образа жизни, что редко отлучаются от обеда. Кругом всего здания идет обширный каменный балкон, или веранда, где, в бамбуковых креслах, лениво дремлют в часы сьесты хозяева казарм. Я отказался от вина, и меня угостили лимонадом.

Поздно вечером, при водворившейся страстной, сверкающей и обаятельной ночи, вернулся я к пристани, где застал и Посьета,

---

[1] на китайский манер (*франц.)*.

ожидающего шлюпки. Между тем тут стояла китайская лодка; в ней мы увидели, при лунном свете, две женские фигуры. «Зачем шлюпка? — сказал я,— вот перевозчицы: сядем». Мы сели, и обе женщины, ухватясь за единственное весло, прикрепленное к корме, начали живо поворачивать им направо и налево. Луна светила им прямо в лицо: одна была старуха, другая лет пятнадцати, бледная, с черными, хотя узенькими, но прекрасными глазами; волосы прикреплены на затылке серебряной булавкой. «Везите на русский фрегат!» — сказали мы. «Two shillings!» (два шиллинга) — объявила цену молодая. «Сто фунтов стерлингов такой хорошенькой!» — сказал мой товарищ. «Дорого»,— заметил я. «Two shillings!» — повторила она монотонно. «Ты не здешняя, должно быть, потому что слишком бела? Откуда ты? как тебя зовут?» — допрашивал Посьет, стараясь подвинуться к ней ближе. «Я из Макао; меня зовут Этола»,— отвечала она по-английски, скрадывая, по обыкновению китайцев, некоторые слоги. «Two shillings»,— прибавила потом, помолчав. «Какая хорошенькая! — продолжал мой товарищ,— покажи руку, скажи, который тебе год? Кто тебе больше нравится: мы, англичане или китайцы?» — «Two shillings»,— отвечала она. Мы подъехали к фрегату; мой спутник взял ее за руку, а я пошел уже на трап. «Скажи мне что-нибудь, Этола?» — говорил он ей, держа за руку. Она молчала. «Скажи же, что ты...» — «Two shillings»,— повторила она. Я со смехом, а он со вздохом отдали деньги и разошлись по своим каютам.

И здесь, как в Англии и в Капштате, предоставили нам свободный вход в клуб. Клуб — это образцовый дворец в своем роде: учредители не пощадили издержек, чтоб придать помещению клуба такую же роскошь, какая заведена в лондонских клубах. Несколько больших зал обращены окнами на залив; веранда, камины, окна обложены мрамором; везде бронза, хрусталь; отличные зеркала, изящная мебель — все привезено из Англии. Но — увы! залы стоят пустые; насилу докличетесь сонного слуги китайца, закажете обед и заплатите втрое против того, что он стоит тут же рядом, в трактире. Клуб близок к банкротству. Европейцы сидят большую часть дня по своим углам, а по вечерам предпочитают собираться в семейных кружках — и клуб падает. Но что за наслаждение покоиться на этой широкой веранде под вечер, когда ночная прохлада сменит зной.

В шесть часов вечера все народонаселение высыпает на улицу, по взморью, по бульвару. Появляются пешие, верховые офицеры, негоцианты, дамы. На лугу, близ дома губернатора, играет музыка. Недалеко оттуда, на горе, в каменном доме, живет генерал, командующий здешним отрядом, и тут же близко помещается в здании, вроде монастыря, итальянский епископ с несколькими монахами.

Наши уехали в Кантон, а я в это время лежал в лихорадке и в полусне слышал, как спускали катер. Меня разбудил громовой удар; гроза разразилась в минуту отъезда наших. Оправясь, я каждый день ездил на берег, ходил по взморью и нетерпеливо ожидал дня отъезда. На фрегат ездили ежедневно посетители с берега, которых я должен был принимать. Между прочим, однажды приехали два монаха, от имени епископа, и объявили, что вслед за ними явится и сам монсеньер. Но у нас, на фрегате, пользуясь отсутствием адмирала и капитана, конопатили палубу в их каютах; пакля лежала кучами; все щели залиты смолой, которая еще не высохла. Я убедил монахов попросить епископа отложить свое посещение до приезда адмирала.

По приезде адмирала епископ сделал ему визит. Его сопровождала свита из четырех миссионеров, из которых двое были испанские монахи, один француз и один китаец, учившийся в знаменитом римском училище пропаганды. Он сохранял свой китайский костюм, чтоб свободнее ездить по Китаю, для сношений с тамошними христианами и для обращения новых. Все они завтракали у нас; разговор с епископом, итальянцем, происходил на французском языке, а с китайцем отец Аввакум говорил по-латыни.

Вслед за ними посетил нас английский генерал-губернатор (governor of the strait — губернатор пролива, то есть гон-конгский), он же и полномочный от Англии в Китае. Зовут его сэр Бонэм (sir Bonham). Ему отданы были те же почести, какими он встретил нашего адмирала на берегу: играла музыка, палили из пушек.

Я ходил часто по берегу, посещал лавки, вглядывался в китайскую торговлю, напоминающую во многом наши гостиные дворы и ярмарки, покупал разные безделки, между прочим чаю — так, для пробы. Отличный чай, какой у нас стоит рублей пять, продается здесь (это уж из третьих или четвертых рук) по тридцати коп. сер. и самый лучший по шестидесяти коп. за английский фунт. Сигары здесь манильские, самый низший сорт, чируты, и из Макао; последние решительно никуда не годятся.

Накупив однажды всякой всячины, я отдал все это кули, который положил покупки в корзину и пошел за мной. Но Фаддеев, бывший со мной, не вытерпел этого, вырвал у него корзину и понес сам. Я никак не мог вселить в него желания сыграть роль иностранца и барина, и все шествие наше до пристани было постоянной дракой Фаддеева с кули за корзинку. Я нанял лодку и посадил в нее Фаддеева, но и кули последовал за ним и возобновил драку. Китайцы с лодок подняли крик; кули приставал к Фаддееву, который, как мандарин, уселся было в лодку и ухватил обеими руками корзину. Лодочник не хотел везти, ожидая окончания дела. Фаддеев пошел было с корзиной опять на берег — его не пускают. «Позволь, ваше высокобла-

городие, я их решу»,— сказал он, взяв одной рукой корзину, а другою энергически расталкивая китайцев, и выбрался на берег. Я ушел, оставя его разведываться как знает, и только издали видел, как он, точно медведь среди стаи собак, отбивался от китайцев, колотя их по протянутым к нему рукам. Потом видел уж его, гордо удалявшегося на нашей шлюпке, с одними покупками, но без корзины, которая принадлежала кули и была предметом схватки, по нашей недогадливости.

В одном углу обширного гон-конгского рейда устроено торговое заведение, с верфью, Джердина и Маттисона. Мы вчетвером поехали осмотреть этот образчик неутомимой энергии и неутолимой жадности и предприимчивости англичан. Стен Биль, командир датского корвета «Галатея», полагает, что англичане слишком много посадили в Гон-Конг труда и денег и что предприятие не окупится. По занятии этого острова сюда бросились купцы из Калькутты, из Сингапура, и некоторые из них убили все свои капиталы, надеясь на близость китайского рынка и на сбыт опиума. Но до сих пор это не оправдывается. Может быть, опасение за торговую нерасчетливость какого-нибудь Джердина и справедливо, но зато обладание Гон-Конгом, пушки, свой рейд — все это у порога Китая, обеспечивает англичанам торговлю с Китаем навсегда, и этот островок будет, кажется, вечным бельмом на глазу китайского правительства.

В заведении Джердина выстроен дворец, около него разбит сад и парк; другие здания возводятся. При нас толпы работников мостили на грунт плиты; у берега стояло несколько судов. Полудня еще не было, когда мы вошли на пристань и поспешно скрылись в слабую тень молодого сада. Стрекотанье насекомых, с приближением полудня, было так сильно, что могло поспорить с большим оркестром. Мы, утомленные, сидели на скамье, поглядывая на стеклянные двери дворца и ожидая, не выйдет ли гостеприимный хозяин, не позовет ли в сень мраморных зал, не даст ли освежиться стаканом лимонада? Но двери были заперты, никто не показывался. Доктор наш неутомимо преследовал насекомых, особенно больших, черных, точно из бархата, бабочек. Возвращаясь на пристань, мы видели в толпе китайцев женщину, которая, держа голого ребенка на руках, мочила пальцы во рту и немилосердно щипала ему спину вдоль позвоночного хребта. Ребенок барахтался, отчаянно визжал. Наказанье это или леченье?

Однако нет возможности писать: качка ужасная; командуют «четвертый риф брать». С мыса Доброй Надежды такого шторма не было. Пойду посмотрю, что делается.

*Китайское море.*
*8 июля.*

## VIII

## ОСТРОВА БОНИН-СИМА

*Китайское море. — Шквалы. — Выход в Тихий океан. — Ураган. — Штили и жары. — Остров Пиль, порт Ллойд. — Корвет «Оливуца» и транспорт Американской компании «Князь Меньшиков».—Курьеры из России.— Поселенцы. — Прогулка, обед и вечер на берегу.*

*С 26 июня по 4 августа 1853 года.*

Конечно, всякому из вас, друзья мои, случалось, сидя в осенний вечер дома, под надежной кровлей, за чайным столом или у камина, слышать, как вдруг пронзительный ветер рванется в двойные рамы, стукнет ставнем и иногда сорвет его с петель, завоет, как зверь, пронзительно и зловеще в трубу, потрясая вьюшками; как кто-нибудь вздрогнет, побледнеет, обменяется с другими безмолвным взглядом или скажет: «Что теперь делается в поле? Боже сохрани, застанет непогода!»

Представьте себе этот вой ветра, только в десять, в двадцать раз сильнее, и не в поле, а в море — и вы получите слабое понятие о том, что мы испытывали в ночи с 8-го на 9-е и все 9-е число июля, выходя из Китайского моря в Тихий океан.

От Гон-Конга до островов Бонин-Сима, куда нам следовало идти, всего 1600 миль: это в кругосветном плавании составляет не слишком большой переход, который, при хорошем, попутном ветре, совершается в семь, восемь дней. Мы вышли из Гон-Конга 26 июня и до 5-го июля сделали всего миль триста, то есть то, что могли бы сделать в сутки с небольшим, — так задержал нас противный восточный ветер. Надоело нам лавировать, делая от восьми до двадцати верст в сутки, и мы спустились несколько к югу в надежде встретить там другой ветер и, между прочим, зайти на маленькие острова Баши, лежащие к югу от Формозы, посмотреть, что это такое, запастись зеленью,

фруктами и тому подобным. Там, говорят, живет испанский алькад, несколько монахов и есть индийские деревушки.

7-го числа вечером мы подошли к главному из островов, Батану, на котором, по указанию Бельчера, есть якорное место. Но, обойдя остров с северной и восточной сторон, мы видели только огромный утес и белую кайму буруна, набегающего со всех сторон на берег. К нам не выехало ни одной лодки, как это всегда бывает в жилых местах; на берегу не видно было ни одного человека; только около самого берега, как будто в белых бурунах, мелькнули два огня и исчезли. Ехать было некуда, отыскивать ночью пристани — темно, а держаться до утра под парусами — не стоило.

Полюбовавшись на скалистый угрюмый утес, составляющий северную оконечность острова, мы пустились далее и вышли в Тихий океан. Тихий! Сколько раз он доказывал противное бедным плавателям, в том числе и нам, как будто мы выдумали ему это название!

Надо знать, что еще в Гон-Конге и китайцы и европейцы говорили нам, что в этот год поджидается ураган; что ураганов не было уже года четыре. Ураган обыкновенно определяют так: это вращающийся, переходящий с румба на румб ветер. Можно определить и так: это такой ветер, который большие военные суда, купеческие корабли, пароходы, джонки, лодки и все, что попадется на море, иногда и самое море, кидает на берег, а крыши, стены домов, деревья, людей и все, что попадется на берегу, иногда и самый берег, кидает в море. С нами ничего подобного этому не случилось, впрочем, может быть, оттого, что не было близко берега. Поэтому нас ветер кидал лишь по морю, играл нами, как кошка мышью; схватит, ударит с яростью о волны, поставит боком... Тут бы на дно, а он перекинет на другой бок, поднимет и поставит на минуту прямо, потом ударит сверху и погрузит судно в хлябь. Волны вытолкнут его назад, а ветер заревет, закружится около, застонет, засвистит, обрызжет и обольет корабль облаком воды, вырвет парус и, торжествующий, понесется по необозримому, мрачному пространству, гоня воду, как прах. Однако ничего важного не мог он сделать. Китайцы называют ураган «тайфун», то есть сильный ветер, а мы изменили это слово в тифон.

— Стало быть, всего лучше уходить в море? — сказал я негоцианту немцу, который грозил нам ураганом.

— Бог знает, где лучше! — отвечал он.— Последний раз во время урагана потонуло до восьмидесяти судов в море, а на берегу опрокинуло целый дом и задавило пять человек; в гонконгской гавани погибло без счета лодок, и с ними до ста человек.

Чрез несколько дней после этого разговора мы ушли. Но еще в последние дни пребывания в Гон-Конге погода значительно изменилась. Стали дуть, особенно по вечерам, северные

порывистые ветры. Над окрестными горами часто показывались черные облака и проносились с дождем над рейдом. Нас, как я сказал выше, держал почти на одном месте противный восточный и северо-восточный ветер, неровный, сильный, с беспрерывными шквалами. Только и слышишь команду: «На марсофалах стоять! марсофалы отдать!» Потом зажужжит, скользя по стеньге, отданный парус, судно сильно накренится, так что схватишься за что-нибудь рукой, польется дождь, и праздничный, солнечный день в одно мгновение обратится в будничный. Небо серо; палуба мокра; офицеры в кожаных пальто; матросы прячутся от дождя под коечные чехлы... И так десять дней!

Но вот мы вышли в Великий океан. Мы были в 21° северной широты: жарко до духоты. Работать днем не было возможности. Утомишься от жара и заснешь после обеда, чтоб выиграть поболее времени ночью. Так сделал я 8-го числа и спал долго, часа три, как будто предчувствуя беспокойную ночь. Капитан подшучивал надо мной, глядя, как я проснусь, посмотрю сонными глазами вокруг и перелягу на другой диван, ища прохлады. «Вы то на правый, то на левый галс ложитесь!» — говорил он.

Вечером задул свежий ветер. Я напрасно хотел писать: ни чернильница, ни свеча не стояли на столе, бумага вырывалась из-под рук. Успеешь написать несколько слов и сейчас протягиваешь руку назад — упереться в стену, чтоб не опрокинуться. Я бросил все и пошел ходить по шканцам; но и то не совсем удачно, хотя я уже и приобрел *морские ноги*.

Иногда бросало так, что надо было крепко ухватиться или за пушечные тали, или за первую попавшуюся веревку. Ветер между тем завывал больше и больше. У меня дверь была полуоткрыта, и я слышал каждый шум, каждое движение на палубе: слышал, как часа в два вызвали подвахтенных брать рифы, сначала два, потом три, спустили брам-реи, а ветер все крепче. Часа в три утра взяли последний риф и спустили брам-стеньги. Начались сильные размахи. В моей маленькой каюте нельзя было оставаться, особенно в постели: качнет к изголовью — к голове приливает кровь; качнет назад — поползешь совсем, с подушками, к стенке. Все, что расставлено на полках, повешено на гвоздях, лежало в комодах,— все, по обыкновению, заходило, зашевелилось. Книги валились на пол и на постель; щетки, фуражки сыпались сверху; стаканы и стклянoчки звенели и разбивались. Между тем рассвело. Я встал и вышел на палубу. Там были решительно все. Волны ходили выше сеток и заглядывали, как живые, на палубу, точно узнать, что тут делается. Качка и размахи увеличивались. «До чего же это, наконец, дойдет?» — подумаешь, следя за прогрессивной силой ветра.

Вот отец Аввакум, бледный и измученный бессонницей, вышел и сел в уголок на кучу снастей; вот и другой и третий, все невыспавшиеся, с измятыми лицами. Надо было держаться

обеими руками: это мне надоело, и я ушел в свой любимый приют, в капитанскую каюту.

Ветер ревел; он срывал вершины волн и сеял их по океану как сквозь сито: над волнами стояли облака водяной пыли. Опять я поверил тут свое прежнее сравнение и нашел его верным: да, это толпа диких зверей, терзающих, в ярости, друг друга. Точно несколько львов и тигров бросаются, вскакивают на дыбы, чтоб впиться один в другого, и мечутся кверху, а там вдруг целой толпой шарахнулись вниз — только пыль столбом стоит поверх, и судно летит туда же за ними, в бездну, но новая сила толкает его опять вверх и потом становит боком. Вот шлюпка затрещала на боканцах; двое, трое, в том числе, кажется, и я, быстро двинулись из того угла в другой. Тут громадный вал вдруг ударил в сетки, перескочил через борт и разлился по палубе, облив ноги матросам. Горизонт весь в серой пыли. Правильного волнения почти нет: вода бурлит, как кипяток; волны потеряли очертания.

Беспрестанно ходили справляться к барометру. «Что, падает?» 30 и 15. Опять — 29 и 75, потом 29 и 45, потом 29 и 30—29 и 15 — наконец 28/42. Он падал быстро, но постепенно, по одной сотой, и в продолжение суток с 30/75 упал до 28/42. Когда дошел до этой точки, ветер достиг до крайних пределов свирепости.

Орудия закрепили тройными талями и, сверх того, еще занесли кабельтовым, и на этот счет были довольно покойны. Качка была ужасная. Вещи, которые крепко привязаны были к стенам и к полу, отрывались и неслись в противоположную сторону, оттуда назад. Так задумали оторваться три массивные кресла в капитанской каюте. Они рванулись, понеслись, домчались до средины; тут крен был так крут, что они скакнули уже по воздуху, сбили столик перед диваном и, изломав его, изломавшись сами, с треском упали все на диван. Вбежали люди, начали разбирать эту кучу обломков, но в то же мгновение вся эта куча, вместе с людьми, понеслась назад, прямо в мой угол: я только успел вовремя подобрать ноги. Рюмки, тарелки, чашки, бутылки в буфетах так и скакали со звоном со своих мест.

Картины на стенах качались, описывая дугу почти в 45°. Фаддеев принес было мне чаю, но, несмотря на свою *остойчивость*, на пятках, задом помчался от меня прочь, оставляя следом по себе куски сахару, хлеба и черепки блюдечка. Я не мог сделать шагу и не ходил обедать. Можете себе представить, каково было, не евши, сидеть и держаться, чтоб не полететь из своего угла. Окна в каюте были отворены настежь, и море было пред моими глазами во всей своей дикой красе. Только в одни эти окна, или порты, по-морскому, и не достигала вода, потому что они были высоко; везде же в прочих местах полупортики были *задраены* наглухо деревянными заставками, иначе стекла летят вдребезги, и при крене вал за валом втор-

гается в судно. В кают-компании, в батарейной палубе вода лилась ручьями и едва успевала стекать в трюм. Везде мокро, мрачно, нет убежища нигде, кроме этой верхней каюты. Но и тут надо было, наконец, закрыть окна: ветер бросал верхушки волн на мебель, на пол, на стены. Вечером буря разыгралась так, что нельзя было расслышать, гудит ли ветер, или гремит гром. Вдруг сделалась какая-то суматоха, послышалась ускоренная команда, лейтенант Савич гремел в рупор над ревом бури.

— Что такое? — спросил я кого-то.

— Фок разорвало,— говорят.

Спустя полчаса трисель вырвало. Наконец разорвало пополам и фор-марсель. Дело становилось серьезное; но самое серьезное было еще впереди. Паруса кое-как заменили другими. Часов в семь вечера вдруг на лицах командиров явилась особенная заботливость — и было от чего. Ванты ослабели, бензеля поползли, и грот-мачта зашаталась, грозя рухнуть.

Знаете ли вы, что такое грот-мачта и что ведет за собой ее падение? Грот-мачта — это бревно, фут во сто длины и до 800 пуд весом, которое держится протянутыми с вершины ее к сеткам толстыми, смолеными канатами, или вантами. Представьте себе, что какая-нибудь башня, у подножия которой вы живете, грозит рухнуть; положим даже, вы знаете, в которую сторону она упадет, вы, конечно, уйдете за версту; а здесь, на корабле!.. Ожидание было томительное, чувство тоски невыразимое. Конечно, всякий представлял, как она упадет, как положит судно на бок, пришибет сетки (то есть край корабля), как хлынут волны на палубу: удастся ли обрубить скоро подветренные ванты, чтобы вдруг избавить судно от напора тяжести на один бок. Иначе оно, черпнув глубоко бортом, может быть, уже не встанет более...

У всякого в голове, конечно, шевелились эти мысли, но никто не говорил об этом и некогда было: надо было действовать — и действовали. Какую энергию, сметливость и присутствие духа обнаружили тут многие! Савичу точно праздник: выпачканный, оборванный, с сияющими глазами, он летал всюду, где ветер оставлял по себе какой-нибудь разрушительный след.

Решились не допустить мачту упасть и в помощь ослабевшим вантам «заложили сейтали» (веревки с блоками). Работа кипела, несмотря на то что уж наступила ночь. Успокоились не прежде, как кончив ее. На другой день стали вытягивать самые ванты. К счастию, погода стихла и дала исполнить это по возможности хорошо. Сегодня мачта почти стоит твердо; но на всякий случай заносят пару лишних вант, чтоб новый крепкий ветер не застал врасплох.

Мы отдохнули, но еще не совсем. Налети опять такая же буря — и поручиться нельзя, что будет. Все глаза устремлены на мачту и ванты. Матросы, как мухи, тесной кучкой сидят

на вантах, тянут, крутят веревки, колотят деревянными молотками. Все это делается не так, как бы делалось стоя на якоре. Невозможно: после бури идет сильная зыбь: качка, хотя и не прежняя, все продолжается. До берега еще добрых 500 миль, то есть 875 верст. Многие похудели от бессонницы, от усиленной работы и бродили как будто на другой день оргии. И теперь вспомнишь, как накренило один раз фрегат, так станет больно, будто вспомнишь какую-то обиду. Сердце хранит долго злую память о таких минутах.

*16 июля.* Я писал, что 9 числа оставалось нам около 500 миль до Бонин-Сима: теперь 16 число, а остается тоже 500... ну хоть 420 миль, стало быть мы сделали каких-нибудь миль семьдесят в целую неделю: да, не более. После шторма наступил штиль... Что это за штука! Тихий океан решительно издевается над нами: тут он вздумал доказать нам, что он в самом деле тихий. Необъятная масса колебалась целиком, то закрывая, то открывая горизонт, но не прибавляя нам хода. Жарко, движения в атмосфере нет, а между тем иногда вдруг появлялись грозные и мрачные тучи. На судне готовились к перемене, убирали паруса: но тучи разрешались маленьким дождем, и штиль продолжал свирепствовать. Кроме того, что изменялись соображения в плане плавания, дело на ум не шло, почти не говорили друг с другом. Встанут утром: «Что, сколько хода?» — «Полтора узла», — отвечают. «На румбе?» — «Нет, согнало на зюйд». И опять повесили голову. Иной делает догадки: «Тихо, тихо, говорит, а потом, видно, хватит опять!» В эту минуту учат ружейной пальбе: стукотня такая, что в ушах трещит. Жарко, скучно, но... что притворяться: все это лучше качки, мокроты, ломки. До свидания.

*21-го.* Здравствуйте! Недалеко ушли: еще около трехсот миль остается. Тишь мертвая, жар невыносимый; все маются, ищут немного прохлады, чтоб вздохнуть свободнее — а негде. В каютах духота, на палубе палит. Почти все прихварывают: редко кто не украшен сыпью или вередами от жара; у меня желудочная лихорадка и рожа на ноге. Я слег; чувствую слабость, особенно в руках и ногах, от беспрерывных усилий держаться, не упасть. Но я голоден, потому что есть было почти нельзя. А сколько перебилось, переломалось и подмокло всякого добра! Вчера все мокрое вынесли на палубу: что за картина! что за безобразие! Тут развешено платье и белье, там ковры, книги, матросская амуниция, подмокшие сухари — все это разложено, развешено, в пятнах, в грязи, сыростью несет, как из гнилого подвала; на юте чинят разорванные паруса.

Мы счастливы тем, что скоро вырвались из-за черты урагана и потому дешево отделались. Следили каждое явление и сравнивали с описаниями: вихрь задул от W, потом перешел к SW; мы взяли на O и пересекли дугу. Находясь в средине этого магического круга, захватывающего пространство в несколько сот

миль, не подозреваешь по тишине моря и ясности неба, что находишься в объятиях могучего врага, и только тогда узнаешь о нем, когда он явится лицом к лицу, когда раздастся его страшный свист и гул, начнется ломка, треск, когда застонет и замечется корабль...

До свидания. Пойду уснуть, я еще не оправился совсем.

Штили! Ах, если б вы знали, что это за наказание! Оно, конечно, лучше жестокой качки, но все несносно! Вчера оставалось двести пятьдесят миль; и сегодня остается столько же, и завтра, по-видимому, опять! А дунь ветерок, этого расстояния не хватит и на сутки. Кажется, тут бы работать: нет, однообразие и этот неподвижный покой убивает деятельность, да к этому еще жара, духота, истощение свежих припасов. Вдруг кто-нибудь скажет: «Задувает, кажется»,— и все оживятся, радость! Ничего не бывало: это так показалось. Другой, также от нечего делать, пророчит: «Завтра будет перемена, ветер: горизонт óблачен». Всем до того хочется дальше, что уверуют и ждут — опять ничего. Однажды вдруг мы порадовались было: фрегат пошел восемь узлов, то есть четырнадцать верст в час; я слышал это из каюты и спросил проходившего мимо Посьета:

— Восемь узлов?

— Нет, три,— сказал он,— это только на четверть часа фрегат взял большой ход: теперь стихает.

Наконец, миль за полтораста, вдруг дунуло, и я на другой день услыхал обыкновенный шум и суматоху. Доставали канат. Все толпились наверху встречать новый берег. Каюта моя, во время моей болезни, обыкновенно полнехонька была посетителей: в ней можно было поместиться троим, а придет человек семь; в это же утро никого: все глазели наверху. Только барон Криднер забежал на минуту.

— Узкость проходим! — сказал он и исчез.

С приходом в порт Ллойд у нас было много приятных ожиданий, оттого мы и приближались неравнодушно к новому берегу, нужды нет, что он пустой. Там ожидали нас: корвет из Камчатки, транспорт из Ситхи и курьеры из России, которые, конечно, привезли письма. Все волновались этими надеждами.

Я на другой день вышел, хромая от боли в ноге, взобрался на ют посмотреть, где мы. Мы в заливе, имеющем вид подковы, обстановленном высокими и крупными утесами, покрытыми зеленью. Два громадные камня торчали из воды в бухте, как две башни. Я еще из каюты ночью слышал, когда все утихло на фрегате, шум будто водяной мельницы. Это, как я теперь увидел, буруны бешено плещутся в берег; увидел и узкость: надо проходить под боком отвесного утеса, чтобы избежать гряды видных на поверхности камней, защищающих вход от волн с океана. Везде буруны да скалы: вон только кое-где белеют песок и отлогости.

«Где жилье?» — спросил я, напрасно ища глазами хижины, кровли, человека или хоть животное. Ничего не видать; но наши были уже на берегу. Вон в этой бухточке есть хижина, вон в той две да за горой несколько избушек.

Суда здесь, курьеры здесь, а с ними и письма. Сколько расспросов, новостей! У всех письма в руках, у меня целая дюжина.

Побольше остров называется Пиль, а порт, как я сказал, Ллойд. Острова Бонин-Сима стали известны с 1829 года. Из путешественников здесь были: Бичи, из наших капитан Литке и, кажется, недавно Вонлярлярский, кроме того, многие неизвестные свету англичане и американцы. Теперь сюда беспрестанно заходят китоловные суда разных наций, всего более американские. Бонин-Сима по-китайски или по-японски значит «безлюдные острова».

Я думал, что исполнится наконец и эта моя мечта — увидеть необитаемый остров; но напрасно: и здесь живут люди, конечно, всего человек тридцать, разного рода Робинсонов, из беглых матросов и отставных пиратов, из которых один до сих пор носит на руке какие-то выжженные порохом знаки прежнего своего достоинства. Они разводят ям, сладкий картофель, таро, ананасы, арбузы. У них есть свиньи, куры, утки. На другом острове они держат коров и быков, потому что на Пиле скот портит деревья.

Кроме всей этой живности, у них есть жены, каначки или сандвичанки, да и между ними самими есть канаки, еще выходцы из Лондона, из Сан-Франциско — словом, всякий народ. Один живет здесь уже 22 года, женат на кривой, пятидесятилетней каначке. Все они живут разбросанно, потому что всякий хочет иметь маленькое поле, огород, плантацию сахарного тростника, из которого, мимоходом будь сказано, жители выделывают ром и сильно пьянствуют.

Странный остров: ни долин, ни равнин; одни горы. Как съедете, идете четверть часа по песку, а там сейчас же надо подниматься в гору и продираться сквозь непроходимый лес. Жители торгуют или по крайней мере стараются торговать с мореплавателями овощами, черепахами и тому подобными предметами, а мореплаватели, с своей стороны, стараются приобретать все даром, как пишут в «Nautical Magazine»[1] и как нам подтвердил и сам Севри, или Севрэ, здешний старожил. Года четыре назад приходили два китоловные судна и, постояв несколько времени, ушли, как делают все порядочные люди и корабли. Но один потерпел при выходе какое-то повреждение, воротился и получил помощь от жителей: он был так тронут этим, что на прощанье съехал с людьми на берег, поколотил и обобрал поселенцев. У одного забрал всех кур, уток и тринадцатилетнюю дочь, у другого отнял свиней и жену, у старика же

[1] «Морском журнале» (*англ.*).

Севри, сверх того, две тысячи долларов — и ушел. Но прибывший вслед за тем английский военный корабль дал об этом знать на Сандвичевы острова и в Сан-Франциско, и преступник был схвачен, с судном, где-то в Новой Зеландии. Нынче и на Восточном океане от полиции не уйдешь!

Я, несмотря на боль в ноге, рискнул съехать на берег. Товарищи мои вооружились топорами, а я должен был сесть на бревно (зато красного дерева) и праздно смотреть, как они прорубали себе дорожку на холм. Лес состоял из зонтичной, или веерной, пальмы, которой каждая ветвь похожа на распущенный веер, потом из капустной пальмы, сердцевина которой вкусом немного напоминает капусту, но мягче и нежнее ее, да еще кардамонов и томанов, как называют эти деревья жители. Томаны — это превосходное красное дерево. Тут мы нашли озерко с пресной водой, сажени в три или четыре шириной и длиной и по грудь глубиной. Матросы полоскались без милосердия. Я смотрел, как из срубленных и падающих деревьев выскакивали ящерицы. Одну кто-то из наших ударил веткой, хвост оторвался и пополз в одну сторону, а ящерица в другую. Да еще бегали по песку — сначала я думал — пауки или стоножки, а это оказались раки, всевозможных цветов, форм и величин, начиная от крошечных, с паука, до обыкновенных: розовые, фиолетовые, синие — с раковинами, в которых они прятались, и без раковин; они сновали взад и вперед по взморью, круглые, длинные, всякие.

Дня через два я опять отправился с бароном Криднером и Посьетом в другую бухточку, совсем закрывающуюся скалой. Мы проехали у подножия двух или трех утесов и пристали к песчаной отлогости, на которой стоял видный, красивый мужчина и показывал нам рукой, где лучше пристать. У него был прекрасный выпуклый профиль, нос орлиный, смелый взгляд, важная походка, без аффектации, и седые кудри почти до плеч, хотя на вид ему не было и пятидесяти лет. У него-то на руках и были выжжены знаки, похожие на браслеты. Он встретил нас упреком, что мы не хотели его посетить, и повел к хижине. Она состояла из четырех столбов (все красного дерева), крытых и закрытых со всех сторон сухими пальмовыми листьями. Это была его спальня. Тут же встретила нас и его жена, каначка, седая, смуглая, одетая в синее бумажное платье, с платком на голове, как наши бабы. Особо выстроена была тоже хижина, где эта чета обедала: по крайней мере, заглянув, я видел там посуду, стол и разную утварь. Две собаки, с повисшими хвостами и головами, встретили тоже нас.

А кругом, над головами, скалы, горы, крутизны, с красивыми оврагами, и все поросло лесом и лесом. Криднер ударил топором по пню, на котором мы сидели перед хижиной; он сверху весь серый; но едва топор сорвал кору, как под ней заалело дерево, точно кровь. У хижины тек ручеек, в котором

бродили красноносые утки. Ручеек можно перешагнуть, а воды в нем так мало, что нельзя и рук вымыть.

Мы пошли вверх на холм. Криднер срубил капустное дерево, и мы съели впятером всю сердцевину из него. Дальше было круто идти. Я не пошел: нога не совсем была здорова, и я сел на обрубке, среди бананов и таро, растущего в земле, как морковь или репа. Прочитав, что сандвичане делают из него «poї-poї», я спросил каначку, что это такое. Она тотчас повела меня в свою *столовую* и показала горшок с какою-то белою кашею, вроде тертого картофеля. Они едят, доставая ее пальцем. Муж, однако ж, предупредил, чтоб я не ел, потому что это кушанье давно сделано и потому несвежо.

Он вынес нам несколько арбузов, которые мы с удовольствием и съели.

Тихо, хорошо. Наступил вечер: лес с каждой минутой менял краски и, наконец, стемнел; по заливу, как тени, качались отражения скал с деревьями. В эту минуту за нами пришла шлюпка, и мы поехали. Наши суда исчезали на темном фоне утесов, и только когда мы подъехали к ним вплоть, увидели мачты, озаренные луной.

*2-го августа.* Сегодня с утра движение и сборы на фрегате: затеяли свезти на берег команду. Офицеры тоже захотели провести там день, обедать и пить чай. «Где же это они будут обедать? — думал я,— ведь там ни стульев, ни столов», и не знал, ехать или нет; но и оставаться почти одному на фрегате тоже невесело. Ко мне пришел Савич сказать, что последняя шлюпка идет на берег, чтоб я торопился.

— А где же обедать? — спросил я.

— Да ведь там у нас устроена баня,— отвечал он.— Теперь все убрали и сделали из нее столовую.

— А столы, стулья?

— Ничего нет: будем обедать на парусах.

«На парусах!» — подумывал я, враг обедов на траве, особенно impromptu [1], чаев на открытом воздухе, где то ложки нет, то хлеб с песком или чай с букашками. Но нечего делать, поехал; а жарко, палит.

A propos [2] о жаре: в одно утро вдруг Фаддеев не явился ко мне с чаем, а пришел другой.

— Где ж Фаддеев? — спросил я.

— У него шкура со спины сошла,— отвечал матрос лаконически.

— Как сошла: отчего?

— Да так-с: этаких у нас теперь человек сорок есть: от солнышка. Они на берегу нагишом ходили: солнышком и напекло; теперь и рубашек нельзя надеть.

---

[1] импровизированных (*франц.*).

[2] Кстати (*франц.*).

Я пошел проведать Фаддеева. Что за картина! в нижней палубе сидело, в самом деле, человек сорок: иные покрыты были простыней с головы до ног, а другие и без этого. Особенно один, уже пожилой матрос, возбудил мое сострадание. Он морщился и сидел голый, опершись руками и головой на бочонок, служивший ему столом.

— Что с тобой сделалось? — спросил я.

— Да кто его знает, что такое, ваше высокоблагородие! Вон спина-то какая! — говорил он, поворачивая немного спину ко мне.

На спину страшно было взглянуть: она вся была багровая и покрыта пузырями, как будто ее окатили кипятком.

— Зачем же вы на солнце сидели, и еще без платья? — упрекнул я.

— В Тамбове, ваше высокоблагородие, всегда, бывало, целый день на солнце сидишь и голову подставишь — ничего; ляжешь на траве, спину и брюхо греешь — хорошо. А здесь бог знает что! солнце-то словно пластырь! — отвечал он с досадой.

Все обожженные стонали, охали и морщились. И смешно и жалко было смотреть. Фаддеев был совсем изуродован и тоже охал. Я побранил его хорошенько.

— Отстань, ваше высокоблагородие! — в тоске сказал он.

Я как съехал на берег, так под палатку, потому что приближался полдень и никакой защиты не было от палящих лучей. На берегу хлопотали, готовили обед; кривая каначка ловила рыбу. В палатке душно — я в лес. Барон Криднер из чащи подает мне голос и зовет смотреть живописную речку, которой я еще не видал. Я продрался сквозь кусты, сквозь томаны, кардамон и пальмы и пошел за ним вдоль по речке. В самом деле живописно: речка-ручей, аршина в два, а в ином месте и меньше шириной, струится с утеса по каменьям и впадает в озерко. Между каменьями ползает бесчисленное множество миниатюрных крабов, точно пауков, и насекомых. Они с неимоверною быстротою исчезали в каменьях, чуть лишь тронешь их. Доктор и Осип Антонович Гошкевич уже давно там и ловят их руками. Савич далеко шел вперед и ломал деревья, как медведь; слышен был только треск по его следам. Впереди меня плелся барон Криднер на своих тоненьких ногах, а сзади пробирался я. Мы оступались, спотыкались. Я хотел перешагнуть в одном месте через ручей, ухватился за куст, он изменил, и я ступил в воду, не без ропота, к удовольствию товарищей.

Между тем около нас все так красиво: над нами веерные пальмы и томаны расстилали густую тень, берега плотно заросли травой и лесом. Солнце иногда прорезывалось сквозь ветви, палило, как через зажигательное стекло, ярко освещая группу каменьев и сверкая в воде: в минуту все мокло на нас, а там делалось опять темно и прохладно. Эта природная аллея, тишина, яркие краски зелени — все живописно, но немного

угрюмо. Цветов нет, птиц мало, не слыхать даже и стрекотанья кузнечиков. У томанов грубый, продолговатый лист и серый ствол; у пальм светло-зеленые, крепкие листья до того, что едва разорвешь руками. Берег глинистый, крепкий и сухой. Местами по берегу растут бананы, достояние поселенцев — этот хлеб жарких стран, да продолговатые зеленые лимоны: во вкусе их есть какая-то затхлость. Видно, что это привитой и искаженный на чужой почве плод. Как прекрасны все природные плоды в жарких климатах, так неудачны все привитые. В Индии старались разводить виноград —не родится; а если где и привился, так никуда не годен; яблоки тоже, чай нехорош. То же можно заметить и о животных: пробовали разводить английских, арабских лошадей и других животных — они перерождаются в какое-то хилое племя. Но что родится там, то уже родится роскошно и сильно.

Мы дошли до какого-то вала и воротились по тропинке, проложенной по берегу прямо к озерку. Там купались наши, точно в купальне, под сводом зелени. На берегу мы застали живописную суету: варили кушанье в котлах, в палатке накрывали... на пол, за неимением стола. Собеседники сидели и лежали. Я ушел в другую палатку, разбитую для магнитных наблюдений, и лег на единственную, бывшую на всем острове, кушетку и отдохнул в тени. Иногда врывался свежий ветер и проникал под тент, принося прохладу.

Позвали обедать. Один столик был накрыт особо, потому что не все уместились на полу; а всех было человек двадцать. Хозяин, то есть распорядитель обеда, уступил мне свое место. В другое время я бы поцеремонился: но дойти и от палатки до палатки было так жарко, что я измучился и сел на уступленное место — и в то же мгновение вскочил: уж не то что жарко, а просто горячо сидеть. Мое седалище состояло из десятков двух кирпичей, служивших каменкой в бане: они лежали на солнце и накалились.

За обедом был, между прочим, суп из черепахи; но после того супа, который я ел в Лондоне, этого нельзя было есть. Там умеют готовить, а тут наш Карпов как-то не так зарезал черепаху, не выдержал мяса, и оно вышло жестко и грубо. Подавали уток; но утки значительно похудели на фрегате. Зато крику, шуму, веселья было без конца! Я был подавлен, уничтожен зноем. А товарищи мои пили за обедом херес, портвейн, как будто были в Петербурге! Только в ранней молодости и можно пить безнаказанно вино в такой *бане*. Я, не дождавшись конца обеда, ушел скорее в другую палатку, чтоб не заняли места, и глубоко заснул.

Солнце уж было низко на горизонте, когда я проснулся и вышел. Люди бродили по лесу, лежали и сидели группами; одни готовили невод, другие купались. Никогда скромный Бонин-Сима не видал такой суматохи на своих пустынных берегах!

Бичи пишет, что в его время было так много черепах здесь, что они покрывали берег, приходя класть яйца в песок. Молодые черепахи, вылупившись, спешили к морю, но на пути их ждали бесчисленные враги: на берегу клевали птицы, в море во множестве пожирали шарки (акулы). Зато, выросши и окрепнув, они, в своей броне, не боятся уже ничего. «Шарок,— пишет он,— было еще больше, нежели черепах: они даже хватили за весла зубами». Куда все это делось? Черепахи, с поселением людей, являются реже: жители ловят их и берегут где-то в садках, продавая приезжим. Мы заплатили четыре доллара за черепаху, но зато какую! шесть человек насилу тащили ее. Здесь поселенцы забирают их на берегу посредством собак. Собака схватит и тащит за ласт (у морских черепах — плавательные ласты вместо лап) дальше от берега. Эти черепахи не пригодны ни на что, кроме супа. На гребенки идет кость черных черепах. Шарки есть, но немного, и в двадцать лет один раз шарка откусила голову матросу с китоловного судна. У нас поймали одну небольшую акулу. Я осмотрел рот у ней: зубы расположены в четыре ряда, мелкие, но острые, как пила. Есть чем поесть, было бы что.

Вечером зажгли огни под деревьями; матросы группами теснились около них; в палатке пили чай, оттуда слышались пение, крики. В песчаный берег яростно бил бурун: иногда подойдешь близко, заговоришься, вал хлестнет по ногам и бахромой рассыплется по песку. Вдали светлел от луны океан, точно ртуть, а в заливе, между скал, лежал густой мрак.

Я подошел к небольшой группе, расположившейся на траве, около скатерти, на которой стояли чашки с чаем, блюдо свежей, только что наловленной рыбы да лежали арбузы и ананасы. Надо было лечь на брюхо: это большое счастие, что здесь нет ни одной гадины, ни змей, ни ядовитых насекомых — ничего. Этим фактом некоторые из моих товарищей хотели доказать ту теорию, что будто бы растительные семена или пыль разносятся на огромное расстояние ветром, оттого-де такие маленькие острова, как Бонин-Сима, и притом волканического происхождения, не имевшие первобытной растительности и заросли, а змей-де и разных гадин занести ветром не могло, оттого их и нет.

Положили было ночью сниматься с якоря, да ветер был противный. На другой день тоже. Наконец 4-го августа, часа в четыре утра, я, проснувшись, услышал шум, голоса, свистки и заснул опять. А часов в семь ко мне лукаво заглянул в каюту дед.

— Здравствуйте! Поздравляю вас...

— А что?

— В море!

— Далеко?

— Да вон, Нагасаки видно?

«Ах, этот старый!.. Узнай от него правду!» Я вышел на палубу.

Впереди синее море, над головой синее небо, да солнце, как горячий уголь, пекло лицо, а сзади кучка гор жмутся друг к другу плечами, будто проводить нас, пожелать счастливого пути. Это берега Бонин-Сима: прощай, Бонин-Сима!

*4-го августа*. Тихий ветер, ходу шесть узлов. Жарко в природе, холодно в душе; кругом все море да море...

КОНЕЦ ПЕРВОГО ТОМА

## ОГЛАВЛЕНИЕ

III

ПЛАВАНИЕ В АТЛАНТИЧЕСКИХ ТРОПИКАХ



IV

НА МЫСЕ ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ



V

ОТ МЫСА ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ ДО ОСТРОВА ЯВЫ



VI

СИНГАПУР



VII

ГОН-КОНГ

VIII

ОСТРОВА БОНИН-СИМА

*Иван Александрович Гончаров*

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ 2

Редактор М. Блинчевская

Художественный редактор И. Жихарев

Технический редактор В. Овсеенко

Корректор К. Полетика

Сдано в набор 29/V 1959 г.
Подписано в печать 10/VIII 1959 г.
Бумага 60×92 1/16—16,5 печ. л.
17,06 уч.-изд. л. Тираж 250 000 экз.
Заказ № 3156. Цена 8 р.

Гослитиздат

Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова
Московского городского Совнархоза.
Москва, Ж-54, Валовая, 28